

# НОВЫЙ МИР

11-12

---

МОСКВА

1944

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Москва, 1944 г.

№ 11—12

Год издания XXI

## СОДЕРЖАНИЕ

|   | Стр. |
|---|------|
| ЛЕВ ОШАНИН — Мой друг Борис, <i>роман в стихах</i>  | 2    |
| А. АВДЕЕНКО — Большая семья, <i>роман</i>   | 14   |
| ЛЕОНИД МАРТЫНОВ — Русский север, <i>стихотворения</i>   | 75   |
| КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА — Давид-Строитель, <i>исторический роман. Перевод с грузинского Элисбара Ананиашвили. Продолжение</i> | 79   |
| АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ — Саратовский газ, <i>очерк</i>   | 112  |
| И. ЕФРЕМОВ — Обсерватория Нур-и-Дешт, <i>из цикла рассказов о необыкновенном</i>  | 120  |
| А. МАШАШВИЛИ — Миниатюры, <i>стихотворения. Перевод с грузинского Бориса Серебрякова</i>                                      | 131  |
| —————   |      |
| Н. ЗАМОШКИН — «Неверная полуправда»   | 132  |
| И. АСТАХОВ — Кинодраматургия военного времени   | 140  |

## БИБЛИОГРАФИЯ

|  |     |
|--|-----|
| А. ВОЛКОВ — Шестьдесят лет в литературе    | 147 |
| З. ПАПЕРНЫЙ — Книга о Державине            | 149 |
| Содержание журнала «Новый мир» за 1944 год | 151 |

# МОЙ ДРУГ БОРИС

Роман в стихах

ЛЕВ ОШАНИН

★

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ВСТУПЛЕНИЕ

Когда война вошла в наш мирный дом,—  
Земля цвела в неуправляемой силе.  
Что говорить, друзья, мы славно жили  
И знали: завтра лучше заживем.  
Назначенные к подвигам судьбою,

Мы торопились, чтобы каждый час  
Дворец вставал и в новые заборы  
Руда потоком с горных круч лилась,  
Чтоб каждый час корабль сбегал к  
прибою,

И, окрыляя сердце, каждый час  
Мотор взвивался в небо голубое.  
Мы торопились. Счастье звало нас.  
Любимая! Вот так и мы с тобою,  
Деля судьбу с судьбой родной земли,  
На полустанке встретив взгляды  
случайный,

Друг-друга безошибочно нашли  
Среди просторов родины бескрайной.  
И вот она — война, война, война.  
Мы знали, что она не за горами —  
И все-таки неожиданная она  
Кровавой явью встала перед нами.

Мой друг, мой сверстник, друг моих друзей!

Мы увидали лишь на поле боя  
Среди развалин, пепла и смертей, —  
Как много мы сработали с тобою  
За эти годы юности своей.  
И с новой силой поняли мы вдруг,  
Какую жизнь, распаянную настежь,  
Какую славу и какое счастье  
Враг захотел из наших вырвать рук.  
...Пока, товарищ, не гремят разрывы,  
Пока не разгорелся новый бой,  
Так надо нам поговорить с тобой  
И вспомнить о былом неторопливо.  
Все по порядку — первый нежный взгляд,  
И плеск весла, и дальний путь  
по скалам,

Чтобы, поднявшись с боевым сигналом,  
Не оступится, не взглянуть назад.

Я не историк и не летописец.  
Цепь отступлений, сердце, оборви.  
Пусть будет книга — книгой о Борисе,  
Его надеждах и его любви.

## ГЛАВА I

Хотя диплом его уже подписан,  
Хоть дуб он может повалить плечом, —  
Зовут его пока еще Борисом  
И лишь шутя — Борисом Ильичем.  
Еще москвич, но от родимых кровель  
Он в неизвестность ринуться готов.  
Наш буйный век разлук и поездов  
Уже ему путевку приготовил,  
Там впереди начало жизни ждет,  
Как в свой черед любого из безусых.  
И этот — светлоглазый, темнорусый —  
Свою скамейку в поезде займет.  
Бежит к вагону чуть ли не вприпрыжку,  
Распахивает легкое пальтишко,  
Кавказский поправляет поясок.  
Не низок ростом, но и не высок.  
Наверно, есть стройнее и красивей,  
А он из тех курносых пареньков,  
Которых столько выросло в России  
За все ее одиннадцать веков.  
Вот он готов ворваться в жизнь отважно  
Пусть за окошком моросит туман, —  
Он огляделся, закурил. И важно  
Сует на третью полку чемодан.  
Что скрыто в этом ящике багажном?  
Планшетка полевая на ремне,  
Фуфайка, хлеб без всякой упаковки,  
Да несколько листов миллиметровки,  
Да карточка девичья в глубине.  
Подружка смотрит славной и цветущей,  
Мне все знакомо в ней, — смешно  
сказать! —  
Быть может, только косы чуть погуще,  
Да чуть темнее карие глаза  
И родинка...

Такую вот покажешь —  
И сам глядишь, и мелешь всякий вздор.  
Борис мне показал ее тотчас же,  
Как только завязался разговор.

Но, показав, Борис вздохнул украдкой  
(Простое средство от сердечных раи),  
Вздохнув, он сунул карточку в тетрадку  
И уложил потлубже в чемодан.

Не стоит залезать в чужую душу.  
А поезд дальний, возит не спеша.  
И как же отвернуться и не слушать,  
Когда доверчиво скорбит душа?  
Он едет в край, в котором летом долог  
Полярный день без звезд и ветерка,  
А ночь зимой, — беда невелика.  
Что, строить?

Нет, разведывать пока.

Тотограф?

Нет, он инженер-геолог.  
И он мне рассказал без принужденья  
Все про себя и все про институт,  
И про ребят, которых без сомненья  
Сейчас вот так же поезда везут.

Товарищ мой! Тому, кто подрасти  
Успел к началу первой пятилетки,  
Не позабыть походы и разведки  
И дружеские встречи на пути.  
Как будто все, поутру встав однажды,  
Решили навсегда покой забыть,  
Одной обуреваемые жаждой —  
Все перестроить и перекроить.  
Шли поезда, нагруженные лесом.  
Шел камень кверху из глубин пещер.  
Кто б ни был ты — бетонщик или слесарь,  
Десятник, техник или инженер, —  
А все твои расчеты и проекты  
И все твои мечты посвящены  
Какому-нибудь новому проспекту  
В незаселенном уголке страны,  
Какой-нибудь железной магистрали,  
Тоннелям первой линии метро  
Или двору из хрусталя и стали,  
Поставленному ладно и хитро.  
Без колебаний и без многословья,  
Ветрам и вьюгам подставляя грудь,  
Мы шли,

переплетая дальний путь

С надеждами, печалью и любовью.

Борис — мой друг. Но что сказать о нем?

Сидит, молчит, печалится украдкой  
И вместо тундры видит старый дом  
И девушку

Над тоненькой тетрадкой.

В окне, как прежде, крыша и забор

И маленький кусочек переулка,

Отрывочный, случайный разговор,

Шаги ночных прохожих,

гулко, гулко

Раскатится и замолчит мотор.

Привычный с детства шум московской  
ночи,

Знакомый, мягкий запах сентября.

Но только раньше ночь была короче

И числа сами, как-то между прочим,

Бездумно падали с календаря.

И дни мелькали, как ступеньки лестниц

Под торопливым стуком каблучка, —

Не спать над книгой, возвращаясь с катка;

В аудиторию под смех ровесниц  
Врываться за секунду до звонка;  
Чертить жирафов с грустными глазами  
В такт медленным профессорским речам.  
Над стенгазетой колдовать с друзьями  
Зачем-то непременно по ночам;  
Во МХАТ с Борисом бегать по субботам;  
Лететь за город, лишь придет теплыня;  
И, как молитву, в ночь перед зачетом  
Твердить неукротимую латынь;  
Любить, чтоб сетку натянули туго,  
Чтоб мяч звенел на тысячу ладов,  
И не любить наперекор подругам  
Девических кумиров — теноров.

Такой ты в памяти стоишь поныне  
У каждого, кто был с тобой знаком, —  
В одном и том же платье темносинем,  
Подхваченном плетеным кушачком.  
И неизвестно, как ты повернешься,  
И что ты скажешь, и о чем вздохнешь,  
А, может, и не скажешь — улыбнешься,  
А, может, просто бровью поведешь.  
И легкая, бесшумная, — такая,  
Какой я только там тебя видал, —  
В знак мудрости ресницы опуская,  
Вступаешь ты в Большой читальный зал.

Под шелест книг, залитых мягким  
светом,

В былые дни студенческой поры,  
Кому из нас в высоком зале этом  
Не открывались новые миры?

Откинув косы и слегка сутулясь,  
Едва перевернешь ты первый лист,  
Лишь глянешь в книгу, —

на соседнем стуле

Тотчас же появляется Борис.

И все идет привычною походкой,

И жизнь полна

вперед на много дней.

Вот собрались в Тарасовку на лодках,  
Вот, как всегда, Борис зашел за ней.  
Да что Борис — мальчишка, одноклассник.  
Чинил приемник, книги доставал.

Смущаясь, чай на скатерть проливал, —  
Он был таким обычным и домашним.  
При ней грубил, а сам вздыхал тайком.

И так его тоска, бывало, гложет,  
Когда им не дает побыть вдвоем  
Ее братишка, шестилетний Ежик.  
Так привыкают к стенам и вещам, —

Хотя Борис был в общем славный малый,  
Она его порой не замечала  
И не о нем вздыхала по ночам.

Недаром говорится в умных книжках,  
Что школьной дружбе только дружбой  
быть.

А девушкам, не помня о мальчишках,  
Больших мужчин положено любить.  
Так что случилось? По какой причине  
И корешки томов по медицине,  
И календарь, и череп на столе  
Назойливыми кажутся Марине?

Рванула дверь и с лестницы бегом.  
 Но в тишине глухой сентябрьской ночи  
 Никто ее не ждет за уголком.  
 Вернулась, села, улыбнуться хочет.  
 Взяла журнал веселый со стола.  
 Перелистала — скучно, не до смеха.  
 И вдруг без перехода поняла:  
 Он не пойдет. Не постучит. Уехал.  
 ... А между тем, размеренно стуча,  
 Бегут вперед вагоны друг за другом.  
 Очнись, Борис! Мы за полярным кругом.  
 В окно посмотришь — елки до плеча,  
 До пояса полярные березы.  
 Трещит под первым холодком сосна.  
 К вагону мимо твоего окна  
 Несут чернику. Ягода с мороза  
 Прокладна, и душиста и сочна.  
 Наполни горсть. Вздыхать теперь не к  
 спеху,

Все дальше и Марина и вокзал.  
 Когда бы здесь не я, а Тютчев ехал,  
 Он улыбнулся, верно б, и сказал:  
 «Поверьте, мальчик, вы мне вроде внука.  
 Проходит все, и все приходит вновь.  
 Нам всем дается первая разлука,  
 Как первый лавр, как первая любовь».

## ГЛАВА II

Когда на неизвестный материк  
 Колумб сошел с высокой каравеллы, —  
 Стучало сердце шумно и несмело,  
 Он открывать Америк не привык,  
 Откуда знать, что будет впереди.  
 А сердцу, говорят, закон не писан, —  
 Еще сильнее стучит оно в груди  
 Ступившего на первый снег Бориса.  
 Пустынный и заброшенный разъезд.  
 На запасном пути вагон, в котором  
 И станция, и спальня, и контора.  
 На горизонте дымчатые горы  
 И снег —

смотри, пока не надоест.  
 В вагоне было в этот час не пусто.  
 Вглядевшись близоруко в полумглу,  
 Борис увидел ноги на полу,  
 Услышал хрип забористый и вкусный,  
 Потом заметил стол в другом углу  
 И спину, наклоненную к столу.  
 Он на нее взглянул с особым чувством.  
 Сидящий обернулся, не спеша,  
 И под его спокойным взглядом сразу  
 Борис забыл обдуманную фразу,  
 Полез в карман, бумагами шурша,  
 Достал путевку, протянул неловко.  
 А сам усталился исподтишка  
 На белый краешек воротничка,  
 Назойливо блестящий под толстовкой.  
 И пробурчал: «Отличная спецовка»..  
 То было время —

вспомни, друг, в тиши  
 Его уже забытую походку, —  
 Когда простецкая косоворотка  
 Казалась выражением души.  
 Борис — москвич, студент. С друзьями  
 вместе

Он понял много лет еще назад,  
 Что галстук вовсе не позорит чести, —  
 Но здесь, где труд тяжел и непочат,  
 Где нет ни вечеринок, ни девчат, —  
 Казался галстук глуп и неуместен.

Сидящий слышал тихие слова  
 (Как видно, гость с оценками не мешкал),  
 Но промолчал, и лишь едва-едва  
 Скривила губы тонкая усмешка.  
 Он по прищельцу с головы до пят  
 Скользнул своим холодным точным  
 взглядом  
 И указал на край скамейки рядом.  
 — Когда кончали?

— Двадцать дней назад.  
 — На практике бывали?

— Я не школьник!  
 Борис метнул ответный дерзкий взгляд.  
 — Провел два штрэка и четыре штолльни.  
 Он врал, Борис. На практике в тот год  
 Он как-то все болатся не у дела,  
 Признаться ж было совестно. Но тот  
 Прекрасно понял, что парнишка врет,  
 И вновь его усмешка пролетела.  
 Порой вражда идет из пустяка.  
 Открыв в другом презренья след летучий,  
 Борис решил, не медля, свысока,  
 Что этот тип — пижон и белоручка.  
 ... Все было ново. Ускоряя бег,  
 Легко стулал по снегу оленю,  
 Скрипели нарты. Падал на колени  
 Нетающий тяжелый, прочный снег.  
 Он в полчаса засыпал плечи, вещи,  
 Лег на оленю грузный и густой.  
 И запах снега был особый, здешний,  
 Не деревенский и не городской.  
 Пока в снегу олений рог маячил,  
 Борис глядел на спутников своих.  
 Что их связало, этих восьмерых,  
 В товарищи Борису предназначив?  
 Он ничего пока не знал о них.

Кто ж эти покорители просторов?  
 Старик с заиндевевшей бородой,  
 Перебуривший все на свете горы,  
 Все повидавший мастер буровой.  
 Четыре комсомольца ленинградских,  
 Мечтающих о подвигах ребят,  
 Из тех, что горы покорить хотят,  
 Но вряд ли знают, как туда забраться.  
 Да два еще —

учи их, не учи,  
 Любви особой к делу не научишь.  
 Что строить дом, что рыться в грязной  
 куче, —  
 Лишь дали бы получку им получше  
 Да посытней и по пьяней харчи.

Восьмой был человек холодной крови,  
 Носящий галстук, прочим не в пример,  
 Начальник их отряда, инженер,  
 Сосед по нартам — Алексей Петрович.

Снег перестал. И край снегов и льдин —  
 Пустынный, белый весь открылся взору.  
 И четкими зигзагами вершин

На сером небе вырезались горы.  
И да других похожа, как сестра,  
Вставала перед ними их гора.  
В ней минерал, который раньше знали  
Лишь по крупичкам, мелким, как икра,  
А здесь, быть может, вся она, гора,  
Поставлена на этом минерале.  
Он странный камень — пламя скрыто в нем.

Он может стать оружием и огнем.  
А если в землю этот камень бросить, —  
Невиданные вырастут колосья.

Его не зря с друзьями здесь искал  
Тот самый академик беспокойный,  
Что, как мальчишка, лез на гребни скал,  
Тайком сбегая от врачей конвойных.

Тот, что потом на этой же горе,  
Воюя с комарами понемножку,  
Сам выбирал нежнейшую морозку  
И сам варил варенье на костре.  
Тот, что, маня в разведки нас невольно,  
Про камни книги пишет, как поэт.  
Тот, что однажды с образцами в

Смольный

К Миرونчу явился в кабинет.

И вот они раскинули палатку.  
Им надо прочно утвердиться тут,  
Пока бураны в древних горных складках  
Сугробы, метра в три, не наметут.  
В палатке загудел послухный примус.  
Полярный снег был славною водой.

Над чаем колдовал Иван Акимыч  
С оттаявшей уютной бородой.  
Все шло, как надо. Можно руки вымыть.

Ничто, казалось, не грозит бедой.  
И самый молодой из ленинградцев  
Хозяйским глазом горы оглядел,  
Страхнул снежок, сказал: «А ну-ка,  
братцы»

И, подмигнув друзьям своим, зашел:

«Нам в жизни все знакомо;  
В сугробе мы, как дома,  
Повсюду нам готов и сон, и стол, —  
В холодном море (синем  
И в ледяной пустыне,  
Куда бы ни послал нас комсомол».

Поджваченный с разлету эхом горным  
Высокий голос зазвенел кругом,  
Мол, слушай нас, встречай нас, край  
просторный,

Мы никуда отсюда не уйдем.  
Но, видно, незнакомая сторонка  
Была причудливей и странностей полна.

На миг легла над полем тишина  
И закурились снежные воронки.  
Снега, во весь полярный горизонт,  
Защелестели, словно лес листвою,  
Раздался свист, и с четырех сторон  
Вся тундра огласилась волчьим воем.  
Борис, услышав дикий перелив,

Из-под брезента выскочил наружу.  
И тотчас обжигающая стужа  
Дыханье смяла, щеки опалив.  
И тот же самый ветер, что ночами  
Прохладой тешил у Москвы-реки, —  
Здесь зашатал его, сдавил виски,  
Ударил в грудь латыми кулаками,  
Среб в лапы ледяные на бегу  
И распластал, играя, на снегу.

Придя в себя, вшиваясь в снег руками,  
Борис добрался до дому с трудом,  
А их неверный полотняный дом  
Уже шатался под напором выюги.  
— К брезенту! — звонко крикнул Алексей.  
Но у его растерянных друзей  
Не слушались беспомощные руки.  
И в тот же миг на их мирок живой  
Обрушилась невидимая ярость.

И край палатки в пене штормовой  
Запыхал уже над головой.  
И вся палатка, как гигантский парус,  
Вот-вот, — казалось другу, моему, —  
Подхватит их и ринется во тьму.  
И ничего не будет — ни вершины,  
Ни холода, ни этой вот руки,  
Ни тундры, ни Москвы и ни Марины,  
И он почувствовал волну звериной,  
Всё тело заливающей тоски.

Отдавшись ей, блуждая мутным взглядом,  
Он знал, что смерть сейчас войдет сюда.  
Но мимо смерти

в вихре снегопада

Метнулись руки Алексея, рядом  
Мелькнула в белых гребнях борода.  
Все закружилось в гибких снежных  
лентах.

И в поисках спасения Борис  
Впился руками в мерзлый край брезента  
И в свисте бури над землей повис.  
Его мотало ветром все сильнее,  
Швыряло на снег, вскидывало вдруг.  
Но что бы ни было, —

он знал, мой друг,

Что даже задыхаясь, коченея,  
Палатки он не выпустит из рук.  
Что было дальше?

Утомленный схваткой,

Он помнил только, что ветрам на зло  
Они опять поставили палатку.  
Потом палатку снегом замело,  
Обледенев, она стояла прочно,  
И выюга не сулила ей вреда.  
Теперь бы лечь и спать. Но, как нарочно,  
Пришла в палатку новая беда.

Никто не знал, когда  
исчез бесследно

Тот самый ленинградский паренек,  
Что песенкой приветствовал победной  
В палатке зашумевший огонек.  
И Алексей, нахмуренный и бледный,  
Глядел на кончики своих сапог.  
Потом он встал, — все понял: так надо, —  
Перетянул ремнем полушальто,  
И под его уже спокойным взглядом  
Не взять лопаты не посмел никто.

Лишь затихала на мгновение вьюга,  
 Шли молча эти восемь человек.  
 И, задыхаясь, став спиной друг к другу,  
 Лопатами раскидывали снег.  
 Пурга гнала назад на отдых краткий.  
 Лишь на четвертый выход свой в пургу  
 В пятнадцати сажнях от палатки  
 Они нашли товарища в снегу.  
 Он только сутки прожил здесь в пустыне,  
 Да сутки ли? — коротенькую ночь,  
 Теперь лежал он, скрюченный и синий.  
 И люди не могли ему помочь.

С погибшим быстроглазым пареньком  
 Борис при жизни мало был знаком.  
 Что видел паренек и что он слышал?  
 Был на Путиловце учеником,  
 Любил играть в футбол, и звали Мишей.  
 А день был труден. Жизнь брала свое.  
 В палатке сном Бориса укачало.  
 А, может, то не сон, а забытье.  
 А, может, просто все опять сначала —  
 Полярная мерцающая мгла,  
 Палатка, мчащаяся в снеговертъе,  
 И скрюченный костлявый призрак  
 смерти,

Что тянется к нему из-за угла...  
 Проснувшись, он увидел,  
 багровея  
 висит в палатке огненный кружок.  
 Он понял: примус, профиль Алексея,  
 На примусе кипящий котелок.  
 Над котелком мелькнула рукавица.  
 Вот в кружку струйкой полилась вода.  
 Он будет чай пить.

Где же смерть тогда?  
 И разве с ними Миша смуглолицый?  
 Он был наивен, друг мой, иногда.  
 Смерть смертью в жизни и бедой беда,  
 А жизнь опять своим путем стремится.  
 Он мало Алексея знал тогда, —  
 Тот сел на чемодан и начал бриться.

...Буран гремел попрежнему сердито.  
 Казалось им, когда он начался, —  
 Не вывести его и полчаса, —  
 Но время шло, и стал для них он бытом.  
 Палатка полутемная внутри,  
 Фонарь, глядящий оком закончелым,  
 По стопке спирта, чтоб душа горела,  
 Да под рубашкой

— теплою тела

Обогреваемые сухари.  
 А до горы отсюда путь недалог.  
 Не дожидаясь солнечной поры,  
 Борис со всеми лез на склон горы  
 Закладывать разведочный поселок.  
 Он лед ломал и ладил в землю сруб —  
 Чернорабочий, плотник, лесоруб. —  
 Все, что угодно, только не геолог.  
 И хоть была ему немощоту  
 Усталости вечерняя расплата,  
 Но он ее от всех упрямо прятал  
 И все старался делать на лету. —  
 Чтоб не отстать от быстрых ленинградцев,  
 От неторопкого бородача,  
 От этих двух, что рады б не стараться,

Да, как огня, начальника боялся  
 И машут топорщиками с плеча.  
 Чтоб в этой души обуявшей спешке,  
 В мечтах о доме, словно о дворце, —  
 Не увидеть на выбритом лице  
 Безжалостной презрительной усмешки.  
 Борис опять, проснувшись,  
 сквозь буран.  
 Глядит тихонько глазом приоткрытым  
 В надежде, чтобы этот истукан  
 Был хоть сегодня вялым и небритым.  
 Так нет же, чорт! Опять не повезло, —  
 Он снова взгляд Бориса перехватит,  
 Лукаво усмехнется и на зло  
 Становится еще молодцеватей.  
 И сам не понимая, почему,  
 Борис его повадки ненавидел.  
 А, может быть, завидовал ему  
 И удивлялся на себя в обиде?  
 Но так или иначе — день настал.  
 Он понял, наконец, что жребий выпал,  
 Что он не может видеть этих скал  
 И этого заносчивого типа.  
 С него довольно. Что он за чудак!  
 И напоследок, краткий сон нарушив,  
 В письме к Марине распахнул он душу.

Она поймет. Письмо кончалось так:  
 «Ты не услышишь этот вой  
 мертвящий.  
 Тебя я в этот мрак не позову.  
 И как мне звать тебя, когда все  
 чаще  
 Я вспоминаю поезд и Москву.  
 Довольно снов. До встречи на яву».  
 И сердце снова в комнате любимой,  
 Где стопки книжек, стул и тишина,  
 И мягкий свет без копоти и дыма,  
 Что тянется дорожкой из окна.  
 Вон, вон отсюда! Решена загадка.  
 Как давит сердце низкая палатка.  
 Как эта вьюга белая темна.

### ГЛАВА III

Нам кажется, лишь выдадут диплом —  
 И все понятно, как простая карта.  
 Но беда, что придут к тебе потом,  
 Не угадаешь, наклонясь над шартой.  
 Но так уже на свете повелось, —  
 Одним мятель, другим жара степная,  
 А третьим, может быть, страда иная.  
 Чтобы молчать под старость не пришлось,  
 О прошлых днях с друзьями вспоминая.  
 Борис свалился. То ли на ветру  
 Его продуло. То ли от печали.  
 Профессора его не навещали,  
 И двое суток он лежит в жару.  
 Его лечили спиртом, аспирином,  
 Всем, что нашлось в аптечке полевой.  
 Он бредил, тщетно призывал Марину  
 И прочь отталкивал стакан с водой.  
 Потом кричал, чтоб отыскали Мишу.  
 А мишин друг, по прозвищу Дымок,  
 Напрасно утешал его, как мог, —  
 Он ничего не видел и не слышал.

Он не заметил, как утих буран,  
 Как в дом его перетащили новый,  
 Заботливо устроив на сосновый  
 Акимычем сработанный топчан,  
 Очнувшись, он услышал сквозь туман  
 Пьянящий свежий запах новоселья,  
 Начальнический голос Алексея  
 И робкое сопение Дымка.  
 Дымок, Дымок! Он снова был рассеян  
 И не дал в срок большому порошка.  
 Дымок вздыхал, косил смущенным оком.  
 И на Дымка взглянув исподтишка,  
 Борис заснул спокойно и глубоко.

Вот он поднялся, наконец, — худой,  
 Со взглядом мудрым, а у подбородка  
 С неровной золотистой и короткой,  
 Но ничего не скажешь, — с бородой.  
 Вокруг все было новым — легким, четким.  
 И поражала сердце тишина,  
 Ничем ненарушима, так полна,  
 Что дым от самокрутки, отлетая,  
 Не разбегался, а висел не тая,  
 И можно пальцем трогать этот дым  
 И даже рисовать им, голубым,  
 Причудливые буквы заплетая.

И можно выйти и взглянуть кругом  
 На снег, застывший волнами густыми.  
 И вдруг увидеть первый дом в пустыне  
 И знать, что ты построил этот дом.

Быть может дом, взобравшийся на скалы,  
 Тоску Бориса с тундрой примирил,  
 А, может, просто гордость помешала,  
 Но об отъезде он не говорил.  
 С товарищами встретившись глазами,  
 Он слал в ответ улыбки огонек.  
 Теперь ему Акимыч и Дымок  
 Уже казались старыми друзьями.  
 Он вспоминал, как грелись при костре,  
 Как в свисте бури ставили палатку,  
 Как бревна класть в особенную кладку  
 Акимыч обучал их на горе.  
 А нынче тундра мирная, как поле.  
 И с тихой грустью, но без прежней боли  
 Он напевал, как Миша в ноябре:

«Нам в жизни все знакомо;  
 В сутробе мы, как дома,  
 Повсюду нам готов и сон, и стол, —  
 В холодном море синем  
 И в ледяной пустыне,  
 Куда бы ни послал нас комсомол».

Все трудное теперь казалось в прошлом.  
 И даже Алексей, встречаясь с ним,  
 Держался мягче и, пожалуй, проще.  
 А, может, просто сам он стал другим.  
 Он отдохнул. Ему хотелось дела,  
 Чтоб руки ныли и душа горела.

В то время повелись у них пиры,  
 В хозяйстве новый завелся достаток:  
 Они варили суп из крупяток,  
 Которых били, не сходя с горы.  
 И как-то перед жаркой миской супа,  
 Когда они уселись на топчан,

Борис нарочно сдержанно и скупко  
 Спросил, какой у них дальнейший план.  
 Кольнув Бориса взглядом светлосерым,  
 Начальник мясо зачерпнул со дна.  
 — Дворец построен. В мире тишина.  
 Теперь мы с вами — снова инженеры.  
 Мой друг в ответ на это

до ушей  
 Весь залился мальчишескою краской.  
 Он исподлобья наблюдал с опаской,  
 Не насмежится ли Алексей.  
 Но тот как-раз хозяйскою рукою  
 Лил в кружки водку — лакомство

мужское, —  
 Чтоб прелесть супа оценить верней.  
 Мой друг вздохнул и, мрачно сдвинув  
 брови,  
 Решившись, как на штормовой аврал,  
 Сказал раздельно:

«Алексей Петрович,  
 О практике я вам тогда соврал».  
 И замер, словно приговор читая,  
 Презрительной усмешки ожидая.  
 Но на лице начальника черты  
 Вдруг осветились не усмешкой зыбкой,  
 А долгожданной дружеской улыбкой.  
 И обе кружки зельем налиты:

— Что ж, К делу, Боря.  
 Выьем, друг, на ты

... Шумел декабрь ночными голосами,  
 Звонящий ветер обещал пургу.  
 Когда, увязнув накрепко в снегу,  
 Под их горой остановились сани.  
 Вмерз в гривы лошадей дорожный снег.  
 А в лагерь надо чуть подняться выше.  
 И из саней неторопливо вышел  
 Спокойный невысокий человек.  
 Заиндевели брови и ресницы.  
 Он весь в снегу от головы до ног.  
 На нем тулуп, ушанка, рукавицы.  
 Таким никто узнать его не мог.  
 Он в дом вошел, за ним другие следом.  
 Встречая неожиданных гостей,  
 Из-за стола поднялся Алексей  
 И бросил ложку, не доев обеда.  
 А гость сказал:

— У вас, я вижу, суп.  
 Вот славная награда за дорогу.  
 Он улыбнулся и шагнул с порога,  
 Сняв рукавицы, распахнув тулуп,  
 И сквозь туман мажорочного дыма  
 При свете маленького камелька  
 По огонькам в глазах неуловимым  
 Борис узнал его издадалка.  
 И, опрокинув миску с теплым супом,  
 Он к гостю бросился и покраснел,  
 Хотел обнять его, — и не посмел,  
 Хотел сказать о чем-то самом важном, —  
 И слова выговорить не сумел.

### ПИСЬМО БОРИСА

Маринка! Не было еще такого.  
 Ты понимаешь? Я его живого —  
 Не на портрете, как тебя, видал.  
 Он слушал нас, расспрашивал, не верил.  
 Попробовал, какая здесь вода.



Взглянул на карты и повел за двери,  
Полез в шурфы, где камень наш блестит,  
Запоминал его на вкус, на вид,  
Смеялся, что об этом камне странном  
Волнуются уже за океаном.  
Потом внезапно лыжи попросил.

И там, в долине горной, за ущельем,  
Остановившись возле старой ели,  
Над озером, где мы не раз сидели, —  
Он помолчал, подумал, покурил  
И улыбнулся.

— Что ж, построим город? —  
Не то ответил он, не то спросил  
И сбросил снег, набившийся за ворот.  
Марина! Я тебе не передам,  
Как все вокруг мертво.

Лишь снег и лыжи.

И к полюсу отсюда много ближе,  
Чем к ленинградским паркам и садам.  
Но здесь среди простора нежилого  
Я понял силу сказанного слова!  
За этот город сердце я отдам.  
Он будет, будет здесь в пустыне дикой.  
Он так же верно встанет на горе,  
Как то, что грянет буря в декабре,  
А в августе запахнет лес черникой.

И этот голос... Он звучит во мне.  
Маринка! Машенька! Теперь легко мне  
И от того, что ты живешь и помнишь  
И что сегодня встретимся во сне.  
Какая тишина легла над миром!  
Мои любимые, моя семья!  
Есть друг Алешка, есть товарищ Киров  
И тоненькая девочка моя.

### ПИСЬМО МАРИНЫ

Привет, Борис. Все так же, как бывало, —  
Собранья, лыжи, лекции, коньки.  
Ты сердисься, что долго не писала, —  
Ведь знаешь сам, как сутки коротки.  
К тому же, Боря, нужен для медички  
Холодный нрав — судьбу не забывай.  
Вчера вскрывала я в анатомичке  
Труп девушки, попавшей под трамвай.  
Так было жалко — губы раньше пали...  
Пришла домой — все где-то вдалеке  
Рука ее на белом-белом теле  
И крашенные ногти на руке...  
Пора свыкаться, быть сильней и строже.  
Да. Ёжик наш восстал. Его зовешь,  
А он сквозь зубы цедит: «Я — Сережа,  
А никакой ни уж, ни чиж, ни ёж».  
Он шлет тебе привет и мама тоже.

Что до любви, — не знаю, как с ней быть.  
Хоть ты мне очень дорог, очень нужен, —  
Мне кажется — мы слишком крепко  
дружим,  
Чтобы смогли друг друга полюбить.  
Ну, вот и всё. Пора на боковую.  
Покойной ночи. Жду. Пиши. Целую.

### ГЛАВА IV

Весна полярных гор неповторима.  
Ее прозрачной дикой чистоты,  
Лишь раз увидев, не сменяешь ты  
На красоту Кавказа или Крыма.  
Еще земля под снежною корой.  
И солнце, не пытаясь плыть к зениту,  
Пока еще наполовину скрыто,  
Приковано к ущелью под горой.  
Но первыми лучами обогрета  
Гора, — весь год не знавшая зари, —  
Освещена как будто изнутри  
То голубым, то розоватым светом.  
И если тускло на душе твоей,  
Как все вокруг, куда хватает взора, —  
Взгляни на эту сказочную гору.

... Стоял апрель. И выше и ясней  
Светило солнце.

На коротких лыжах,  
Легко бросая палок острия,  
К развезду пробираются поближе  
Из будущего города друзья.  
Там на развезде, в суете вокзальной  
Уже, быть может, с группой горняков  
Сошел посланец Кирова —  
начальник

Всех фабрик будущих и рудников.  
Как смотрит он — лукаво или сурово?  
Покладист он? Надменен? Резковат?  
Что знает он

и как он держит лыжи?  
Кто он такой, товарищ Богорад?  
Что привело его в края сугробов?  
Какие он построил города?  
И почему-то порешили оба,  
Что у него густая борода.

А солнце понемногу припекало.  
Вспотев и вспомнив летние денки,  
Они фуфайки сняли для начала  
И бережно сложили в рюкзаки.  
Но быстрый бег опять не нес прохлады.  
Тогда Борис сорвал рубашку вдруг  
И с ней в рюкзак со всем хозяйством  
рядом  
Засунул пару верных лыжных брюк.

Еще не зная, что такое счастье, —  
Пока звенит упругая лыжня  
Неплохо мчаться в трусиках по насту  
Под ярким солнцем северного дня.  
Когда глаза слипаются от света,  
Когда не думается ни о чем,  
Следить в лесу мельканье хвойных веток  
И встречный ветер чувствовать плечом.  
И лишь на миг письмо припомнить злое  
И девушку с холодной душой.  
Как равнодушны, как пусты слова...  
А, может быть, девочка и права.  
И наплевать. Насильно мил не будешь.  
Как хорошо, что далека Москва, —  
Вдали скорей сердечный жар остудишь.  
Шуршали лыжи и искрился снег.  
Вот поворот — и путь с пригорка  
гладкий...

Остановив их, оборвав их бег, —  
Раздался снизу звонкий женский смех:  
— Да тут у вас альпийские прядки!

Запутавшись, неловко завернув,  
Они концами лыж уткнулись в сани.  
И стали, нерешительно взглянув  
Усталыми счастливыми глазами,  
Вот женщина глядит из-под руки.  
А рядом с ней в широких санках двое —  
Один в пенсне с пепочкой вдоль щеки,  
Другой — с дремучей, властной бородою.  
И Алексей шагнул к бородачу:  
— Простите, что не встретили,

начальник...

Шло солнце по борисову плечу,  
И вид у них обоих стал печальным.  
А бородач смеется:

— Очень рад.

Я архитектор, здесь ничуть не главный.  
Прошу, знакомьтесь — Анна Николавна,  
Товарищ Ковалева-Богорад.  
Все замелькало: солнце, небо, санки.  
Борис глядел, не видя ничего.  
Тот первый смех красивой северянки —  
Неужто смех начальника его?  
Совсем не рассердившись на ошибку,  
Нетороплива и лицом светла,  
Она дружей приветствует улыбкой, —  
Вот Алексею руку подала.

Еще не зная, чем он недоволен,  
Борис стоял бледнее полотна.  
Нето она понравилась до боли,  
Нето его обидела она.  
Себе казался он таким неверчным,  
Давно бы надо волосы подстричь...  
Он руку протянул ей очень мрачно  
И глухо пробасил:

— Борис Ильич.

## ГЛАВА V

Как станет он землю городской,  
Медвежий край, где властвует буран?  
Но Киров верил в торжество людское,  
И Сталин безошибочной рукою  
Внес этот город в пятилетний план.  
И все, что встанет в этом зыбком круге,  
Ей — русской женщине — свершить дано.  
Хоть и шипит немецкий доктор Крюгель,  
Что людям здесь дышать не суждено,  
Но русские для немца непонятны  
Еще со времени чудского льда,  
К тому же немцу жалко, вероятно,  
Что не ему достанется руда.  
Пусть немец врет — его душе приятно,  
А наше дело строить города.  
Забыла Анна или не забыла  
Косые взгляды, соль колючих слов,  
Когда девочкою она вступила  
В суровый мир бакинских промыслов.  
Когда, другим не подавая вида,  
Весь день на людях, с нефтью в волосах  
Она дневные горькие обиды  
Несла в подушку, губы искусав,  
Но чем трудней желанная дорога,

Тем яростней идешь всему на зло.  
Как позабыть ей первую тревогу,  
Когда рванулось пламя и пошло  
Гулять по вышкам, изо тьмы их вырвав.  
Все гуще дым клубился нефтяной.  
Примчался из Баку товарищ Киров.  
Лопаты замелькали над землей.  
Но все бы скоро кончилось, наверно,  
Когда б в жару не допнула цистерна,  
И в озеро не кинулся огонь.  
Опасность сразу стала непомерной, —  
Нефть, разбегаясь по воде, могла  
Поджечь вокруг другие промысла.  
Сергей Мироныч первый понял это.  
Он в воду бросился с доской — за ним,  
Как тень его, в мельканье тьмы и света,  
С лопатой Анна окунулась в дым.  
Два дня лихое пламя бушевало,  
Но дальше не смогло пойти оно.  
Вся обожженная, она лежала  
В медпункте, глядя в узкое окно.  
Но с этих пор, по дружному почину,  
Весь промысел решил на свой манер,  
Что Анна тоже вроде как мужчина  
И, вероятно, дельный инженер.

Баку! Баку! Каспийский берет белый,  
Июльский зной, весенняя трава,  
Любовь, что вспыхнула и догорела,  
И первое доверенное дело,  
И кировские первые слова.  
С тех пор доверье шло как будто рядом  
И оставался всюду дельный след.  
Баку, Донбасс, Валдайский горсовет,  
Потом строительство под Ленинградом.  
Когда Мироныч — давний, старший друг —  
Ее к себе внезапно выгнал в Смольный,  
Она опять припомнила невольно  
Весь этот пестрый беспокойный круг.  
— Ну, как, Анюта? Вижу, располнела.  
С чего бы это? Или жизнь тиха?  
— Старею...

Он смеется: — Да, плоха.

Смотри, а то приставаю жениха.  
Да что жених — есть золотое дело,  
И, увлекаясь, он ее повел  
В край птиц непуганных, снегов  
несматых,  
В тот самый край, где первый дом  
дощатый  
Борис под крышу только что подвел.  
Да, это было дело. Миг желанный!  
В лицо смертям сказать, что смерти нет.  
И не заметила, храбрея, Анна,  
Как вспыхнули глаза её в ответ.

И вот рудник уже гремел кирками,  
Стонала под кувалами руда,  
И шла дорога снежными полями,  
Как и во все другие города.  
Вся жизнь теперь делалась на минуты,  
И все решалось сразу, на ходу.  
Пока в пяти научных институтах  
Молоди, мыли, мучили руду,  
Пока один искал большое в малом,  
Пока другой не верил и мешал,  
Пока никто из нас еще не знал,

Что будет с этим странным минералом,  
Пока немецкий доктор что-то врал,—  
Уже летели ленты первых сводок,  
Руда спешила к югу в сотнях тонн.  
А в Ленинграде, позабыв про сон,  
Не меньше восемнадцати заводов  
Готовили буры, трубопроводы,  
Турбины, стекла, рельсы, телефон,—  
И все это по землям и по водам  
Летело в край, где город заложен,  
И пусть ты снам лишь час за сутки

дарить,

Спишь в рукавицах, ешь на холоду,  
Но слава наша, сверстник и товарищ,  
В тридцатом начинается году.

И мы спешили. Нас несло вперед.

Нам так хотелось сделать жизнь

красивой,

И было столько воли, столько силы,  
Что десять лет укладывались в год.  
Что километры!

Для сердец крылатых

Москва была совсем недалеко.

И Анна шла по лестницам ЦК,

Входила в кабинеты наркомата,

И в Смольном появлялась без звонка.

Миронич улыбнется ей, и снова

В календаре настольном чертит слово

Привычным жестом легкая рука.

И это значит — в срок придут шпалы,

Кредиты, фильтры, бочки аммонала.

И Анна, — словно и не уезжала,

Опять идет по склону рудника.

А город был пока невидим взору,

И лишь для тех, кто верил в чудеса,

Дома глядели в озеро и в горы,

Фабричные вставали корпуса.

Что может быть прекрасней этой ночи,

Когда мечта родится на лету!

Сравнится с ней лишь день, когда воочью

Увидишь ты поставленную прочно

И пальцами потрогаешь мечту.

Да, мы мечтать умели.

... Месяц вышел

И звезды, как одна, глядели вниз,

Когда стараясь быть как можно тише,

Взволнованный к ней постучал Борис.

Не отрываясь, — Да, — она сказала, —

— Я слушаю. — И он забормотал

Про что-то непонятное, — металл

Какой-то, свет, двенадцать баллов.

И вдруг, запутавшись, осекся он.

Она взглянула: — Что? — взглянула снова

И улынулась. Это ей не ново.

Сомнений нет — мальчишка был влюблен.

Без шапки, в полушубке нараспашку, —

По-детски дерзкий, жадный по-мужски,

На пальцы Анны взгляд уставив тязко,

От робости сжимал он кулаки.

И Анне захотелось рассмеяться,

Напомнить, что на улице мороз.

По-сестрински, по-дружески, по-братски

Пригладить ерш мальчишеских волос.

Она достала из-под стопки книг

Чертеж и подала его Борису:

— Взгляните, здесь (приказ уже подписан)

Решили мы открыть второй рудник.

Борис не понял. Что она сказала?

Какой рудник, зачем рудник сейчас!

Он побледнел, но Анна продолжала:

— Начальником мы назначаем вас.

И эта фраза с непонятной силой

Кольнула сердце друга моего.

Он шел за счастьем к женщине красивой —

И не сумел сказать ей ничего.

Глупец. Трусиха. Так ему и надо.

И он решил отрезать напрямик,

Что он пришел сюда не для доклада

И что терпеть насмешек не привык.

Он рот открыл, но вспыхнул весь и

замер,

Внезапно с Анной встретившись глазами.

«Молчите, Боря», взгляд ему сказал.

И был он дружелюбен, нежен, светел,

И было в этом взгляде все на свете,

Все, кроме одного, чего он ждал.

Но все еще надеясь и пылая,

Отвел глаза он, верить не желая.

Уйти, уйти. Пусть не дрожит рука.

И перед тем, как звонко хлопнуть

дверью,

Все здесь запомнив,

он сказал: — Пока,

И жестко как начальник рудника

Добавил: — Что ж, Спасибо за доверье.

## ГЛАВА VI

Письмо пришло к Марине в день зачета.

Она не тронула — прочту потом.

И день прошел в студенческих заботах,

Анатом был опасным старичком.

Теперь домой. Одним зачетом меньше.

А дома ждет заветная печать.

Письмо, письмо...

Как всё сословье женщин,

Она любила письма получать.

Открыть конверт. Устроиться уютно.

Поплыть по строчкам, позабыв про чай,

То повздыхать, то погрустить попутно.

То улыбнуться, будто невзначай.

И вновь узнать, читая между строчек, —

Он все такой же — милый и ручной.

Потом ответ писать в тиши ночной

На всю тетрадь без запятых и точек.

Писать, краснеть, забыть про все вокруг.

А запечатать, устыдиться вдруг,

Поверить правде все еще не смея.

И, наперед грустя и сожалея,

Послать в ответ почтовый холодок

Открыткой — отговоркой в двадцать строк.

Но где ж письмо? Марина час без толку

Перерывала тумбочки и полки,

Вытряхивала ящики стола.

Будила маму, что давно спала.

И все напрасно. Вот напасть какая!

Письмо нашлось под утро, —

засыная,

Его засунул Ежик под кровать,

Хотел сестру заставить танцовать.

Знакомый милый почерк журавлиный.  
 Но почему бледнеешь ты, Марина?  
 Зачем так беспокойно дышит грудь?  
 Что пишет он, души твоей не зная?  
 Обидел, может? Полно — позабудь.  
 Да что с тобой? Да что с тобой, родная?  
 Она крест-на-крест все разорвала  
 И сбросила сердито со стола,  
 И, на коленях ползая, ключочки  
 Вновь собрала от строчки и до строчки  
 И затаила — тихая, как мышь.  
 Потом вскочила, закричала: — Мама!  
 Я уезжаю. Завтра. Что ж ты спишь?  
 Да, разреши. Да, приказ подписан.  
 В командировку. В отгул. Все равно!  
 Что? Так и знала? Ну, и знай — к Борису.  
 Нет. Не удержишь. Поздно. Решено.  
 И дверь, как выстрел, хлопнула за нею.  
 А мама поглядела ей вслед,  
 Не зная, — надо плакать или нет.  
 Вот будет ждать письма иль телеграммы,  
 Все думать — как там девочка сейчас?  
 Так водится, чтоб всем на свете мамам  
 Не понимать нас и грустить о нас.  
 Ну, а Борис?

Холодными глазами  
 На запад провожал он облака.  
 Был мрачен, выбрит, молчалив и занят,  
 Как и любой начальник рудника.  
 Но что скрывать? Стараясь быть

суровым,  
 Он не всегда держал солидный тон.  
 Охваченный внезапно чувством новым,  
 Вдруг беспричинно улыбался он.  
 Хотел, чудак, уехать — не уехал,  
 Сдружился с восьмибалльным ветерком,  
 Со снегом до неба, с оленьим мехом,  
 С гремучим беспокойным рудником.  
 Вот он стоит под ветром загорелый  
 С открытым чуть насмешливым лицом  
 И уж не кажется таким юнцом —  
 Сутуловатый, прочный, крупнотелый.  
 Сказать по правде — доля нелегка.  
 Всё заводи на новом месте снова.  
 И, коли ты начальник рудника,  
 Не жди на помощь никого другого.  
 Разведывай, бури, давай руду.  
 К тому же надо строить на ходу.  
 А строить, — это значит, сам с собою  
 Решайте, дорогой Борис Ильич,  
 Что сделать, если кончился кирпич,  
 Чем заменить железо листовое.  
 А новая беда недалека, —  
 Немало в жизни есть тропинок

скольких —  
 Казалось бы всегда была крепка  
 Их дружба на собраниях комсомольских.  
 Сдружили песни на грузовике,  
 Субботники на старом руднике.  
 А нынче, вдруг, ребята смотрят косо:  
 «Мол, наш почет Борису Ильичу».  
 То задают ехидные вопросы,  
 То хлопают развязно по плечу.  
 Ребята ждали, как себя поставит.  
 И понял он — задача непростая  
 Завоевать упрямые сердца,  
 О дружбе и друзьях не забывая,

Начальником остаться до конца.  
 А тут как-раз по новому наряду,  
 В хозяйстве крепче подтянул бразды,  
 Рудник обязан был на эстакаду  
 В счет срочного заказа Ленинграда  
 Сверх плана выдать триста тонн руды.  
 С утра как будто было все в порядке —  
 Руда по скатам мчалась под откос,  
 Дымок надменно по путям откатки  
 Водил нарядный ловкий мотовоз.  
 Все на мази. Теперь поест он может,  
 Уснуть, пожалуй, может на часок.  
 Он только-что всаdil в буханку ножик,  
 Когда в блиндаж просунул нос Дымок.  
 Хихикнув и ослабившись нахально,  
 Прищелкнув всеми пальцами пятю,  
 Он сделал ручкой:

— Мотовоз — тю-тю.

Как видно, отдохнем теперь, начальник? —  
 «Что?» Но в ответ на изумленный взгляд  
 Дымок вздохнул — бывает и почище.  
 Быть может, он, Дымок, и виноват.  
 Но ведь начальник — друг, а друг  
 не взыщет.

Когда Борис взобрался на откос,  
 Еще в несчастье разобравшись слабо, —  
 Единственный рудничный мотовоз  
 Стоял, бессмысленно скривившись набок.  
 Вокруг его останков горняки  
 Столпились молча, как у гроба друга.  
 Все стало ясным: «Запорол, подлаяга»,  
 И у Бориса сжались кулаки.  
 Тупой холодной яростью объятый,  
 Стоял он молча, сдерживая жыл.  
 Что сделать? Он начальник. Ждут ребята.  
 А как бы здесь начальник поступил?  
 Конечно, «друг» — звучало слово гордо,  
 Их вместе снегом засыпал буран.  
 А если друг сорвал рудничный план,  
 Грешно ли дать такому другу в морду?  
 Но с твердостью, которой за собой  
 Борис не знал до этого момента,  
 Сказал он тихо:

— Сдайте инструменты,

А сами, — он поморщился, — в забой.  
 Дымок не понял. Это так за что же?  
 Он — моторист.. Его в забой сейчас?  
 — Да что ты, Боря... Как? Да ты  
 не можешь!

Да я...  
 — Извольте выполнять приказ! —  
 И мельком оглянувшись на мгновение,  
 Борис прочел во взглядах уважение.  
 Заказ не ждет, а сутки коротки.  
 Будь проклят этот чортос цех движенья!  
 Помогут ли Борису горняки?  
 С невозмутимым видом полководца  
 Он так же твердо, как и о Дымке,  
 Сказал:

— А вам, товарищи, придется

Две смены провести на руднике.  
 Молчанье показалось длинным-длинным.  
 Как он боялся в глубине души.  
 Он понимал — ребята не машины,  
 Попробуй сам кувалдой помаши.  
 Не выдержав, обвел он лица взглядом.  
 Вот борода Акимыча с ним рядом.

Он тоже друг. Чего ж друзья молчат?  
Глаза Акимыча, как дно колодца.  
Старик степенно оглядел ребят  
И, крикнув, неспеша сказал:

— Придется.

Борис не чуял под собою ног,  
Он словно стал сильней и выше ростом.  
И тут же удивился: как он мог  
В ответе сомневаться? Все так просто —  
В его словах был заключен приказ.  
Не подчиниться было бы нельзя им.  
И в первый раз он понял, в первый раз,  
Что он теперь на руднике хозяин.  
И он, не горясь, пошел в блиндаж.  
Но что это? Некстати гость неожиданный —  
К нему навстречу подымалась Анна.  
Встречать гостей удел смиренный наш.  
Она чутье особое имела, —  
Едва затрет, заест на руднике,  
Не ладится какое-нибудь дело.  
Глядишь, — она уже недалеко.  
Прищурится — и ей соврешь едва ли.  
Да не к чему и врать ей, — поглядит  
И невзначай не то, чтобы похвалит,  
А как-то незаметно подбодрит.  
Припомнит, кстати, славные повадки  
В Довбассе, в Криворожье или в Баку,  
Как лучше уложить гуты откатки,  
Дать жару буровому молотку.  
И он хватался за все советы.  
Выкладывал ей все свои дела.  
Сказал бы ей, конечно, и про это,  
Когда бы Анна час назад пришла.  
Теперь же он ответил:

— Все в порядке.

Заказ Мироньча исполню в срок.  
В его глазах, в словах неожиданно кратких  
Она поймала новый огонек.  
И улыбнулась — вот плечен и вырос.  
И в первый раз в забой не пошла.  
Зачем мешать работать командиру,  
Который знает сам свои дела!

## ГЛАВА VII

Вот прибыл поезд. Маленький разъезд  
За это время стал неузнаваем.  
Но для Марины, незнакомой с краем,  
Он просто был одним из новых мест.  
Еще в вагоне ей сказали люди,  
Что в горы с поезда автобус будет, —  
Но он не шел. Свистели поезда.  
Какой-то грузовик стоял поодаль.  
Он погудел протяжно раза два  
И запыхал, нагруженный народом.  
А скрылся, и Марина поняла:  
Ушел автобус, — тот, что был обещан,  
Она вздохнула молча и пошла.  
Добро еще, что рук не тянут вещи.  
Зачем она приехала сюда, —  
Чтоб прятать горе в маленьком платочке?  
Пусть себе бы строил города!  
Что в том письме? Всего четыре

строчки, —

Борис ничуть Марины не забыл,  
Но ведь сейчас вопрос обоим ясен.  
Она не хочет, чтобы он любил,  
Ну что же — и на дружбу он согласен.

В ту ночь поняв, что время выбирать,  
Она чутьем, по-женски угадала:  
Пока она его не потеряла,  
А будет медлить — может потерять.  
Снялась, примчалась — сразу все иначе, —  
Все пустяки, девчоночий каприз.  
Уж так ли он и нужен ей, Борис,  
Чтобы лететь сквозь версты наудачу?  
Когда почти уже кончался путь,  
Она назад решила повернуть —  
И повернула, злясь и чуть не плача,  
Но оглянулась, не хотел глядеть,  
И побежала — падая, вставая, —  
Вся, как пружина, собранная, злая,  
И повторяла: «Только бы успеть».  
А что успеть — сама понять не смела  
Вот добежала к первому крыльцу.  
Спросить о нем у встречных не успела  
И вдруг столкнулась с ним лицом к лицу.  
Борис увидел, вскрикнул — и упрямо  
В одно мгновение в памяти прошел  
Весь этот мир — читальня, Ежик, мама,  
Тарасовка, зачеты, волейбол.  
Когда он, кепку на затылок сдвинув,  
Робел и жил желанием одним.  
И наконец, она — его Марина  
В его краю без мамы перед ним.  
Тяни к ней руки, сам себе завидуя.  
Не спит ли он? Да полно — как он мог  
В плену пустой мальчишеской обиды  
Не доискаться правды между строк?  
Мелькнула Анна. Та же и не та же,  
Прекрасная, но мраморная вдруг.  
Как в тихом ленинградском Эрмитаже  
Старинная красавица без рук,  
И вновь Марина. Словно жизнь вторая,  
Родная каждым помыслом своим,  
Трепещущая, ясная, живая,  
Одна на свете встала перед ним.  
Ее он обнял так легко и смело,  
Как раньше не решился бы обнять.  
Он вырос, вырос...

А она краснела.

Ресницы было трудно ей поднять,  
И мысли сбились.  
В городе далеком  
Они пришли, пришли к себе домой,  
И солнце встало против самых окон,  
Единственный свидетель их немой.  
Ты видишь, друг, не все судьба жестока.  
Прекрасно правило старинных лет  
Кончатся роман тотчас на брачном пире,  
И пусть читатель думает, что в мире  
Разлук, измен и горя вовсе нет.  
Все хорошо — он мил, она желанна.  
Но это вовсе не конец романа.  
Не потому, что свадьба без венца  
Или что детский выбор их непрочен.  
Не потому, что после первой ночи  
Остынут их горячие сердца.  
Нет, счастье было полным, без осадка.  
Такое, что другого и не жди.  
Но просто жизнь идет своим порядком  
И вся еще пока-что вперед.  
Открылся перед ними мир лучистый,  
Тот самый мир, в котором нет границ,  
Где можно все, и все светло и чисто.

Как робкий взмах девических ресниц.  
Где тайны нет и всюду снова тайна,  
Тот мир, что непонятен и далек  
Для тех, кто чувств своих не доберет,  
Растратив их на ласки встреч  
случайных.

Борис впервые начал ощущать,  
Как небо синее, как земля бескрайна,  
Как даль ясна и как легко дышать.

В короткий миг заката и рассвета  
Дымком дыханья промелькнуло лето.  
Он оглянулся — дело к сентябрю.  
Ну, что ж — пускай испортится погода.  
Любовь не придана календарю.  
Что может изменить в ней время года?  
Но оба знали —

первые ветра  
Не только сделают деньки короче,  
И беспокойной августовской ночью  
Она сказала:

— Боря, мне пора.

Он испугался, хоть и ждал, что скажет.  
Все думал, ну, авось, отложит на денек.  
А там сентябрь, и снег на землю ляжет,  
А дам, глядишь, отъезду минет срок.  
Угадывая власть свою мужскую,  
Порой решал — она должна понять,  
Что край такой и что любовь такую  
Ей ни на что теперь нельзя менять.  
..Трубил комар, и оба были правы.  
Печаль гнетет, куда ее ни прятать.  
Но что сказать? Как ты — горняк по

праву,  
Так всей душой твоя Марина — врач.  
И каждому своя мечта и слава.  
Под утро он услышал тихий плач.  
Обняв ее, в бесчетный раз он понял,  
Что не под силу будет вдалеке  
От этих милых, маленьких ладоней,  
От родники на этой вот щечке.  
Он зашептал ей, крепче обнимая:  
— Маринка... поезжай... я понимаю...  
И вновь разъезд, и поезд на путях,  
И чужой близкий холодок разлуки,  
В последний раз к рукам прижалась

руки.  
Земля моя! Бескрайный пыльный шлях.  
Двенадцать лет промчалось с той  
минуты,

Встал город посреди седых снегов.  
Менялись песни, станции, маршруты  
В наш буйный век разлук и поездов,  
И несмотря на расстояние злое,  
Деля судьбу с судьбой родной земли,  
Сквозь мчащиеся годы эти двое,  
Как дети, взявшись за руки, прошли.  
И в беге ярких дат и легких чисел,  
Навек оставив горестную тень,  
Пришел последний в юности Бориса,  
Перевернувший сердце страшный день.  
Сквозь траур маршей, снежной ночью  
длинной,

В тот час не знали мы издалека,  
Что двигала убийцей\*

из Берлина

Кровавая злодейская рука.  
Но как представить Кирова живого  
Исчезнувшим, умолкнувшим, в гробу,  
Когда навек, на всю твою судьбу  
Остались в сердце взгляд его и слово?  
Он не пройдет с Борисом по горе,  
Улыбкою наш праздник не осветит.  
А как его мы ждали в декабре  
В наш день, в наш край на праздник  
пятитысяч!

Мне кажется, я снова прохожу  
Над озером с крутыми берегами.  
Здесь раньше иногда семья саами  
Раскидывала легкую вежу.  
Здесь только зверя раздавался цорох,  
Не знало небо, что такое дым,  
Что ж, оглянись — и ты увидишь город,  
Который нам с Борисом стал родным.  
Вот наших фабрик окна золотые,  
Балконы наших каменных домов,  
Вот наш театр на тридцать шесть рядов  
И фонарей цепочки, как живые.  
И с трех сторон на этот мир простой  
Глядят вершины в дымчатых уборах.  
Вот наша юность, наш любимый город,  
Который знали мы еще мечтой.  
И годы шли. И все светлей и проще  
Борису открывался край родной.  
И счастье, осязаемое наощупь,  
Вставало над любимой землей.

Еще был день, Марина, как от сна,  
От боли вдруг очнулась. Было рано.  
Негромкий плач услышала она.  
Увидела рассвет сквозь ширь окна.  
И улыбнулась. Так пришла Светлана.  
Что ж, здравствуй, девочка, Расти, живи  
Частицей человеческой любви,  
Последней мирной строчкою романа.

И вот она — война, война, война.  
Мы знали, что она не за горами.  
И все-таки, неожиданная, она  
Кровавой явью встала перед нами.

Как передать событий страшный ход.  
Как передать невиданную силу,  
Которая твой подвиг окрылила,  
Объятый мезтью гордый мой народ?  
За все, что быть могло и не успело,  
За все, о чем нам наше завтра пело,  
За кровь любимых и за горький дым  
Над тем, что ты построил утром белым,  
Врагу мы горем горе возвратим.  
Все правда, Боря. Ты любил и строил.  
Перед судьбой не опускай век,  
Стать полководцем или стать героем  
Ты не мечтал. Ты мирный человек.  
Но что ты выбрал, в жизни выбирая, —  
Кирку, палатку и дорогу вдаль.  
Одна дорога без конца, без края,  
Под плащпалаткой той же марки сталь.  
Ну что ж? Давай обнимемся с тобой.  
Еще не раз сойдемся мы вдвоем.  
И где-нибудь в землянке после боя  
За стопкой водки юность комянем.

# БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Роман

А. АВДЕЕНКО

★

I

Оленьи горы еще покрыты остатками зимнего снега, а в долине уже закурчавились, зазеленели поля, растаял на озерах лед и по ночам, от зари до зари синие воды кипели перелетными говорливыми птицами. Солнце каждый день рождалось в новом месте, все дальше и дальше стояло над расцветающей землей.

Барвара выставила в горнице глухую раму, распахнула створки окна, начала теплой водой промывать помутневшие за зиму стекла. «Где-то теперь мой Кузя? — подумала она. — Второй месяц ни слуху, ни духу...»

— Здорово живешь, Петровна!

Чуть слышный, по-весеннему простуженный голос Степаниды так испугал Варвару, что, встретившись, она разбила локтем оконное стекло.

— Не к добру этакая напасть, не к добру! — проговорила Степанида, останавливаясь на пороге.

Варвара испуганно обернулась к молодой, пухлой, как сдобный хлеб, соседке. Несмотря на будничный день, та была одета по-праздничному.

— Что не к добру-то?

— Когда в руках ничего не держится, горя жди... Собака твоя, Варенька, всю ночь выла, — тоже не к добру! Даве у меня на руке синее пятно выступило, когда я об тебе подумала, — тоже не к добру.

Степанида переступила с ноги на ногу, поскрипывая новенькими полусапожками, жалостливо покачала головой.

— С недоброй вестью я к тебе, Варенька, — хочешь не хочешь, а принимай.

Степанида вошла в избу и, прижмурившись, долго, по-старушечьи, качала головой. Варвара, прижимая дрожащей рукой порезанный о разбитое стекло локоть, терпеливо ждала. Кровь пробивалась между пальцами и капля за каплей стекала на пол.

Степанида, расправив юбку, села и, положив на стол свои белые, пухлые руки, с плохо скрытой радостью сказала:

— Ну, Петровна, отвеселилась, головушка: довелось и тебе горя хлебнуть! Мужик твой, сказывают, заткнул на фронте.

Умолкла, пытливо вглядываясь в подругу, готовая броситься на помощь, утешать. Варвара молча, опустив голову, не шевелясь, выслушала страшную весть.

— Кто сказывает? — спросила она со слезами на глазах.

— Афанасий мой прописал.

— Это неправда! Моего Кузю нельзя так вот сразу... без всякого сгубить. И ты сама знаешь... Зачем кривду разносишь? И не стыдно?

— Одним снарядом их угостил немец, твоего и моего. Мой благополучно отделался, а твоего...

— Неправда! Где письмо, покажи!

Степанида торопливо протянула желтый конверт. Варвара быстро пробежала глазами исписанный тетрадочный листик, гневно вскрикнула:

— Неправда, я говорила, неправда!.. Смотри, чего Афоня написал: «Может убили Кузьму...» Слышишь — «может», а ты!..

Степанида с готовностью заглянула в письмо, прочитала:

— «...а еще, дорогая Степсенька, прописываю тебе за Кузьму Хлебушкина и Аleshку Рублева. Погибли они, бедные, наверняка погибли, только не знаю как — или сразу были убиты, или ранеными в плен попали...» — Степанида усмехнулась. — Ну, теперь тоже не поверишь?

— Чего радуешься? — прохрипела Варвара сквозь слезы. — Не будет тебе никакой выгоды от моего горя.

Степанида спрятала письмо в рукав шелковой кофточки.

— Не жалко тебе мужа, вот и притворствуешь.

— Иди отсюда! Не перед тобой ответ мне держать.

Степанида, презрительно усмехаясь, пошла к двери.

Весенние сумерки медленно наполняли долину Оленьих гор. Между небом и вершинами кедров, сосен и пихт висела пепельная слоистая полоса. Не облако и не дым, то было сгущенное тепло дышащих лесов. Наконец ночь спустилась, придвинула темную тайгу, расплзлась по зеленеющим полям, накрыла потемневшую от дождей деревню.

Марья Хлебушкина долго не зажигала огня. В темную избу кто-то вошел, оступивая стены. Марья не слышала, погруженная в глубокое раздумье.

— Есть здесь живая душа али нету? — окликнула Варвара.

— Кто тут? — вскинулась Марья.

— Это я, мама.

Марья встряхнула спичечной коробкой, подвинула к себе лампу, зажгла огонь.

Варвара прошла по избе, пылливо осматривая затемненные углы, печь, полати.

— Ты что шарить? — спросила Марья, косясь на невестку.

— Таак... — вздохнула она. — Померещилось, будто ты Кузьму звала.

— Я еще из ума не выжила. Чего пришла, рассказывай?

— Страшно одной, мама, такую длинную ночь прожить. Повечерую с тобой маленько.

— Вот и хорошо. Садись рядом, вместе прясть станем.

Марья достала с печи дубовую прясицу с начесанной на нее куделью шерсти, села на копыл, поплевала на пальцы. Тяжелое веретено с полным простенем пряжи весело зашуршало в темных натруженных руках.

— Мама, ты... Ты слыхала про Кузьму? — робко спросила Варвара. В ее взгляде была страшная мольба: пусть све-кровь лучше покривит душой, но только не скажет правды.

— Известно, слыхала.

— Верить, мама?

Марья молчала, старательно выкручивая шерстяную нитку.

— Верить, мама? — закричала Варвара, бросаясь к свекрови.

Женщины долго рыдали, оплакивая сына и мужа — Кузьму Хлебушкина.

## II

Два дня и две ночи Кузьма Хлебушкин и Алексей Рублев тащили полумертвого лейтенанта Антона Черешню по лесам и оврагам. К вечеру третьего дня, смертельно измученные, добрались к окраине глухой, удаленной от больших дорог деревушки, залегли в мокрых камышах.

Дождавшись темноты, Хлебушкин пробрался огородами в деревню и чутьем, нажитым в дни войны, выбрал двор понадежнее, тихонько постучался в запертую дверь. На крылечко выскочила хозяйка — белолицая, босоногая, с цыганскими серьгами в ушах. Непокрытая голова ее с белокурыми волосами светилась в густых сумерках. За спиной хозяйки виднелась внутренность хаты — жаркий огонь в печи, расшитое красными петухами полотенце на жердочке, стол, накрытый белой скатертью, черный кот, облизывающий лапу. Тепло, покоем и тихой семейной радостью повеяло на Кузьму Хлебушкина.

— Кто тут? — спросила хозяйка.

— Я твой брат! — сдавленным шепотом произнес он те заветные слова, которые везде и всегда прокладывали ему дорогу жизни по тылам врага.

— Боже ж ты мой! — вскрикнула хозяйка, испуганно всматриваясь в незнакомого человека.

Женщина была похожа на Варвару, на жену Кузьмы Хлебушкина и лицом и голосом. «Где-то она теперь? — подумал Кузьма. — Угадывает ли она, в какой великой беде он находится? Правда или неправда, что тоска и радость через всякие горы и моря, степи и леса перекидываются?»

— Кто ты? — шепотом спросила хозяйка.

— Выручай, сестра. Раненый командир у нас на руках, да мы двое. Пришрячь пока, до поры до времени.

Хозяйка обежала с крылечка, схватила Кузьму за руку.

— Де ж вин, раненый?

— Сейчас доставим. Немцы в деревне есть?

— Есть, будь они прокляты!.. Несите раненого.

Хлебушкин вернулся в камыши. Лейтенант Черешня метался в горячем сне. Рублев тоже спал — с клетком в горле, лицом к звездам. Это был широкоплечий, обросший щетинистой бородой человек. Своим широкоспинным, длинноногим, длинноруким телом много занимал он места на потревоженной боями земле. Невзгоды последних дней сразили и великана. Кузьма усмехнулся. «Дивно, как я еще держусь!» Толчком он разбудил Рублева. Тот испуганно вскочил. Узнав друга, бессильно опустился на землю, заныл.

— Пропадаю я, Кузя. Конiec мне, дружба, конец.

— Вот так уралец! А все бахвалялся, вспомни: «мы, дескать, уральцы, кремень, а не люди. Вставай, Алешка, ну дури! Я сам понесу лейтенанта. Вставай! Эх, и место я вам уготовил — надежное, с молодайкой в придачу. Вставай, ну! Хозяйка, как дождевая капля на дождевую каплю, похожа на мою Варвару. Не



зря, право не зря примстилась мне Варька. Знать-то, увидимся скоро.

— Чудак человек! — обозлился Рублев, поднимаясь на ноги и потягиваясь. — Да ты глянь на себя — где ты и что ты? Во век теперь не видать тебе своей Варьки.

— Брось, Алешка. Я к своим и к Варюше сквозь кровь, огонь и воду пробьюсь. Сквозь немца пробьюсь. Мы, брат, с ней свое отлюбим, чего нам положено.

— Полоумный, чего плетешь, опомнись! Где немцы? К Волге лезут. Зимой, чего доброго, они и в твои Оленьи горы дошагают. Пропала Россия, пропала, — Рублев доверительно прилянул к Хлебушкину: — Кузя, давай зароем винтовки, переоденемся — и...

— Ежели Россия пропала, так чего же нам с тобой себя скакать? Куда мы денемся без России? Не такие мы, уральцы, люди, — Хлебушкин крепко сжал плечо товарища, — вставай, кому говорю.

— Полоумный, Кузя, ты был в деревне, таким остался и на войне.

Хлебушкин с горькой усмешкой покачал головой.

— А ты, вот, мудрец, да скулишь. Не стой зря, помогай.

Хлебушкин бережно приподнял раненого лейтенанта, с помощью Рублева приладил его себе на спину.

Недалеко было до деревни, но дотащились туда поздно вечером. Хозяйка пригостила место на чердаке, в соломе, накрытой прохладной дерюгой. Лейтенант Черешня очнулся, криком спросил:

— Где мы, Хлебушкин?

— У Христа за пазухой, не беспокойтесь. Курить желаете? Давно я берегу две цыгарки про счастливый случай. Курите, товарищ лейтенант, кури, Алешка.

— А ты? — помолчав, спросил Черешня.

— Какой я курец! Обойдусь, таковский. Курите, товарищ лейтенант, табачный дым раны очищает.

— Ладно, вдвоем покурим.

Молча, жадно съедая дым, сосали цыгарку. Дорого это обошлось раненому. Судорожный кашель минут пять выворачивал ему нутро.

— Похоже на то, что не дотянет он и до утра, — укладкой шепнул Рублев.

Лейтенант озлобленно поднялся на локте.

— Дотяну, врешь! И не только до утра. Дотяну сколько надо.

— Дотянете, товарищ лейтенант, известно, дотянете, — ласково забормотал Хлебушкин, укладывая Черешню на солому и подправляя ему окровавленную повязку на голове.

— Пить, Хлебушкин!

— Алешка, сбегай! Да живей поворачивайся.

— Ты не кричи на меня, Кузьма, Я

сейчас сам не свой, чего хочешь и не хочешь натворить могу.

Рублев ошустил лестницу с чердака, провалился вниз, в черный квадрат лаяйки. Вернулся не скоро, — с бутылкой воды и ворохом какой-то одежды.

— Что это? — спросил Хлебушкин.

— У хозяйки спросил барахла. Шкуру сменить надо, немцы кругом, пропадем так.

Лейтенант выпил воды и, тяжело дыша, прохрипел:

— Запрещаю снимать обмундирование. Как дезертира расстреляю, если... — не докончив, он судорожно, с кровью закашлялся.

— Не расстреляете! Я жить хочу, житы! Вот винтовка, вот обмундирование — берите, не товарищ я вам больше. Пойду куда глаза глядят.

— На немецкую милость сдаешься?

— Я тоже человек, не из камня сделан.

Рублев содрал с себя превратившееся в лохмотья красноармейское обмундирование, надел какую-то черную одежду, покинул чердак.

— Хлебушкин, чего ж ты молчишь? — задыхаясь, спросил лейтенант, нащупывая в темноте руку Кузьмы.

Черешня поднялся на локоть. При скупом свете звезд было видно, как из-под рубахи, которой была повязана голова лейтенанта, густо сочилась кровь.

— Слушай, Хлебушкин. Именем Союза Советских Социалистических Республик я выношу предателью Рублеву высшую меру... расстрел. Приговор приказываю... тебе. Немедленно! Догони!

— Расстрел? Товарищ лейтенант, товарищ...

Черешня откинул голову на солому.

— Так ты заодно с ним?

— Что вы, что вы, товарищ лейтенант!

— Жалеешь? Себя, семью свою, государство свое, родину помнишь? Предателя жалко!

— Иду, товарищ лейтенант! Дайте ваш револьвер.

Хлебушкин застал Рублева еще в хате. Онпил молоко и набивал карман хлебом.

— Бери и на мою долю, Алешка, вместе пойдем, — сказал Хлебушкин.

— Образумился-таки, слава богу. Переодевайся скоро.

— Я и так пойду.

— Куда ж вы, товарищи? — испугалась хозяйка, — а як же раненый командир? Хлебушкин осторожно обнял молодайку.

— Вернемся скоро, сестричка, вернемся. Ты пока присмотри за ним. Как зовут?

— Варя.

— Как?! — вскрикнул Хлебушкин.

— Варвара...

Хлебушкин молча залюбовался ею.

— Пошли, Алешка, — сказал он, тяжело вздохнув.

Молча добрались до леса. Из-за камышей взоршел ущербный, омытый весенними дождями месяц. Красноватый свет за сочился сквозь ветви осинника на вязкую глужую тропинку. На болотных лужах захохотала сова. Лес источал едкий запах шрели.

Где-то неподалеку журчал ручей.

— Довольно! — угрожающе сказал Хлебушкин, останавливая Рублева на травянистой поляне.

— Ты что, Кузя?

— Никакой я тебе не Кузя. Именем России мы с лейтенантом вынесли тебе высокую меру. Прощайся с жизнью.

— Не хлопай чего не надо. Вишь, какие шутки вздумал шутить!

Хлебушкин с черным пистолетом в руке стоял посредине тропинки, широко расставив ноги, исподлобья глядя на обреченного. По его лицу, по взгляду Рублев понял, что Кузьма не шутит.

— Правда, Кузя? — колени Рублева подломились, и он упал в ноги Хлебушкину. — Кузя, дружба, не губи! Матерью родной заклинаю: не поднимай руку на дружка своего.

— Не тронь мою мать! Она б тебя собственными руками задушила.

— Кузя, не губи! Опомляйся!.. Чужой гнев в твоём сердце, а не свой. Черешня это все. Ему Украину свою жалко. А наша с тобой земля далеко. Оленьи горы веки вечные никому не были подвластны. Не губи! И Варька твоя и дети твои нерожденными захлебнутся в моей крови...

— Уйди! — Хлебушкин ударил ногой ползающего Рублева и поднял руку с револьвером...

В лесу было тихо. Неподалеку журчал ручей. Кузьма шрипал к ручью, напился, окунул голову в холодную воду. «Эх, покурить бы сейчас!» — подумал он, жадно облизывая губы и с удивлением замечая, как ручей постепенно краснел, наливался светом. Поднял голову — откуда этот страшный кровавый свет? Он увидел, что небо подпирало бушующие, надломленные ветром, клинья чистого, почти бездымного огня, — из конца в конце порела деревня. Два или три часа тому назад там все было тихо. Проклятые немцы! Вездесущая смерть бродит по дорогам, деревням и городам.

Задыхаясь от быстрого бега и от страха за судьбу лейтенанта Черешни, Хлебушкин прижмался в деревню. Немецкие карательные танки, совершив свое привычное дело, уже грохотали вдалеке, уходя большаком. По улице, светлой как днем, с криком и плачем метались люди. Гудело и трещало на ветру пламя. В хлевах ревели, билась в запертые двери скотина.

Хата, где Хлебушкин оставил на чердаке своего командира, пылала от деревянного крыльчика до соломенной крыши. Посредине двора, в широко разлившейся молочной луже, лицом к земле, с подойником в руке лежала женщина. По белокурой голове и сергам в ушах Хлебушкин узнал козьяку. На ее спине, на распнутой васильками рубашке, темнело большое пятно крови. Хлебушкин упал перед Варварой на колени и, страшась заглянуть ей в лицо, прикоснулся к ее руке — рука была холодная, мертвая.

— Варя, Варенка!

По двору бушевала огненная метель. В окнах лопались стекла. Пламя, втягиваемое ветром, полилось внутрь каты. Хлебушкин бросился к двери, где извивались сотни огненных струй. Вдруг кто-то сильно и дружески схватил его за плечо, оттащил на середину двора.

— Жив твой лейтенант, товарищ Хлебушкин, я о нем побеспокоился.

— Кто ты такой? — с недоверием и отчужденностью вглядываясь в коренастого, чернобородого, лысого со лба до затылка незнакомца, спросил Хлебушкин.

— Свой, не бойся. Красноармеец Лобанюк. Тарас Лобанюк. Меня тоже спрятали хозяйка на чердаке. Слышал я, брат, весь ваш разговор. Слово в слово. Что ж, если не брезгуешь, принимай в дружки. С одним распрощался, с другим поздравствуйся. Правда, я не уралец, но не подведу.

Хлебушкин неожиданно для себя умоляюще спросил:

— Куревому ты не богат, товарищ?

— Наскребу на цыгарку.

— Скреби, дружба, поскорей, умираю.

### III.

Женщины возвращались с проводов мобилизованных колхозников. Дорога была неблизкая. Председатель колхоза Варвара Хлебушкина предложила своим товаркам остановиться на ночлег у озера, на плоскогорье. Женщины распрягли лошадей, развели костер и скоро заснули. Под утро Варвара сбросила с себя душившую ее во сне попоную, пропахшую дымом костра и тяжелую от ночной росы, и со страхом схватилась за грудь. Заветное письмо лежало на месте. Вздохнула с облегчением: «И привидится такая несуразность».

Тягучая северная заря пробилась в темном небе над горами родниковую щель и тихой, кроваво-лимонной струей полилась на землю. Варвара достала письмо. Свет зари падал на протертой в стгах листок, исписанный нетвердой рукой.

«Дорогая моя Варенка!

Пишу из госпиталя. Только на свет божий от беспамятыства очнулся, только глаза открыл — тебя стал искать. Только язы-

ком пошевелил — про тебя мои слова пойдилась. Сквозь немца проклятого пробились, сквозь страшный голод и слезы прошел, три шкуры с меня слезло, а до своих все-таки дошел... Уж таковский твой Кузьма, все заживет на нем. Скоро опять возьму в руки винтовку, опять с твоим благословением в бой пойду. До свиданья, Варенька.

Твой муж Кузьма Иваныч Хлебушкин».

Варвара уже не раз читала письмо, и снова охмелела от радости за мужа и за себя. Не было у него раньше, до войны, таких слов. Война и разлука размягчили его твердое скупое сердце. И утешать научился Кузя бабью тоску. Бережно свернула листок, закапанный давешними слезами, спрятала письмо на груди.

— Эй, девоньки. — весело вскрикнула она, — вставать пора!

Олимпиада и Павла, спавшие около догоравшего костра, зашевелились. Павла — смуглолицая девка, с крутыми черными сросшимися бровями — неторопливо, спокойно поднялась, и сейчас же руки ее потянулись к голове, пробуя, хорошо ли уложены черные, круто заплетенные косы. На лице ее не осталось никаких следов сна. Чистый румянец проступал сквозь природную смуглоту. Большие черные глаза были полны света. Привычным рывком сбросила она к своим ногам легкую летнюю одежду и, выступив из нее, как из кольца, побежала по жесткому, никогда не кошенному лугу. к озеру.

Варвара проводила Павлу завистливой улыбкой. Тутто повязав белым ситцевым платком свои шелковистые, цвета переспелой ржи волосы, она торопливо начала раздеваться.

— Страшный сон мне привидился: курица на моей груди письмо Кузьмы клевала. Такой несурезный!

Олимпиада засмеялась.

— Думаешь про невеселое, вот тебе и снятся такие сны. Слушайте, я свой сон расскажу. Иду я полем. Одна-одинешенька. Солнце. Тепло. Жаворонки над головой звенят. Тишина: лист не шевельнется. И, откуда ни возмись, ветер на меня налетел, сбил с ног, прижал на горячей земле и не выпускает. И так мне хорошо.

— Ну тебя, ветреница, ты наговоришь, только слушай. — Варвара, смеясь, вырвалась из рук Олимпиады, побежала в озеро.

Улыбаясь, мурлыча песню, Олимпиада потихоньку разделалась и, пугливо остерегаясь колючек и бурьяна, бережно пошла по дымчато-зеленому лугу.

В долине еще лежали синие остатки предрассветных сумерек, леса на склонах гор еще темнели, над озером текла

белоснежная туманная река, еще горели ночные костры пастухов, а здесь, на обрызганном росой плоскогорье, изумрудно переливались вымытые ночным дождем еловые и пихтовые дебри, тысячеголосые пела птицы, отроги Оленьих гор сверкали, словно окованные золотом. Солнечный свет проник до самого дна озера и разлился по склонам, обросшим вековой бархатной толщей мха, по прибрежным песчаным россыпям, по кустам орешника, по папоротниковым зарослям.

Варвара, выкупавшись, лежала на примятой луговой траве. Ясные ее глаза были наполнены голубизной, будто вобрали в себя всю синь северного неба. Прибрежные пихты протянули до самой середины озера свои шатровые тени. Задыхалась росистая трава. Около телег с поднятыми оглоблями дотлевали костры. Стреноженные кони, позванивая путами, скрываясь почти по самое брюхо в траве, заржали, откликаясь на далекий тоскливый призыв в горах. Где-то в тайге, на каменных порогах гудел водопад, вырвавшийся из Лебединого озера.

Олимпиада, — береженная солнцем, нетронутая нигде загаром от шеи до пят, белокурая, с мелко вьющимися волосами, — невесомо раскинулась на прозрачных водах озера лицом к небу и, заглушая голоса птиц, тоненько, с переливчатой дрожью, запела:

Ах, что это за садочек,

За зелененький такой?

Ах, что это за мальчишка,

Разбессовестный такой.

Потихоньку шевеля руками и ногами, она бесшумно плыла на озерное раздолье, на холодные родниковые струи. Там, где она проплывала, оставался перекипающий след — будто белоснежные цветы поднимались со дна озера.

Никто Олимпиаду не слушал. Пела она для себя.

Павла вышла на берег. Крупные чистые слезинки озерной воды сейчас же скатились с круглых, по-мужски раздольных плеч девушки и побежали по рукам с каменно-затвердевшими мускулами, до груди, по ногам, упали в траву. Лицо Павлы было не по-девичьи сурово, непреклонно гордо, смугло. Черные волосы уложены вокруг головы в тройное кольцо. Руки ее до локтей были особенно смуглы, почти черны, а на лбу, на подбородке и на скулах лежал неувядаемый багрово-красный румянец, какой бывает у кузнецов и ставларов.

— Ну и хороша же ты! — любясь, сказала Варвара, перекусывая зеленую травинку.

Павла даже не улыбнулась в ответ на похвалу. Видно она сама, больше чем кто другой, знала себе цену. Молча оделась, легла около подруги, Варвара ласково тронула плечо Павлы.

— Жалко только, что дружка у тебя нет. — сказала она с лукавой усмешкой.

— Перестань!

— Правду говорю: сожнешь ты, Павла, на корню! Сознайся, ведь завидуешь мне, а?

— Чего говоришь! Какая зависть солдатке!

— Я хоть и солдатка, а тужить есть о ком, любить от чистого сердца есть кого, а ты...

Губы Павлы коротко, будто невзначай раздвинулись для усмешки.

— И мне не заказано и любить и тужить. Ты обо мне не беспокойся! — зло, с обидчивой дрожью в голосе отрезала девушка.

— Посмеялась я над тобой, глушенькая. Эх, Павла, была б я мужиком, я бы ножки твои целовала!

— Не много б с того пользы было, — отходчиво улыбнулась Павла.

Солнце поднималось все выше над горным хребтом, над увалами лесов. Зазвенели комариные тучи, роса высохла на дутках плоскогорья, и травы помолодели, зазеленели, шелковисто заволновались на ветру.

— Одевайся, Липа, пора ехать! — закричала с берега Варвара.

— Иду-у-у-!.. — откликнулась Олимпиада тем же голосом, каким пела. Она легко пробежала по лугу, быстро оделась и села на траву рядом с Варварой и Павлой.

— Гляньте, гляньте, девоньки, — сказала вдруг она, — кто это идет! Может привидилось мне? Мужик какой-то!

По кромке обрывистого озерного берега, поднимаясь над тайгой, шел военный.

— Верно, идет, — произнесла Олимпиада. — Постой, так то ж, кажется, тот самый кавалерист, какой у нас коней в лагерь по наряду брал, — Черешня, Антон Черешня, однокашник Кузьмы Хлебущкина, Павла, Варвара, да разве не узнаете?

Павла растерянно молчала.

— Антон Владимирович, новостей от Хлебущкина не везешь? — закричала навстречу подходившему Варвара.

— Все, все расскажу! — улыбнулся Антон, подходя к потухающему костру.

Это был широкогрудый, широкоплечий, с двумя орденами Красного Знамени и лейтенантскими значками различия человек, густо, со лба до шеи покрытый ореховым многолетним загаром. Вокруг быстрых, блестящих глаз лучились мельчайшие морщинки — след никогда не

сходящей с лица улыбки. Нос у него был крупный, хрящеватый. Сквозь жесткие, коротко остриженные, посолонные преждевременной сединой волосы виднелась продолговатая, недавно зарубцевавшаяся рана.

— Здоровеньки булы! — произнес Антон, обращаясь не ко всем женщинам, а к одной Павле. Голос удивительно соответствовал его богатырскому росту: басовитый, сочный, властный.

— Здорово живешь! — откликнулись Варвара и Олимпиада, охотно поддаваясь веселому настроению Черешни.

— А ты чего молчишь? — спросил он, упорно не спуская глаз с Павлы. — Или не рада? А я ведь на чистоту скажу, только ради тебя здесь опять объявился. Без тебя я теперь не уйду.

— Ты что ж и на меня наряд взял из военкомата, как тот раз на лошадей? — спросила Павла, доставая из-под телеги комут, вожжи и седелку.

Женщины засмеялись, лукаво поглядывая на военного и ожидая что он скажет в ответ.

— Давай подсоблю запрягать.

— Уйди! — Павла, скрывая улыбку, замахнулась на Черешню дугой.

— Бей, миленькая, бей, все до поры до времени стерплю. А когда-нибудь и моя очередь подойдет.

— Не дай бог! — шутливо буркнула Павла, заводя гнедого стриженного мерина в оглобли.

Варвара и Олимпиада, запрягая своих лошадей в телеги, любовно поглядывали то на чрезмерно веселого Антона Черешню, то на негрислущую Павлу. Хоть лейтенант и подшучивал над своими чувствами к Павле, обе они хорошо его понимали и с радостью давали и ему и Павле свои благословения.

Антон забрался на телегу Павлы. Привольно раскинулся, крикнул:

— Вот я и дома, поехали!

Павла бросила Антону вожжи, а сама пошла по дороге.

— Поедем со мной, кавалерист, раз Павле ты не нужен, — приманчиво улыбаясь, пропела Олимпиада.

Телега Олимпиады выложена примятой душистой травой: не уколет, не обожжет росой.

— Устраивайся, кавалерист! — любовно охорашивая ложе, сказала Олимпиада.

Телеги загромыхали по каменной щербатой дороге. Дорога сразу же от берега озера круто полезла вверх — в леса, скалы. Стайка комаров закружилась над телегой. Антон растянулся на траве, безмятежно насвистывая и весело оглядываясь по сторонам. Павла ехала впереди с Варварой.

— У, проклятые! — Олимпиада взмахнула платком, разгоняя комаров. — Чью

кровь пить собрались! Меня кусайте, а дорогого нашего Антонушку — не смейте.

Беспабашное, лукавое озорство плескалось в глазах Олимпиады. Золотистые мелкие кудри покрывали белый лоб, свисали вдоль румяных щек. Видно, привыкла она весело жить на земле и щедро раздавать свое веселье людям.

Антон, продолжая насвистывать, промолчал в ответ на слова Олимпиады и даже как будто не слышал их.

— Смотри, лейтенант, какие у нас маинные, духовитые, чистокаючные да белохлебные места — живо силу для свадьбы нагуляешь!

Антон молчал.

— Испить хочешь? Ключевая вода вон под тем белым камнем бьет. Может прогомолдался? На, съешь шанажку.

Антон отрицательно покачал головой. Дорога запетляла между скал. Стриженный гнедой мерин пошел рывками, часто останавливаясь. Передняя телега скрылась за перевалом, обросшим черной гривой пихтовника.

— Антонушка, у вас на Украине нету таких гор? У вас степи?

Дорогу мелкой трусцой перебежала худая, вылинявшая лиса.

— Видал? Тут у нас и медведи, и лоси, и рыси водятся. А у вас звери есть?

— Есть, — сказал Антон сквозь зубы. Олимпиада засмеялась.

— Слушай-ко, да ты что? Онемел или как? Слышишь, я с тобой разговариваю.

Антон озабоченно посмотрел на Олимпиаду.

— Посочувствуй — у меня всего навсегда пятидневный отпуск.

— Плохи твои дела, Антон. Раньше не успел, и теперь за пять дней не успеешь. Своей гордостью Павла на все Оленьи горы прославилась. Какие к ней только женихи ни подъезжали — от всех нос воротит. Она ждет особенного.

— Ничего, все решим. Так я ее полюбил, так полюбил...

— Как? — усмеянулась Олимпиада.

— Жизнь мне не жизнь без нее. Одна она такая родилась на целом свете.

— А я!? — засмеялась Олимпиада. — Нету полюбил, какую надо, Антон. Эх, глупенький, меня бы полюбил. Приглядишься — чем я хуже Павлы!

Антон, усмехаясь, покачал головой.

— Не вижу, сестричка, ничего не вижу.

#### IV

Большая каменная дорога извивалась по взгорью. Сорока раскачивалась на телефонных проводах. Где-то грохотали, приближаясь, телеги, фыркали лошади.

На солнечный преобла дороги из зеленой тьмы леса выехала телега. Над воро-

ной лошадью, покрытой присохшей пеной, дымилась стайка комаров. Звонко пощелкивали по камням подковы. На телеге, разбросав руки и ноги, лицом к небу и солнцу, спала Варвара. Счастливым сон, а может быть просто молодость вывела на ее лице нежный девичий румянец. Пухлый рот был полураскрыт. Позади телеги Варвары шла смуглая, похожая на цыганку Павла Хлебущкина.

Синяя в черную клетку юбка Павлы шуршала, желтый фартук с черной кружевной каемкой туго перекавывал тонкий стан. Над бедром куском жара тлела бахрома шерстяного куцака. Свежий ветерок раздувал белоснежные рукава плотняной, без сборок и складок рубахи.

На второй телеге сидела, весело перегариваясь и пересмеиваясь с Антоном Черешней, хохотушка Олимпиада.

Телеги скрылись за холмом, утик грохот колес. Еще солнце не зайдет, как Варвара, Павла и Олимпиада будут дома.

Тайга постепенно редела, яснее и шире засинело небо. Густо белели березки среди угрюмого чернозеленого пихтовника. Прижимались к дороге большие и маленькие синие озера. Берега их были обсыпаны валунами, дно месчаное, чистое. Такие же синие-пресиние, как озера, потянулись вдоль дороги заросли блошницы — душистой чайной травы, с тысячами мелких цветочков-букашек. Небо над блошницей утратило свой цвет, окрасилось синью цветов.

Черная, с проседью, косматая туча выглянула поверх зубчатых гор, перевалила через них и широко разлилась по небу. В горах глухо прогрохотал гром. Потемнели озера. Потух синий пламень чайной травы — блошницы. Почернели леса и дороги. Ливень обрушился на деревья и поляны. Чудодейный горный дождь!

Лука на плоскогорье дымилась от дождя. Гром грохотал, перекатываясь все дальше и дальше — вниз, в лесную долину, к большой реке. Гроза уходила. Омываемые ливнем лука зеленели еще ярче, попрежнему засинели озера и вспыхнули синий пламень чайной травы. Солнце, как ни в чем не бывало, ягло с самой середины неба. Будто и не умолкали никогда, щебетали птицы.

С ближних полей с песнями возвращались колхозницы, празднично убранные ради первых, дней жатвы: синие, красные, лиловые, вишневые, черные, желтые, сиреневые, золотистые, розовые сарафаны и кофты. У всех женщин в одной руке грабли, в другой лагушок из-под браги. Вот и первые ограды — деревянные, потемневшие от старости просторные дворы, крытые под одно с избами, конюшнями и амбарами. Пора и расходиться. Но женщины жалко расставаться. Они остановились посреди улицы, на дороге и, обни-

мая (друг дружку, кончали длинную, начатую еще во ржах песню:

— Ой во чистом поле ночка пристигаает...

По тому, как были пропеты эти несколько слов, было понятно, что много хорошего, захватывающего душу уже высказано, однако, все самое лучшее, самое волнующее еще впереди.

По всей деревне поднимались светлые столбы дыма. Не тревожимые ветром, они поднимались выше гор, упирались в небо. Издали, из-за озер и лесов, доносились жужжание молотилки. Солнце заходило в скалах, своими очертаниями похожих на оленьи головы. Длинная многоверстная тень легла между долиной и горным хребтом.

## V.

Олимпиада въехала на большое подковообразное подворье, остановилась у резного крыльечка.

— Приехали! Ну, Антон, что ты теперь будешь делать?

— Не беспокойся, миленькая, не растеяюсь.

— Вишь какой! Нравись ты мне, право слово, нравишься. Петровна! — крикнула она вслед Варваре. — Куда мы определим нашего дорогого гостя?

— Ты у него спроси, куда он хочет.

Олимпиада, прихорашивая на себе кашемировую желтую кофту, заговорщицки подмигнула Антону.

— Гулять станешь или терпеть, все равно люди судить будут, так пушай хоть не зря судят. Эй, Антон, айда на мое подворье жить. Тыщу трудней в прошлом году заработала. Нужды ни в чем не будет.

Антон молчал, улыбаясь глазами, усиленно дымя самокруткой, поглядывая на Павлу, распрягавшую лошадь.

— Почему молчишь? — не унималась Олимпиада. — Невесты боишься? Слушай, Павла, отпустишь? Или сама забереешь?

Павла повесила сручу на маленький колышек, вбитый в стену конюшни, перетянула чересседельником оглобли, подняла их на дыбы, спокойно посмотрела на Олимпиаду. То ли боясь потерять свое счастье, то ли переславив гордость, или может наперекор людской молве, она неожиданно сказала:

— И то, возьму. Места у нас вдоволь, а ласки у соседей занимать не станем. Пойдем, Антон!

Антон достал из-под сена тощую свою котомку, пошел за Павлой.

На главном колхозном дворе постепенно становилосьлюдно: вернулись заснеженные чешуей рыбаки, пропавшие молоком доярки, до черноты загорелые косари, фуражиры, свинарки. Среди мужчин заметно выделялся краксистый старик с вересовой палкой. Голова его была почти вся голая — гладкая, ясная, отражавшая пред-

вечернее солнце. Только на затылке и за ушами курчавились чистые и светлые, скорее детские, чем старческие волосы. Спокойно прижимурив глаза под лохматыми, курчавыми бровями, он сидел на ступеньке крыльечка, положив подбородок, густо обросший пшеничной бородой, на ясную вересовую клюку и молча сосал розовыми губами холодную вересовую трубку.

Варвара Хлебущкина, распрягая лошадь, беспокойно поглядывала на старика.

— Проводили? — грустно спросила веснучатая молодухка с белым подойником.

— А то как же, известно, проводили, — ответила Варвара, собирая вожжи. — А ты думала, воротится твой муженек?

— Думала, Варя, думала! Все не верю, все никак не обвыкнусь с долей солдатки.

— Ничего, обвыкнешься. Замужем одно лето прожила, а девкой двадцать девичьи года свое возьмут.

— Тебе все смешки, Варя.

— Ну, как вы тут живете? — спросила Варвара, обводя взглядом всех женщин и останавливаясь на старике с ясной лысиной. — Все благополучно, Яков Степанович?

Старик молчал, сохраняя спокойную осанку: подбородок на вересовой клюке, прижмуренные глаза, холодная трубка в губах. Варвара терпеливо ждала, пока он заговорит. Его долгое молчание не сулило ничего хорошего. Он нехотя убрал подбородок с клюки, утомленно раскрыл глаза — серые-серые.

— Есть новости! — неторопливо заговорил он своим глуховатым, старческим баском. — Право слово. Подарочек я тебе, Петровна, по радио получил.

— Подарок? Чей?

— Твоя дружба, Сергей Алексеевич, переслал.

— Сергей Алексеевич? Давай живее.

Старик подал Варваре вчетверо сложенный лист бумаги. Это была обычная тетрадная страница, исписанная старческой рукой Якова Степановича — радиogramма из района; в ней содержалось постановление бюро обкома партии, датированное вчерашним числом и сегодня переданное по радио. Уже одно заглавие постановления встревожило Варвару: «О незаконном авансировании колхозников». В постановлении приводилось несколько фактов. Председатели колхозов «Заря», «Красный Пахарь» и «Ударник» выдавали хлебные авансы под трудовни, которые только будут заработаны колхозниками в будущем, продавали молоко, шерсть, мясо, яйца по рыночным ценам, не выполнив предусмотренных законом обязательств перед государством. Обком требовал немедленно прекратить антигосударственную практику.

Варвара бережно свернула бумагу, протянула Якову Степановичу. Старик недобольно пососал вересовую трубку.

— Прочитай, Петровна, еще разок. По-крепче почитай, да подумай ладом. Тебе как председательнице колхоза это важно. Вечером потолкуем. И да, всё честь по чести. Да еще беда тебе нажили.

— Ну, какую беду нажили, сказывай, Яков Степанович? — тихо попросила Варвара, засунув радиogramму в рукав сафрана.

— Гари от грозы полегли. Комбайнеры убирать отказались, ломаются комбайны.

— Гари? — вскрикнула Варвара.

Старик закрыл глаза, молча кивнул головой.

— Феклуша! — обратилась Варвара к босягоной девчонке, державшей в поводу оседланную лошадь. — Давай Ласточку.

Варвара прямо с крыльечка вскочила на тонконогую, глянцевику, будто обтянутую черным шелком зеленоглазую кобылу.

## VI

Павла пропустила Антона вперед, осторожно подтолкнула его в темный, наглухо закрытый двор.

— Павлуша, давай поговорим.

Она неторопливо, но настойчиво высвободила свою руку из руки Антона.

Хлопнула дверь в избе, заскрипело крыльечко и глухой, с одышкой голос встревоженно спросил:

— Кто там? Ты, Павла?

— Я, мама! — девушка взяла за руку Антона, повела его за собой.

По крутым, скрипучим ступенькам поднялись в прохладную избу, полную терпкого духа каких-то засушенных трав.

— С кем ты, Павла? Никак, солдат? — испуганно вскрикнула Мария Хлебущкина.

— Постояльца тебе привела, приюти, — сказала Павла и торопливо, так, что Антон не успел ее задержать, скрылась в темноту, ни слова не сказав, где и как нашла постояльца. Должно быть она была уверена, что мать подумает о ней так, как только и следует думать о Павле.

— Постоялец? — с огорчением протянула Мария. — А я думала, кто-нибудь из сынов моих вернулся.

Антон нашел в углу лампу, зажгет ее.

— Здоровеньки булы, мамаша. Не постоялец я теперь, а жених вашей дочери, так что прошу любить и жаловать.

— Жених ты там или кто, это мы еще посмотрим, а я с тобой пока как с человеком разговаривать буду.

Марья взяла лампу, осветила ею не в лицо Антону, а на ноги.

— Слушай-ка, ты знал куда идешь — в избу! К людям! Почему ноги не вытер? Пойдем!

Вытолкала в сени, к липовому плетенному коврику.

— Оботри, да в другой раз, батюшко мой, в нашу избу должен входить чистым. Ну, здорово живешь!

Высокая, дородная, седая, шуря карие, бойкие глаза, переваливаясь с бока на бок, Марья легонько толкнула кулаком Антона.

— Садись, чернобровый, кормить тебя стану.

— Спасибо, мамаша, не хочу.

— Не хочешь? Чудной человек. Да ты что, хворый, что ли? Апетиту может нет? Кашель? Рассказывай, меня всякие болезни боятся. Я со всеми лешаками знакомство веду. Все цветочные да травяные тайны передо мною раскрыты. Ежели кашель тебя мучит, то маком и богородской травкой цапую. Слабо пища в животе квасится, можжевелевой ягоды дам. Ну, сказывай, чем тебя полечить?

— Где Павла, мамаша?

— Твоя это забота невесту из рук не выпускать, а не моя. Сыновой моих, Степку аль Сергуньку, никто не видал из твоих товарищей? От Кузьмы новых новостей нет?

— Нет, мамаша.

— Скоро на фронт собираешься?

— Скоро.

— Ну так там должен встретить Степку или Сергуньку. Волосом они у меня белым-белым, как и Кузьма. Ростом с тебя, а то и повыше. Ежели по красоте не отметишь, так по отваге должно вековечно запомнишь. Где больше немцев в землю мурлом падает, так и знай — там мои сыночки гнев свой изливают. Угадаешь, чернобровый?

— Угадаю, мамаша, угадаю. — улыбнулся Антон.

— Во-от. Сыны мои приметные, не зря нашлодила на свет божий. Каяться ни в койий век не стану, а только радоваться. И то радуюсь, батюшко, и все никак не нарадуюсь. Ты, чернобровый, радуешь свою матушку аль печалишь?

Антон нахмурился и после долгого молчания сказал:

— Нету у меня матери: убили немцы. И отца. И сестер. И братьев. Никого нету. Павла теперь для меня и мать, и сестра, и отец, и брат, и жена.

Марья села рядом с Антоном на широкую, выскобленную до медовой желтизны липовую лавку, положила руку на его стриженую колючую голову.

— Так бы ты сразу и сказал, а б с тобой не зубоскальничала. Сирота ты, как же ты родную свою мать потерял? Успокой ты мою душу, расскажи мне все.

Антон угрюмо потушился.

— Мамаша, я тебе на все эти вопросы потом отвечу. А сейчас начистоту ска-

жу, — мне с Павлой с глазу на глаз поговорить надо.

— Теще ты уже понравился, одну заботу сними с себя. С Павлой ты об чем хочешь поговорить?

— Да все об этом же...

— Так разве вы еще не договорились?

Антон покраснел до бровей. Теперь было видно, что вся его шумная храбрость была деланной.

— То-то и оно, мамаша, что еще не договорились!

Марья хлопнула себя обеими руками по бедрам, засмеялась до слез.

— Вот тебе и жених! Да разве так у добрых людей женятся? Любовью ты ее хочешь взять в жены или как? Может она и смотреть на тебя не хочет?

— Нет. Насчет этого я сердцем все уж разведаль. Когда в прошлый раз жид у вас в деревне, мы хорошо друг друга узнали.

— Слыхала я уж бабские сплетни про вас с Павлой. Ты что ж, на фронт больше не собираешься?

— Как не собираюсь! Вот только кончим обучение молодых, сразу и тронемся.

— Так зачем же ты жениться вздумал? Какая дура за тебя пойдет, скажи? Пять дней поживешь женатым, а потом опять бедствуи в одиночестве.

— Глухая, мамаша, не пойдет, а умная пойдет.

— А кто же тебя угадает, уцелеешь ты или не уцелеешь? А если и уцелеешь, кто тебя знает, вернешься ты до старой законной любви?

Светлые глаза Антона потемнели.

— Не тебе бы, мамаша, говорить такие слова!

Марья легонько толкнула Антона в грудь.

— Не суди меня, старую. И про смерть, и про рождение, и про свадьбу, и про покороны я одними словами говорю. Всякое я видала. Идем в горницу, постель для тебя излажу. Или к Павле пойдешь? В кузне наверняка она, кузничит. Упреждаю, чернобровый, хлебнешь ты горя с такой женой: ой, своенравная она у меня, ее приведи бог.

Антон надел фуражку и выскочил на улицу.

## VII

Вечером вернулись пастухи, подтвердили нехорошую вест: гроза, ливень и град вволю погуляли над Гарями, над всем породистым клином драгоценной пшеницы. Варвара поехала на Гари. Уже давно там нет никаких следов лесного пожара: выкорчеваны обугленные пни, распахана земля, засеяна, не раз давала урожай, а до сих пор — Гари. Так и будет сзываться из поколения в поколение — Гари. Варвара из тысячи гектар колхозной земли особенно любила

это кусок, лежащий на берегу продолговатого озера. На той, северной стороне озера — дремучий лес, непроходимые малинники, липовые рощи, никем и никогда не кошенные травы, звериные тропы, бурелом, сугробы валежника, осенняя прохлада. А тут, на южной стороне озера — драгоценная, зерно в зерно, тяжелая, мучнистая, клейкая пшеница. Простор — ни кустика, ни овражка, ни каменистой лысины на всем поле. Раздолье тракторам, жаткам, комбайнам. Сколько светит солнце, все Гари обогревает. Сколько ни падает дождей, вся влага остается. От злого, с Ледовитого океана ветра Гари защищает тайга, от суховея — Олений хребет.

На краю поля Варвара соскочила с Ласточки, пошла по узкой дороге, между смятых грозой хлебов. Пшеница, два дня тому назад высокая, в рост человека, стройная, теперь согнулась, перепуталась, полегла. Такой хлеб долго не простоит — прорастет, вытечет. И тогда погибнет урожай, невиданный еще в этих краях. То, что будет потеряно на Гарях, ничем уже не наверстаешь — колхозу лишится половины своей силы, вполнину получит колхозник хлеба. Что-то скажут о Варваре колхозники? Как на нее посмотрят Сергей Алексеевич, ее многолетний друг? Плотно прилегающие друг к другу пшеничные стебли, толстые и влажные, росли густо, как камыш, переплелись, поникли к земле, поломались. Никакому комбайну здесь не пройти. Жатка и подавно не возьмет. Придется выкашивать этокое большущее поле руками — литовками, горбушами, а то и серпами. С тех пор как Гари были разделаны (еще на втором году коллективизации), не знали они ни кос, ни серпов. А теперь видно придется. Сгилько рук, литовок, горбушей да серпов понадобится, чтоб заменить два комбайна? Сто? Двести? Литовки еще найдутся, а где возьмешь столько сильных мужских рук, способных косить неустанно, как машина, с утра до вечера и опять с утра до вечера, без передышки, от воскресенья до воскресенья? В неделю, пожалуй, не уберешь такую машину.

Варвара вышла из хлебов, вскочила на Ласточку. После недолгого пробега выехала на голое ржаное жнивье, очищенное от суслонов. На дальнем конце, вырившаяся острой рыбьей хребтиной по небу, виднелся длинный, сажень в сорок, скирд. Оттуда, приглушенные расстоянием, доносились голоса. Молотилки не было слышно, хотя Варвара приказала работать бригадирю днем и ночью.

Полевой стан был разбит по ту сторону скирды, откуда больше всего дул ледун — прохладный, освежающий ветер. Вокруг молотилки горели фонари «Легучая мышь». Бабы и мужики сидели на снопах,



— Здорово вечеруете!  
от Здравствуйешь, Петровна, — весело откликнулись бабы. — Не наша вина: авария.

— Ну, Петровна, проводила? — спросила светлоглазая молодушка с красным, обожженным горными ветрами лицом.

— Проводили.

— Мой ничего тебе на прощанье не передавал?

— Ничего.

— Так-таки ничего? — светлые глаза молодушки потемнели от близких слез.

— Постой, передавал: пущай ждет меня. Ни днем ни ночью, ни поутру не забывает.

— А мой чего наказал? — спросила другая подавальщица в черном старушечьем платке.

— И твой руку к сердцу вот этак приложил, взмолился: пускай она меня не забывает, а я-то ее на фронте вовек не забуду.

Белозубая подавальщица взмахнула рукой, обсыпала Варвару пшеничными зернами.

— Ух ты, клопуша! Ни горя тебе, ни печали.

Варвара остановилась около молотилки. Низкорослая, стриженная девушка, подставив под ноги ящик, натягивала на шкивок заново сшитый, желтый ремень. Ей помогала пожилая женщина, одетая в темное, повязанная темным платком, суровая лицом, похожая на монашку — Василиса Сапожникова, бригадир первой полеводческой бригады. Стриженная надела ремень на шкивок, схватила ящик, побежала вокруг молотилки, пробуя ключом гайки. Там, где рука не доставала какого-нибудь механизма, девушка подпрыгивала или подставляла под ноги ящик. Варвара смотрела и улыбалась. Подавальщицы снопов, поглядывая на Варвару, то на прыгающую шуструю девушку, тоже улыбались. Они будто впервые увидели, как была смешна маленькая толстушка Нюра возле большой молотилки.

— Нюра, молотилку-то на заводе не по тебе сделали!

Подавальщицы дружно засмеялись, Василиса не засмеялась. Тревожно, украдкой косилась на председательницу, ждала от нее чего-то, явно неприятного для себя.

Нюрка, перебирая в руках ключики, позванивая ими, подошла к бригадиру.

— Василиса Александровна, машина готова, все в порядке!

— По местам!

Трактористка завела трактор. Нюрка встала около элеватора. Подавальщицы взялись за вилы. Василиса покосилась на председательницу — оценила ли она, как слушаются ее колхозницы, как все налажено у нее в бригаде? Молотилка загуде-

ла, зажуужжала, густо дымя пылью. Засуетились подавальщицы со снопами. Скупо блестя в робком свете «летучих мышей» начищенные соломой зубья вил. Потекло зерно в растянутые горловины мешков. Весовщик, сутулый, в разношенных валенках старик, пихтовым венком обмел платформу весов, сбросил баланс. Широкоплечный мужик с седой бородой, с шучком завязок в зубах, встряхнул доверху наполненный мешок, в гармошку собрал горловину. И только после этого Василиса подошла к Варваре, протянула руку. Тревоги на ее лице уже не было. Кто теперь посмеет вмешаться в ее работу? Кто не похвалит?

— Здорово живешь, Петровна!

— Здравствуйешь. Как дела?

Василиса весело оглянулась — на молотилку, на дружно снующих от скирда к молотилке подавальщиц, на тракториста, на стриженую Нюрку, на подростков, волокушами тянувших соломку к новому скирду.

— Сама видишь!

— Когда закончите молотить? В четверг?

— Так-то наметили в четверг, а мы делаем в среду, а то и во вторник.

— Долго.

— Что? — поразилась Василиса.

— Долго, сказываю — хлеба на Горях оссыпятся.

Василиса поджала губы. В три дня обмолотить такую громадину! Поставь сюда другую бригаду, так ей на две недели хватит. Василиса хотела все это выговорить председателю, но сдержалась. Скупо и гордо сказала:

— Как умеем, так и молотим.

— Завтра надо всю твою бригаду наряжать на Гари. Будем косить пшеницу ливотками да горбушами.

— А моя рожь?

— Рожь маленько может поноровать... — усмехнулась Варвара.

— Поноровать, так поноровать... — хмуро сказала Василиса.

Подавальщицы таскали от скирда к машине снопы, часто поглядывая на бригадиршу, как бы спрашивая — так ли мы работаем, как надо?

Варвара обошла машину, набрала в горсть отхолов, размела их, тихонько сдула шелуху — не останется ли чего на ладони? Нет, ни одного зернышка не осталось. Василиса, помогая подавальщицам, делала вид, что ей все равно, чем занимается председательница.

Варвара отвязала Ласточку, села верхом, попрощалась.

— Давай гляди, не припозднись, Василиса. Сдержанную, скупую на слова, Василису шорвало.

— Куда спешить? Где пропадала два

дня? Чего проездила, того уже не воротишь.

Ласточка перебирала ногами в белых чулках, пробоя землю то левым, то правым копытном. Подавальщицы перестали наваливать снопы, притихли, ожидая, что скажет Варвара. И по лицу ее было видно — скажет!

— Выйдешь, Василиса Александровна, замуж, тогда узнаешь, куда я ездила, чего я проездила. Замужние бабы, растолкуете девахе, чем муж жене родной?

Большой обиды нельзя было и придумать. Все ведь привыкли к тому, что Василиса, дожившая до сорока пяти лет девахой, никогда не выйдет замуж. Подавальщицы смеялись даже те, которые всегда уважали ее, Василису.

Когда утих смех, Варвара сурово спросила:

— Куда я ездила, знаешь? Чего говоришь, Василиса Александровна, опомнись! Мужиков на войну, ездила провожать. На войну, слышишь?

— Чего ты загорелась, ровно шихта? Пошутила ведь я.

— Не тем шутишь. Литовки и горбуши чтоб шаточены были у каждой. Со всяких подсобных работ баб снимай. Всем колхозом на Гари выйдем.

— Всем колхозом, — усомнилась Василиса, — разве его соберешь, весь колхоз-то. Вчера была я на деревне, так, ровно муравьи, и стар, и млад расползлись по лесам, про черный день запасаются...

— Черный день как раз и подстерегает таких, кто распозлается. Помогните это. Варвара ударила Ласточку хворостинной, скрылась в темном поле.

На перекрестке Ласточка потянула в деревню, домой. Варвара гневно огрела ее хворостинной, свернула на новую, сегодня еще неезженную дорогу, потом ласково потрепала лошадь по горячий шее.

— Куда спешишь? Какой подарок тебя дома ждет-то? Иди, не оглядывайся!

Дорога скоро уперлась, как и все дороги летом, в хлебное поле. Большая часть ржи была уже собрана в снопы и сложена в суслоны. Островерские их шалашики темнели всюду, куда проникал глаз. На дальнем конце поля тлея костер, брошенный, наверное, косарями. Косари, судя по этому огоньку, уехали домой недавно. Но как они могли бросить костер в поле, не заготовив его? Варвара соскочила на землю, засыпала тлеющие угли.

— Эй, Петровна, зачем огня лишаешь? — раздался вблизи женский голос.

— Кто тут? — спросила Варвара, вглядываясь в темноту.

— Я, Татьяна Ромашева.

«Тебя-то мне и надо, голубушка!» — с радостью подумала Варвара, подходя к колхознице.

— Ты одна что-ль?

— Что, не видишь? — неохотно, упрямо ответила Татьяна.

— А бригада?

Татьяна выпрямилась, не выпуская жгут из рук. Перекрутила его дважды по середине, один конец сунула подмышку, а другой еще дважды перекрутила, потом ловко поменяла концы, — тот, который был подмышкой, схватила в руки, а тот, что был в руках, прижала подмышкой. После этого опять поменяла концы и перекрутила еще несколько раз хрустящую солому.

— На ночь отпустила бригаду. Поспекот к утру во-время.

Прижимая готовый, круто навитый пояс подборождом к груди, Татьяна схватила охапку ржи, накинула на нее жгут, закрутила одним быстрым, ловким поворотом руки. Сноп отбросила от себя так торопливо, будто он жег ей руки. Схватив новый пучок соломы, заговорила скороговоркой:

— Ребят кормить надо? Надо. Корову доить надо? Квашонку надо ставить? Надо.

Варвара, любящая ловкими движениями Татьяны, сказала:

— У тебя восьмеро ребят, да и то осталась...

— У меня за ними посмотрят.

Она разогнулась, хозяйским взглядом окинула выкопненное, но недоделанное ржаное поле. Сгрела с костра землю, разрыла голыми руками побуревшие угли, раздобыла несколько черных сморщенных картофелин, протянула на ладнях Варваре, с тем гордым, но приветливым полудождоном, какого и требовал бычай гостеприимства.

— Пожалуй-ка, кушайте!

— Мужик твой... — кусая горячую, обжигающую картошку, начала было Варвара и закашлялась.

— Ну? — переступая с ноги на ногу, спросила Татьяна.

Руки ее, отставленные от тела и согнутые в локте, перебирали что-то, видимое только ей одной.

Варвара откашлялась.

— Да ты сядь, Татьяна.

Варвара подложила в потухающий костер немного соломы, а поверх соломы охапку валежника. Вспыхнуло желтое сильное пламя, осветило лицо Татьяны — молодое, без единой морщинки, с чистым высоким лбом, крупноглазое, горбоносое, с твердо сжатым ртом. Руки, которые она все еще не знала куда девать, резко отличались от лица — сухощавые, крепкие, в крупных сухожилиях, темные, хорошо поработавшие на своем веку и, пожалуй, уже состарившиеся. Только в руках и угадывалась старость Татьяны. Все тело же, как и лицо, было молодое, сильное,

твердое. Грудь четко проступала поверх проймы синенького, в снежинку, сарафана. Плечи широкие, крепкие. Шея гладкая, мускулистая. Волосы выбивались из-под платка тоненькими пушистыми колечками.

Варвара быстро obeжала глазами хорошо знакомую, привычную фигуру любимой своей бригадириши, радуясь, как и всегда, ее неувыдаемой молодости. «Одна я, как перст, одна, — думала Варвара, — изба новая, теплая, дров припасено. Полный амбар хлеба. Люди не худом, а добром встречаются. Кровь по жилам молодая переливается, а я еще на жизнь скорбю! Погляди на Татьяну. Восемьеро ребят родила, полвека прожила, а все еще на себя надеется, всю работу, какая ни есть в бригаде, за всех сработать хочет. И все-то ей мало, все не выработается никак. Невсегда ей горевать да выть. Вот как надо жить-то, голубушка».

— Ну, так что мужик мой сказывал, почему молчишь, Петровна? — перекусывая пополам картошку свежими, белыми зубами, спросила Татьяна.

— Передал, чтоб ты обязательно, слышишь-ко, обязательно слоумала на дрова старую баню, а не лезла по дрова в лес.

— В бане курятник, куда кур стану девать? — удивленно спросила Татьяна.

— С коровой разместятся, сказывал Афанасий Иванович.

— Ну? — спросила Татьяна, не говоря, согласна она выполнить наказ мужа или не согласна.

— Еще сказывал Афанасий Иванович, чтоб ты не пожадела зарезать кабана про ребят, Вернись, говорил, все наживем!

— Ну? — Татьяна посолила картошку и опять не показала, нравятся ей или не нравятся советы мужа.

— Еще сказывал, старый черемушный пиджак переверни Нюрке, он ей в самую пору будет, а новый, бобриковый, — сама износи. Вернись, говорил, новые шубы себе излажу.

— Ну? — упорно, все с тем же равнодушием вопрошала Татьяна.

— Не купилась, чтоб, сказывал, все, сколько ни заработаешь, на ребят да на себя потрeбляй.

Татьяна стpяхнула картофельные крошки с подола в огонь.

— Ты б ему передала, Варвара Петровна: твое дело, Афанасий Иванович, мол, воевать, а ее, Татьянино — хозяйствовать, ребят доглядать, муженька честно да достойно дожидаться. Не догадалась?

Варвара с любовью и гордостью смотрела на Татьяну. И обнять и поцеловать ее хотелось.

Вслух Варвара произнесла:

— И то, догадалась! Ты, говорю, Афанасий, нас, баб-то, в навоз не топчи, не по-

мышляй, будто мы побираться станем без мужиков.

Охотно поддаваясь искушению улыбки Варвары, улыбалась и Татьяна.

— Вестимо, ты скажешь! Слова тебе не надо искать.

Поднялась, нетерпеливо пошевеливая нагруженными руками. Перекрестилась, засыпала костер землей.

— Ну, Варвара Петровна, я пойду!

— Завтра с солнцем снаряжай свою бригаду на Гари.

— На Гари? — оживленно, весело переспросила Татьяна и сейчас же застыдилась своей вспышки, спокойно добавила: — Ну!..

Выйдя на перекресток, Варвара направилась Ласточку на большак, тудящий проводами, в деревню, домой.

— Здорово живешь, Варварушка! — раздался хриплый, богатырский голос.

Ласточка задрожала, всхрипнула. Черный, высокий человек стоял на темной дороге. Варвара узнала Ефимку Иванова. Наверное потому, что у него была такая распространенная фамилия, так нейдущая к нему, редкому, особенному, всегда запоминающемуся, его никто не называл Ивановым. Другое дело: Ефимка-смекач, Ефимка черный, Ефимка-углежог, Ефимка-кузнец, Ефимка-бабья радость. Такого знает всякий. Никто не произнесет его имени без радостной, веселой улыбки.

Варвара направилась Ласточку на богатырский голос кузнеца.

— Ты что, людей пугаешь?

— Пошутил! Веселее так — хозяйка!

Вблизи он был еще чернее — как головешка. И так же, как от головешки, от него сильно несло жененым деревом. Он схватил Ласточку за гриву и, попадая с ней шаг в шаг, пошел рядом. Варвара сидела высоко в седле, а все-таки широкое, лобастое, с огромным носом лицо Ефимки было совсем близко от нее, почти на уровне ее плеча.

— С каких краев вертаешься, Петровна? Молчи, знаю: с поля ногайского, с рубежа татарского, где столбы стоят точеные, головки золоченые — с Гарей. Угадал? Эх, Варя. Ласточка гусиная, свечка негасимая, позвольте вам понравиться, спозвольте вас полюбить!

— Не позволю, — сердито проговорила Варвара, сдерживая смех и душевно радуясь веселой встрече.

— У, злюка! Стоит девка кудрявая, ногти волчьи, кто подойдет, того и обнимет. Отгадай! Скажешь — шиповник? Твоя это немилость.

Варвара засмеялась. Ефимка сейчас же подхватил смех. Он смеялся хрипло, бастисто, но вовсе не по старчески, а так весело, легко, так искренне, как смеются де-

ти какому-нибудь пустяку, не в силах, если бы они этого и пожелали, остановить себя.

И тут же, забыв над чем смеялся, сказал:

— Варвара, в моих краях медведи пир спрашивают.

— А чего ты с ними не гуляешь?

— Разругался я с ними, окаянными. Как не разругаться! Сижу я это, слушай-ко, около своей кучи, угли жгу, в небо поглядываю, да покуриваю. А с моего места далеко видать: все Заозерье, как на ладони. Даве звездно было, не так, как ныне. Одним словом — рассыпался горох, никому его не собрать: ни попам, ни дьякам, ни богатым мужикам. Ну, сижу и что ж ты думаешь я вижу?

Ласточка пошла быстрее, подчиняясь широкому, возбужденному шагу Ефимки.

— А вижу я вот что: овсяная кладуха вершиной шевелится. Так шевелится, слушай-ко, вроде какое естество сидит в той кладухе. Я, сама понимаешь, не дуже испугался. Видал я всякие чудеса, видал! Шел я мимо попова двора, видел чудо такое: старцы перебиты, головы пробиты, бока пороты... Снопы, снопы, Варварушко. Овес. Да такой овес, что кинь его в грязь, будет князь.

Ефимка вдруг испугался, что Варвара помешает его рассказу.

— К делу, я говорю, к делу. Сижу, слушай-ко, покуриваю и помышляю себе: знать лешак хребтину о кладуху чешет. Вишь, думаю, некому зимогорушку в бане выпарить. Встаю от своей кучи, иду к кладухе. Здорово, гаркаю, Леший Иваныч, как живешь-поживаешь? Вижу, слушай-ко, из овсяной кладухи показывается... что показывается, отгадай? Стоят вилаи, на вилах бочка, на бочке махалицы, за махалицами лог, за логом звездичи, за звездичами мигалицы, за мигалицами поле, за полем густой бор, а в бору медом пахнет. Думаешь, человек? Нет, Варварушко, нет: медведь. Медведь, как есть медведь: пасть черная, зубы белые, на лапах ногти, морда бурая. Я, сама знаешь, не дуже пугливый... Били меня палками, закидывали камнями, держали меня в огненной пещере, резали меня ножами. За что меня так губили? За то, что любил. По пути, по пути, рассказываю. Здорово, гаркаю, Михайло-батушко! Во след ему, медведю, медведица вышла, тоже взвилась и ревет. Я и ей гаркаю: здорово, Настасьюшко-матушко! Во след родителям выскочили ребята. Я и им гаркаю: здорово, наследнички! Ну, видит семейство, что человек с добром пришел, рычать перестало, ухмыляется: «Айда, Ефимка, на наш пир». Чем, баю, угощаетесь? «Овсом, Ефимка, овсом. Да не простым, а «золотыми каплями». Слушай-ко, бают, сколь ни живем, такого овса не сосали. Спаси христос, бают, колхоз и кол-

хозников. Не они, так и не услаждаться бы нам «золотыми каплями». И лапами, лапами, окаянные, крест-накрест перед рылом машут. Я ухмыльнулся и молчу. Спрашивают: «Попшто молчишь, Ефимка?» Нехорошо, сказываю, вы делаете. Михайло-батушко и Настасья-матушко! Овес этот семенной, на ВЭСХА выгляденный нашей председательшей. Она, баю, за семена бешеные деньги плачивала. Она его, как дитя родное, выхаживала. До нее, баю, до нашей председательши, никто такой овес сеять на севере не отваживался. «А начхать, — сказываю, — нам на твою председательшу. Нам сладко». Свиныи, баю, вы, а не медведи. Пойду в деревню, все расскажу Варваре, она вас распатронит. Взмолились: «Ефимушка, дружочек, не сказывай, мы тебе и медку принесем, и баранинки запорем, и кражей для твоей угольной кучи натакаем. Ну а я им в ответ: коли так, смолчу. Утешил медведей, а сам к твоей милости.

И сейчас же, перестав ухмыляться серьезно спросил: — А на медведей когда пойдем? Съедят, право слово, высосут они овсяную кладуху.

Трудно было понять, где правду, где неправду говорил Ефимка. Чуть перегнувшись, Варвара обняла старика одной рукой, с неподдельной печалью в голосе сказала:

— Ефимушка, помоги ты моему горю, голубчик!

Он подумал, что с ним шутят. Кто из людей говорил с ним серьезно? Ефим живо согнал с лица то редкое, серьезное выражение, которое было на нем только тогда, когда он оставался один, и напустил повседневное, повсечастное, к какому привыкли люди — лукавое, шутовское. Размахивая руками, собираясь обнять, но не обнимая Варвару, он воскликнул:

— Какое твое горе?

— Хлеба на Гарях гроза в землю втоптала — ни комбайн не берет, ни жатка. Чего делать, посоветуй?

— Не знаешь чего делать? Маленький, сутуленький, все поля обжегал, к зиме домой прибежал, весь год отдыхал... По пути, по пути я говорю. Коси, как в мое время косили — литовками, горбушами, серпами.

— Так-то так, а где косарей возьмешь?

— А бабы? Они, бабы, все Гарь как языком вылижут. Право слово, вылижут. Ну, упреждаю, ежели я около них буду вертеться — словом да взглядом утешать... Бабы радость я — забыла, что-ль!

Из темноты вырезались скудные огни деревни.

— Вот мы и дома. Бывай здорова, белокрылая.

— Куда ты, Ефим? Зайди в мою ограду, свеженькой бражкой угощу.

— Недосуг, миленькая, пойду кузничить. Опять девки нож на жатке поломали, беда чистая с такими механиками.

## VIII

Ефим выхватил голой рукой из длинного деревянного корыта трехаршинный нож жатки, брезентовым фартуком оттер с него воду и шелуху окалины и бросил к ногам седоголового, голощекого человека в замазленной куртке.

— Бери уже. Да, гляди, не подавись.

Механик быстро нагнулся, поднял с земли нож, молча убежал.

— Вишь с какой радостью набросился. И спасибо не сказал. Только жаловаться горазд. Эх, люди!.. Он думает, слушай-ко Павла, я меньше его страдаю. Он думает, я силу свою хороню.

Ефимка умолк, заметив, что Павла его не слушает. Она равномерными сильными рывками раздувала горн. Желтое гудящее пламя искрами выбивалось из-под древесных углей. Крепкий запах жженных стружек с лошадиных копыт, попавших в горно, перебивал все другие запахи кузни. Павла долго смотрела на огонь.

Ефимка рукавицей осторожно смахнула с наковальни звонкую слезую искорлушу окалины.

— Чего ты нынче в грусть ударилась, девка?

Павла перевела взгляд на кузнеца. Смотрела на него с такой же откровенной тоской, как и на огонь. Рука, сжимавшая рычаг мека, машинально, без всякого усилия, поднималась и опускалась.

— Э, Павла, дело твое, знать-то, дже поганое! Аль случилось с братьями чего, а? Аль влюбились в кого?

Павла тяжело вздохнула, переменяла на рычаге руку. Глаза ее, по мере, того, как она смотрела на пламя горна, разгорались и лицо веселело.

— В огонь, вот влюбились. Какой он всегда щедрый на ласку. — Павла, не бросая рычага, потянулась к горну, подставляя огню то левую, то правую щеку. — На войну захотелось, дядя. День и ночь там огонь.

— Разлюбишь и огонь со временем. Ветреницы вы все.

— Нет, дядя Ефим, я не такая.

Ефим одобрительно кивнул.

— Вот такая и мать твоя. Всю жизнь одного... твоего отца любила. И мертвого любила. Чудак я, право чудак, сватался когда-то за этакую королеву. Ох, Павла, любил ее, как любил. — дай бог тебе такой любви.

Ефим развернул железной планкой верхний покров черных углей, посыпал песком брусок железа, выделявшийся среди белых углей своей краснотой, и тоже, подобно Павле, загляделся на огонь.

— И теперь, должно, любишь? — спросила Павла.

Хотя в кузнице никого не было, Ефимка оглянулся.

— Только никому не сказывай, Павла: одну ее всю жизнь любил. Она меня и знать-то не хотела, а я все-таки любил. За версту, бывало, ею люблюсь, и того мне довольно.

— А теперь?

Ефим еще посыпал брусок, заметно уже побелевший. Павла наступила ногой на щеку большого молота, перевернула его так, что черенъ поднялся с земли вверх. Кузнец положил у наковальни свой маленький молоток и взял большегубые клещи.

— А кто теперь вас не любит! — сердито проговорил он и, выхватив из огня белый брусок, бросил его на наковальню.

Павла сильно заработала молотом, ударя по тем местам раскаленного мягкого железа, куда прикасался своим молотком кузнец. Грабленный конец бруска округлялся, краснел.

— Меряй! — крикнул Ефим, плашмя опуская молоток на наковальню.

Павла бросилась в угол кузни, где лежали новые, ошिनované, и старые, еще не ошिनované, колеса, нашла самое маленькое колесо, всунула раскаленный конец оси в черную втулку.

— Хорош! — сказал кузнец, отмахиваясь от едкого дыма.

Павла сдернула колесо с наковальни. Ефимка бросил ось в корыто с водой, смахнул с наковальни окалину.

— Ну, отработались, будет с нас!

Тихо, прокладно и темно стало в кузне. Огонь тлел под черной корою углей. Оконища, как решето, засветилась звездами. Ефимка сел на прокопченную лавку, фыркающая в усы, выдувая из них пыль и крошки окалины. В темноте он стал маленьким, сгорбленным. Павла бросила в угол рукавицы, сняла с головы платок и, выбрав чистый краешек, протерла глаза, щеки, нос, губы.

— Куда засобирались, королезна? Посиди, повечеруем.

— Недосуг, дядюш: помогу мамке стряпать. Да и постоялец у нас объявился.

— Постоялец? Кто такой?

— Длинновязый этот, помнишь?.. Черешня...

— А! Так вот почему ты на войну заходила.

Под окном захрустела земля, посыпались шачи. Согнувшись в низких, закопченных дверях кузни, вошел Антон. Ефим шумно обрадовался неожиданному гостю.

— А, Черешня! Здорово живешь, товарищ лейтенант! Как лошади, не расквалились? Знаю, знаю, молчу. Подковы, пропе-

чатажные мной, не оторвутся до полного износу. Так ведь?

Подбросил в горно свежих углей, раздул погасшее было пламя.

— Какая нужда загнола? Сказывай.

— Не к тебе я, Ефимушка, — невесту домой провредить хочю.

Павла сердито взмахнула платком. Накрыла голову. Пламя отсвечивало на смуглом, влажном от пота лице девушки.

— Невеста и без тебя доропу домой найдет, — проговорила Павла.

— Видал? — с удовольствием засмеялся Ефим. — Голыми руками, брат, нашу королевну не возьмешь.

Улица была пустынна, темна. На взгорье лаяли собаки. Тоскливая, жалобная песня, высоко вознесенная одними женскими голосами, лилась с большака. На дальних озерах тревожно, по-осеннему, глухо трубили залетные лебеди. Антон догнал Павлу, взял ее за руку.

— Павлуша, миленькая, не губи даром время, у нас и так его мало.

Павла укоротила шаг, а дыхание ее стало чуть слышным, сдавленным.

— Помучить хочешь? — усмехнулся Антон. — Гордость свою кормишь? Корми, стерплю. По рукам и ногам ты меня скрутила. Первая ты у меня и последняя. И я у тебя первый и последний. Ведь знаю, Павлуша, любишь и ты меня, чуёт мое сердце — на всю жизнь полюбила.

Антон так сильно сжал руку Павлы, что пальцы ее хрустнули. Лицо девушки невольно скривилось от боли, но она промолчала.

— Моя ты, и ничья больше. Для меня родилась, а я — для тебя. Разве не правда? Посмотри.

Антон остановился, взял Павлу за обе руки. По краям неба ползли низкие дождевые тучи. Только дуга млечного пути лила свой зеленоватый свет на твердое лицо Павлы. Глаза ее были закрыты.

— Какая же это любовь? — усмехнулась Павла. — На всю деревню ославил. Шум, гам, нахлопал про женитьбу, а у меня не спросил, хочу я того или не хочу. Ты б еще с криком «ура» свататься приехал.

— Это ты верно, Павлуша, подметила. Характер у меня такой шумливый, извиняюсь, чистосердечный, не расчетливый. Уж такой есть. Чем богат иль беден, всякому сразу видно. Павлуша, несчастливимы себя по гроб жизни, если вместе жить станем, если поженимся.

— Женишься, и уедешь, какое ж тут счастье?..

Павла с мягкой, покоряющей настойчивостью высободила руки, положила на плечи Антону.

— Я выйду за тебя замуж только тогда, когда ты мне скажешь такие слова, какие мне хочется услышать.

— Какие, Павлуша?

— Догадайся сам.

— Павлуша!.. — Антон притянул к себе девушку, пытаясь обнять.

— Не трони! — сурово, с силой отстранилась Павла. — Я правду тебе говорю, Антон. Ежели любишь так, как говоришь, то догадаешься, чего я от тебя хочю.

— Да ты серьезно, Павлуша?

— Помни: скажешь то, что надо, буду твоей женой. Не скажешь — кусай локти. А до тех пор никаких слов от тебя слышать не хочю. Понятно? Договорились?

— Понятно, Павлуша, договорились!

Антон сам не ожидал, что так быстро усмирит непокорную гордость Павлы.

Антон возбужденно шел рядом с упорно молчавшей Павлой. Вошли в избу. В горнице было темно и, как всегда, пахло сухими травами. На печи послышалось кряхтенье, и Марья хриплым голосом сказала:

— Захворала я маленько. Одна стряпайся. Да гляди, в печи передняя дуга вывалилась, аккуратнее ухватками ковыряй. Вздуй огонь, зачем впотымах ползаешь?

Павла зажгла лампу и той же спичкой подпалила дрова в печи. Антон сел на лавку, не спуская глаз с Павлы.

Марья, кряхтя, повернулась на другой бок.

— Налей в корчалу теплой воды и соли поуще засыпь, как на рассол. Когда рассол маленько остудится, зальешь новую бочку с огурцами. Беда чистая, сама знаешь, как ребята любят соленые — хлебом не корми. Повернутся к зиме домой, вот лакомство будет!

Павла удивленно покосилась на мать.

— Немец на Кавказ лезет, а ты ждешь к зиме ребят.

— Ничего, ежели к зиме не поспеют, я и весной им обрадуюсь. Да и не я одна. Тебе доярки сегодня ничего не сказывали? — Нет.

— На ферме, говорят, коровы молоком поизъянились. Пока был наш Сергунька фермером, никакой лешак не жаловался. Он сам коровушкам и укрупное семя, а то и анису давал. И соль во-время не забывал припасти, и поил во-время. Пастбища выбирал не ближние, не пастуху удобные, а коровам любие, вот оно и молочко было. Ничего, отвоюется, повернется домой, так опять все по-старому изладит. А уж я ему трав разных с избытком припасла. Вот радешенек будет.

Павла взяла пустое ведро, вышла на двор. Антон, лукаво щурясь, подтрунивая над собой, тяжело вздохнул.

— Мамаша, великую мне заботу задала Павла. Если я догадаюсь сказать такие слова, какие ей хочется слышать от жениха, то она будет моей женой. Не догадаюсь — вовек мне ее не видеть. Как ты думаешь, что я ей должен сказать?

Марья подняла голову, положила ее на облокоченные руки, с тревожным сочувствием спросила:

— Ты-то ее понимаешь, аль нет, сынок? — Куражится девка напоследок, по привычке! Уж больно долго она выбирала себе парю.

## IX

Тропинкой, протоптанной среди горькой листвушки, подошла Варвара к своей, самой крайней от озера избе. Тихо в ограде. Тихо и под навесом, где ночами часто шуршал рубанок Кузьмы и колыхался на свежем ветерке огонек коптилки. Любил Кузьма после кузни что-нибудь строгать. Под шуршанье его рубанка много-много ночей Варвара засыпала, много-много зорь просыпала.

— Кузя, миленький Кузя, где-ка ты теперь, чего делаешь?

Подбежала собака, тихо, как бы с укором завизжала, упрекая, жалуясь. Подпрыгивая на задних лапах, она старалась лизнуть хозяйку в лицо. Варвара вагнулась, подставила щеку под горячий шершавый язык Шишки.

— Сиротинки мы с тобой, дружба, горькие сиротинки.

— Варька, ты это что-ль? — донесся через дорогу сердитый старушечий голос из открытого окна избы.

— Я, бабушка Улита, — не сразу ответила Варвара своим привычно веселым голосом.

— С кем говоришь-то?

— Одна я, бабушка, одна.

— Ну! — сказала Улита, полагая, что этим кратким, любимым северянами словом сказала все, что полагается говорить в подобных случаях: посочувствовала, подбодрила, обнадежила.

Варвара так и поняла Улиту.

— И то, не пропадем, не из лыка деланы! Ну, бабуся, как тут поживаешь, не гостила никакая беда?

— Спаси христос, все ладно — как покинула, так и есть: корову доила, Шишку кормила, курочкам сыпала.

— Спасибо, бабуся. Заходи утром, свеженькая бражка поспеет. А Яков Степанович дома аль нет?

Бабка Улита пропала в черном окне, и голос ее сердито прозвучал из глубины неосвещенной избы:

— Яшка, слышь, Яшка, где ты запропастился? Варька тебя спрашивает...

Варвару поразила бесцеремонность бабки Улиты. Да разве можно такого человека, как Яков Степанович, назвать просто так: «Яшка»? Если б кто услышал это на деревне — вот диво было бы.

Посвечивая в темноте лысиной и серебристой бородой, на крылечко избы вышел Яков Степанович. На нем была старинная, домотканного полотна рубаха,

перехваченная черным самоделковым пояском, домотканные узкие нижние портики, а на ногах толстые, мягкие коты.

— Ну, как вечеровала? — спросил ов глухим голосом, присаживаясь на крылечко.

Варвара села у ног старика, рассказала все, что видела, все, что слышала, все, что почувствовала на Гарях. Старик слушал рассеянно, беспрестанно оглядывался на избу, где копошилась в темноте жена, беспокойно кашляла, бормотал любимое: «Вишь ты!.. Н-да, честь по чести!» Как только Варвара умолкла, он поднялся, подошел к раскрытой двери, крикнул:

— Улита, принеси трубку! На печке она, пошарь ладом.

Слова не вымолвил он, пока Улита не принесла трубку. Схватив ее обеими руками, сунул в рот и, жадно, как ребенок соску, посасывая, спросил:

— Так, сказываешь, колхозники жалуются?

— Жалуются, Яков Степанович.

— Вечор, пока ты на Гарях была, начальник замотдела опять приезжал.

— Ну?

— По душам мы с ним разговорились. Все, чего полагается, я ему сказал. Известно, поспорили. Мы с тобой думаем, как бы и колхозников, и государство удовлетворить, а он только об отчете думает. Скажи на милость, почему он приказал нашему колхозу по двести литров молока на счет иванцовского «Зарева» сдавать? Проценты ему требуются. Подписать хочется: у нас, мол, товарищ область, в районе все сто процентов, у нас, мол, тишь да благодать. Сто процентов, верно, есть, только какие они, эти сто процентов! Все я ему сказал, как тебе вот. Известно, обиделся, стращать стал: «снимут с партргов». Что ж, только здесь не его власть.

— Я сейчас же позвоню в обком Сергей Алексеевич!

Яков Степанович сердито пососал свою светлую вересовую трубку.

— Я раньше твоего догадался позвонить Сергей Алексеевичу. И сказал все, чего надо сказать. Он пообещался ему маленько рога обломать. И обломает... Честь по чести.

В черном небе с тихим курлыканием пролетели журавли. Старик поднял светлую бороду к звездам.

— На теплынь потянуло птицу. Холода журавли почуяли. Спешить надо, Петровна, с хлебами! Попомнишь мое слово: зима нынче грянет ранняя и лютая. Все приметы к тому. Ты вот сказывала, что жалуются. Народ, он справедливость любит. Кому чего следует, тому того и давать. Лодырей не жалей. Не для жалости ныне времечко, Петровна, не для жалости! А ты, нечего греха таить, жалостливая

больно... У Кляшки беззубой новые, посе-ребренные зубы появились... Откуда они, а? На чьи деньги? На колхозные, знаю,  
— Скупая она, Яков Степанович. Вся жизнь беззубой прожить — колхоз позо-рить.

— Вишь, как ты красоту наружную блю-дешь. В середку, Петровна, поглубже за-глядывай. Не ладно мы с тобой живем, дружба. Не ладно. Думаешь только «За-рю» да «Красный пахарь» Сергей Алек-сеевич упрещдает? И нас с тобой. Войну мало чувствуем. Надо каждому человеку ее, войну-то, на горб взвалить. Не долж-но быть таких, какие б по-старому, по-мирному жили. Н-да! За тысячи верст она от нас, война-то, за горами, лесами, а надо, чтоб она, через самое наше сердце тянулась.

Барвара сокрушенно вздохнула.

— Эх, Яков Степанович, какая еще но-ша пострашнее моей — в разлуке с люби-мым жить. Не придумаете горше. Голод перетерплю, холод, нужду всякую, рабо-тать от зари до зари стану...

— Любо не любо, а придется терпеть. Ну, иди!

Барвара прижалась к старику.

— Еще маленько повечерую.

— Иди, дружба, вдоволь повечеровали, иди!

Темнота перед рассветом стала гуще. Барвара подошла к калитке, взялась за подкову и остановилась. Еще отец, двад-цать пять лет назад, в день рождения Барвары, прибил подкову для счастья. С тех пор жизнь ее складывалась изо дня в день счастливо. Никакого горя, если не считать преждевременной смерти родите-лей. Счастье ее жизни складывалось само собой. Не сила ее, не талант дали то, что имеет, а самые простые удачи. Так ли? Может быть Барвара Хлебушкина уже от-работала свое? Она нужна была колхоз-никам в хорошее, легкое время. Может быть, теперь председательское место надо уступить сурово требовательной, но и справедливой Аксюте Пережогойной?

Дверь в темную, тихую избу была на-жввлена только на железную петельку. Барвара вошла в горницу, пропускала впе-реди себя Шишку. Звезды скупо освеща-ли избу. От зеленого мутного света Барва-ре стало жутко — будто под водой очути-лась. Бросилась к привычному месту, к печурке, нацупала спички, торопливо вздула огонь. Шишка сидела на лавке, уже ни на что не жалуюсь, ничего не про-ся, строго смотрела на Барвару и, каза-лось, ждала, что та будет делать. Под ше-ей собаки была нарядная мехина, видная только теперь, когда Шишка подняла го-лову. Барвара робко оглянула избу. И первое, что она увидела, были сапоги мужа, в которых он зарею, в день отъез-да, ходил на озеро рыбачить. «Может, в

последний разок», — подмигнул он тогда Барваре. И сейчас же рассмеялся, обнял ее, поцеловал в губы, протрубил своим прославленным голосом: «Эх, Варька! Ни-какая пуля меня не тронет».

Муж, помнится, с утра был весел, щедр на смех. Тогда, зарею, он стоял вот тут, посреди горницы, широко расставив ноги. Руки у него были светлоореховые, покрытые золотистым пушком. Вот тут, где сейчас Шишка, на широкой лавке, у стола под окном, любил он сидеть — озера вид-ны, тайга, горы, солнце, прилетающие птицы. Весною, а особенно летом, в авгу-сте, солнце всходило как раз перед этим окном. Оно медленно вставало из-за пи-роких плеч Кузьмы. Пока он завтракал, солнце поднималось все выше и выше, добиралось до уровня его головы. В день отъезда он, как и всегда, сидел на своем любимом месте, но солнце не взшло из-за его плеч.

Барвара прогнала Шишку с любимого места мужа, села сама сюда, открыла ок-на настежь. На что ни падал взгляд Вар-вары, — все напоминало о Кузьме. Изба, бревно к бревнышку, рублена им, Кузь-мой. Стол, лавки выпрублены и сколочены его руками. Печь сложил, окна вставлял, двери красил, все он, муж. У него была счастливая рука: все, к чему она ни при-касалась, было сделано хорошо, ладно, крепко, завидно, любовно. Вот его сапоги, густо смазанные дегтем. Какие они ог-ромные — две, а то и три Барваринных но-ги влезут. Поддержала их в руках, оста-вила на место. Вот стеганая, на желтой байковой подкладке фуфайка, в какой он кузнечил осенью. Сильный, с красными бу-бенчиками шерстяной кушак. Белая, тон-ко свалаяная шляпа, по полям расшитая васильками. Как это все — и кушак, и шля-па — шло ему!

За окном слышались шаги. Шел кто-то в новых, неразношенных сапогах. Шиш-ка не залаяла. Свет лампы вклинивался в темноту. На этот свет вышел Василий Петрович Бубликов, бригадир четвертой полеводческой бригады. Голова его и ру-башка потемнели от дождя.

— Чего мокнешь, иди, в избу, — прика-зала Барвара.

Он вошел и остановился как раз на тех же половицах, где зарею, в день отъезда стоял муж — такой же высокий, с широ-ко расставленными ногами, белобровый.

— Беда, Барвара Петровна, стряслась! Медведи наш овес «золотые капли» ночью испакостили: скирды разломали, снопы растрясали, зерно высосали.

— Кто сказывал? Ефим? — засмеялась Барвара, вспомнив встречу с кузнецом.

— Ветеринар наш с горных пастбищ по-вертелся и видел.

Лицо Барвары мгновенно стало хму-рым. Но не надолго. Через окно донесся



глухой, неприятный, дребезжащий звук железа, ударяемого о железо, — кто-то отбивал косу. Сейчас же ему откликнулся такой же неприятный звон железа, ударяемого о железо. Потом еще и еще. И пошло, пошло. словно переключаясь, рождались звуки отбиваемых кос, становились тоньше, певучее, приятнее, хорошели. Варвара долго прислушивалась. Лукавые искорки, всегда тлеющие в ее глазах, разгорелись.

— Стало быть, медвежьи шкуры в подарок фронтовикам пошлем. Пойдешь, Вася, в засаду? А?

Василий Петрович молчал. По его лбу, крупно посыпанному потом, со вздутыми жилами, было видно, как он крепился, чтоб не поднять голову, не встретиться взглядом с Варварой.

— Ну, Василий, почему молчишь?

Приятные, певучие звуки отбиваемых кос раздавались по всей деревне. К ним, как петухи на рассвете, присоединялись все новые и новые. На лице Варвары уже гуляло веселье.

— Вишь, как косари зубы точат? — усмежнулась Варвара. — Браги кочешь, Василий?

— Подашь, так выпью — по обычаю, а не то что хотелось, — сказал Василий Петрович.

Она очеркнула ковшиком из корчаги светложелтой браги, налила полный жбан, с поклоном подала.

— Пожалуйста, откушайте.

Он молча выпил.

Варвара сорвала с гвоздя шляпу, расшитую по полям васильками, надела на голову бригадиру.

— Василий, сделай себе такую. Сделаешь? Постой, накрути еще и кушак.

Быстро перебирая теплыми руками, часто касаясь то груди, то плеча Василия Петровича, она обвила его желто-синим кушаком. Красные бубенчики выпустила на левое бедро.

— Какой ты стал красивый!

Василий Петрович молча, не отводя глаз от Варвары, вытянул руки и сделал то, что порывался — обнял Варвару.

Она не вскрикнула, не взмолилась. Только выпрямилась, гордо вскинула голову и молча, с суровым, безжалостным презрением посмотрела на Василия Петровича. Он торопливо, виновато опустил руки и выскочил на улицу.

Варвара что-то стяхнула с плеча и груди, куда прикасались чужие руки, поправила смятую кофту.

Под окном раздался приглушенный бавовитый смех.

В окно просунулась всклокоченная голова и струистая борода Ефима.

Варвара несказанно обрадовалась своему вечно веселому, вечно счастливому другу.

— Здравствуешь, Ефим! Ну как, собрал наших?

— Все до единой собрались, Петровна. — Слышишь, косари зубы точат. Перед тем, как на Гари идти, ты слово народу должна сказать! Слышишь? Ефим плоско-му не научит.

## X

Антон проснулся, открыл глаза. В распахнутом окне стояло что-то белое, теплое и пахучее — не то вишня в цвету, не то белоснежное облако, не то человек.

— Антон, пробудись!

Голос был женский, ласковый, песенный, знакомый.

— Я это, товарищ командир, — женщина в белом платье тихонько засмеялась. — Раньше солнца хочу тебя на нашей земле поприветствовать. Здорово живешь, Антон!

— Здравствуй, Липа!

— Я это, я. Узнал, стало быть?

— Как не узнать! Один раз вас услышишь, никогда не забудешь.

— Неужто помнишь? Вчера хотела молоком напоить, нашего хлебushка дать отведать, да не пришлось. Жалко, даже жалко. Не обессудь, хоть теперь отдавай свеженьких пирогов. Держи, еще горячие!

Антон взял два пирожка, с удовольствием съел.

— Спасибо, Липа.

— Ешь, ешь на здоровье.

Окно становилось все светлее и светлее. Было видно, как селась с неба на землю прямой густой дождь.

Олимпиада стояла перед ним в раннем рассвете летнего дождливого дня. Светлые ее волосы чуть потемнели от дождя, но тугие кудри не распустились. Глаза сияли, а с губ не пропадала счастливая улыбка. В руках у нее была хворостина с ободранной корой. Не то эта свежая хворостина распространяла душистый аромат тайги, не то дождь, не то сама Олимпиада уже побывала в лесу около сосен — не знал этого Антон. День еще не начался, а Олимпиада уже весела, радостна, счастлива. Чему она радуется? Чем счастлива в такой трудной жизни?

Будто угадав мысли Антона, она сказала своим песенным голосом:

— Я собралась на Гари. Будем косить пшеницу. По старинке, вручную. Не слышал еще про наши Гари? Вся жизнь будешь каяться, ежели не пойдешь с нами. Право. Вот послушай, какие у нас прекрасные Гари, какое веселье на Гарях — залюбуешься. Пойдем!

Дверь соседней боковушки распахнулась. На пороге появилась простоволосая Марья со шпильками в зубах.

— Олимпиада, чего человеку в такую рань покою не даешь?

Лица встряхнула кудрявой головой, засмеялась.

— Мама, не терпится мне! Ты погляди на меня, какая я! — Олимпиада обернулась к Антону и повелительно сказала: — Так смотри не обмани — приходи.

— Приду.

Антон провожал глазами Олимпиаду, пока она не скрылась в мутносиреневом рассвете.

— Почему она вас мамой называет? — спросил Антон Марью Павловну.

— Невесткой доводится. Меньшего, Сереги моего женушка. Ты не гляди, что она беспутно языком болтает — для веселья это. И душой и телом она бабонька чистая, строгая. Пара она Сереге, ой какая пара! Ладная молодуха, ловкая. Люблю я ее. Да и кто такую не полюбит?

По двору прошла Павла. В левой руке она держала снятую с черенка косу, а правой, пальцами, пробовала тонко отбитое жало. На ней был вчерашний праздничный наряд, и лицом она была по-вечерашнему гордая, строгая.

— Павла, достань-ка курганчик молока да пшеничного хлеба.

Девушка принесла запотевший, со льда кувшин, присыпанную мукой ковригу хлеба. Взяла подойник и, не торопясь, удалилась.

Марья стояла у стола. Толстые ее пальцы ловко сдирали кожуру с вареного картофеля. Ничего особенного не было в том, что она чистила картофель. Но Антон смотрел на ее руки с наслаждением и мог бы так, молча, не шевелясь, просидеть долго.

— Ты бы прилеж, подремал бы зорюшку, — указала она.

— Не хочется, мамаша. Помочь я ничем не могу вам, а?

— Сиди, ешь, вот она и помощь. Гляну я на тебя, да и радуюсь, — в рученьки и ноженьки силушки прибавлю. Ну, не красней, как девица ясная. Не про тебя тебя люблю, а ради сынов своих. На всех ты походишь. Право, походишь! И волосы у тебя, и рост, и плечи, как у Кузьмы. Родинка под ухом ровно перенеслась на тебя с Сергуньки. А голос — чисто Степана.

## XI

Всю ночь донецкую степь выжигал сухой. Всю ночь остатки роты бронейщиков кирками, ломами, лопатами вгрызались в кремнисто-твердую, веками нетронутую землю древнего кургана, господствующего над этим правобережным местом Донца. На рассвете бронейщики Кузьма Хлебушкин и Тарас Лобанюк, врываясь в глубину кургана, наткнулись на что-то твердое, не поддающееся лопате.

— Ну-ка, Тарас, долбани ломом. Вроде клад мы с тобой нашли, а? А что если золото, камня самоцветные, самородки старинные и всякая золотая всячина на нашу долю достанется, что мы с ней, Тарас, будем делать, а?

Тарас Лобанюк, — плечистый бронейщик, лысый со лба до затылка, — молча действуя ломом, извлекает со дна окопа что-то белое, бесформенное — не то кусок расщепленного, с ободранной корой дерева, не то какой-то диковинный корень.

— Да никак это кости? — тревожно приглядываясь в полусумерках наступающего рассвета к находке, сказал Хлебушкин. — Человечьи кости. Интересно, русская это кости или чужая? Глянь, а это чего?

Хлебушкин вертел в руках обросшую землей, почерневшую металлическую кувшинообразную посудину с массивной ручкой и отполированными, удобными для питья краями.

— Это жбан. У нас в Оленьих горах народ бражку из такой посуды сосет. Русские это кости, солдат! Ну, рассказывайте — какие вы: простые или князьи, геройские или рядовые? Как ты думаешь, Тарас?

Тарас Лобанюк угрюмо и молча смотрел на находку.

— Ну, дружба, отгадывай, какие это косточки? Кого нам вспоминать?

— Вспомни, где ты находишься — на краю украинской земли! Тут, где мы сейчас стоим, испокон веков отбивались люди русские. — Лобанюк тяжело вздохнул, мрачно и зло добавил: — Эх, собаки бешеные, куда они нас загнали...

Наверху, на сухих отвалах свежестройной земли посыпшались мялкие шаги.

— Кто тут есть? — раздался сильный голос, и бледное, измученное лицо с перевязанной щекой склонилось над окопом.

— Это мы, товарищ лейтенант, — откликнулся Кузьма.

— А, Хлебушкин! Ну, как дела?

— Готово, товарищ лейтенант, вылепили себе цыплячье гнездышко.

По багровым щекам Хлебушкина ручьи струились пот, промывая светлые дорожки. На губах теплилась робкая выжидательная улыбка.

— Молодцы! — похвалил лейтенант, посмотрев окоп, — перестарались даже, зачем три ниши сделали?

— Как зачем? Одна для гранат, другая для зажигательных бутылок, а третья для котелка со щами или с водичкой. Для хлеба или еще для чего тоже пригодится.

— Вы что ж, все лето в своем цыплячьем гнездышке собираетесь жить?

— А кто его знает, товарищ командир роты, сколько нам тут придется быть. Может быть час, может быть два, а мо-

жет быть и того менее. Почему нам и не постараться ради такого случая?

Лейтенант усмехнулся и покачал головой. Помолчав, он осторожно оглянулся на бронейщиков, копошившихся по всему кургану, снизил голос до шепота:

— Кузьма Иванович, нашу роту, кажется, выставили прикрывать передраву. Уходить приказано последними. А уходить, сам видишь, уже и сейчас некуда.

Пот высох на скуластом лице Хлебушкина, и оно густо побелело.

— Так прямо и предупреждаю, — твердо и ясно глядя в глаза Хлебушкину, сказал лейтенант, — отступать некуда, будем драться до последнего патрона, до последней капли крови! — лейтенант помолчал, сдирая зубами с обветренных губ тонкие окровавленные лоскутики засохшей кожи. — В случае чего, принимай на себя командование ротой. Понятно?

Хлебушкин молча кивнул головой.

Лейтенант улыбнулся ей, чуть согнувшись, побежал по соединительному ходу, перерезавшему курган.

— Да, отступать некуда! — проговорил Тарас Лобанюк, хмуро оглядывая мир на все четыре стороны.

Хлебушкин осторожно положил кости на расчищенную от земли травянистую закранию окопа. Удивительно тихий после того, что было ночью, разливался по дощечному простору сухой рассвет. С кургана далеко было видно безлюдное степное раздолье. С юга и севера, на восходе и на закате беспрерывным кольцом бушевали пожары — горели деревни, хутора, леса, хлеб на корню, vystоявшиеся, засушенные суховеем травы. Выше по Дону, там, где немцы прорвались к берегу, до самого неба поднимались смолисто-темные вихри пожара. Это пылала нефть, вылитая в реку и подожженная. Черный смерч с кровавым корневищем был еще далеко, но свежий ветерок уже доносил едкую, удушливую гарь. Птичья стаи тревожно металась по огненному кольцу. Над степью стояла мертвая тишина — ни выстрела, ни гула самолетов, ни лязга танков, ни крика человеческого. Немцы затаились где-то по ту сторону бушующего огнем и дымом кольца, все приближающегося к кургану.

Скупые, тяжелые слезы выступили на глазах Тараса Лобанюка, губы задрожали. — Ты чего это, дружба? — встревожилась Хлебушкин.

— Эх, Украина, Украина!.. Вся жизнь моя тут. Знаешь, Кузя, мне сейчас даже кажется, что я и на свете жил ради сегодняшнего дня. Для того меня и мать породила, чтоб сегодня я не ушел отсюда.

— Брось, дружба. Не пропадем. Не такое видали, не из такого выбирались! Давай лучше закурим и про наших жен раз-

говоримся. Что-то они теперь, раскрасные, делают, а? Моя на жнивках потом обливаешься. Твоя городская, твоя... дай руку, Тарас..

Лобанюк хмуро выдернул руку.

— Замолчи, Кузьма! Не для меня твои утешения.

## ХИ

В Оленьих горах давно погас огонек. Дождь сеял, но небо над тайгой посветлело, и продолговатые яйцеобразные озера уже проступили из темноты. В окно сильно потянуло прохладой.

Варвара накинула красный, в белую крапинку, ситцевый сарафан, обулась в скатанные руками Кузьмы коты. Дождь был теплый, ласковый. Сбивая подолом сарафана с горькой листушки дождевую росу, побежала по тропинке.

У колодца дорогу Варваре перешла с коромыслом на плечах Серафима Рублева, сутулая, шупленькая женщина, похожая скорее на девочку-подростка, чем на мать пятерых детей.

— Здорово живешь, Серафима?

Серафима сразу, как вкопанная, остановилась, с тревогой всматриваясь в Варвару. Переложив коромысло с плеча на плечо, утробно, обиженно сказала:

— Здравствуешь. Ну, не прислал Кузьма нового письма?

— Нет, не присылал. А твой Алексей?

Серафима тяжело вздохнула, сквозь слезы сказала:

— Будто и не знаешь: шестой месяц нынче пошел, как ни слуху, ни духу.

— Пришлет, Серафимушка, пришлет письмо, жди.

— Ждать уже нечем, Петровна.

Варвара обняла Серафиму.

— Приходи вечером, поговорим.

— А ребята? Спутанная я по рукам и ногам. Тебе что — кругом свободная.

— Эх, Серафима. Не подвезло мне на ребят. Ничего, еще и тебя догоню, — засмеялась Варвара. — Ну, ты как, готовилась?

— Куда?

— Как куда? Известное дело — на Гари. Вся деревня знает, одна ты не ведаешь.

— Ведать-то я ведаю, только не пойду.

— Почему?

— Ребята грязные, необстиранные, целый месяц немые рубахи валяются — все недосуг. Кто тянет, на того и валят. Вам-то хорошо, бездетным, вам ладно живется, — сердито вдруг прокричала Серафима.

Варвара спокойно слушала, кивала головой и соглашалась со всем, что говори-

ла Серафима. Женщина так же внезапно, как и разгневалась, притихла.

— Силы истекают, Варя, — доверительно проговорила она, роняя с плеча коромысло, но каким-то чудом успев подхватить его и, не расплескав воды, поставить ведра на землю. Серафима посмотрела на небо (раньше коромысло, как ярмо, мешало ей поднять голову), потом на Варвару. — Все-таки и в дождь косить будете? Глянь, как дождит.

— Подождит-подождит и утихнет. Гари счастливые.

— Не Гарям, а тебе счастит. Нет, ты скажи-ко, стираться-то надо когда-нибудь? Как скажешь, так и сделаю, только по совети скажи.

— И стираться надо, и косить надо. Поспишь завтра меньше — и постираешься.

— Вот так по совети! И то, с той поры, как мужик на войну ушел, по-куриному сплю: только глаза закрою и уже вставать надо.

— Наши мужики, Серафима, ведь поди и того меньше спят. Наши мужики, поди...

Серафима обиженно перебила.

— Известное дело — война. Приду на Гари. Вечор, а может в ночь постираюсь.

Серафима с ловкостью и силой, какой нельзя было ожидать от ее сутулого, толщею тела, гванула кверху коромысло, бесшумно и лудбо положила его на костистое плечо, легко, чуть раскачиваясь, пошла по тропинке.

Варвара посмотрела ей вслед, отложила в сердце все, чем взволновала, чему научила ее эта встреча, и побежала дальше, в гору, к главному колхозному двору, где шумели собирающиеся на Гари бабы.

Увидав Хлебушкину, две крайние из толпы колхозницы набросились на нее с сердитыми криками.

— Где-ко ходишь, Варвара Петровна, почему народ не распускаешь?

— Распускай, вишь, дождит-то как!

— Какая в дождь косьба? В дождь рыба ловится. Варька, дай указку невод выдать, на озеро всей гурьбой пойдем.

Степанида, шурша шелковой, городской моды юбкой, поклонилась, кончиками пальцев бережно касаясь примоченной дождем пыли.

— Хоть разок послушай нас, председателыша.

Колхозницы замолчали, весело и с любопытством поглядывая то на Варвару, то на Степаниду.

Варвара терпеливо, спокойно подождала, пока Степанида подняла от земли тяжелую, в девичьих косах голову, пока разогнула спину, пока открыла лицо так, что оно стало видно всем колхозницам.

— Ты, милая, поди целу ночь рот свой держала открытым — все дожидалась

поругаться со мною. Верно? — Варвара помолчала, пока колхозницы притихли после веселого дружного смеха. — Что ж, Степанида, давай поговорим. Для тебя сегодня я найду слова. Сегодня уж найду, не беспокойся!

Хоть и знала Степанида, что не любит ее Варвара, но такого от нее не ждала. Растерянно молчала, суетливо застегивая на груди шелковую, узенькую, видно с чужого плеча кофточку. Кнопки, едва их она застегивала, снова расстегивались, открывая розовую, тоже шелковую рубашку.

— На меня злишься, а на всех колхозницах зло сгоняешь. С той поры, как помню себя, испокон веку в такой дождь не косили, а ты...

— В лес по малину хочешь или на свой приусадебный огородишко?

Она отвернулась от Степаниды, посмотрела на небо и уже другим голосом, не злобно-спокойным для одной Степаниды, а обнаддеживающе-спокойным для всех, сказала:

— Дождь скоро должен перестать.

Колхозницы, все, как одна, подняли головы и тоже осмотрели небо.

— Дождь перестанет! — еще убежденнее сказала Варвара, искренне веря в то, что сказала.

— И верно ведь проясняется! — обрадовалась Аксютя Пережогина.

— Ветерок бойкий, расположится, — поддержала Серафима Рублева.

Вот она подходящая минута, когда можно сказать колхозникам все, что хотелось. Варвара сказала:

— Знаю, бабы, знаю, чего вам боязно: Не дождя вы боитесь, а черного дня. Верно, есть он. С какой же стороны нам его дожидаться? Недород? Урожай у нас такой, каких не бывало еще на моей памяти. Подохнет скотина? Спаси бог и помилуй; не слышать ничего такого по всем Оленьим горам. Так или не так?

— Вестимо так, — отжалкнулась из толпы Аксютя Пережогина. Она понимала, куда клонит Варвара, и всей душой одобряла ее речь.

— С какой же стороны черного дня нам дожидаться? — вновь спросила Варвара. — Приготовлен, бабоньки, приготовлен он для нас, денег этот. Вы не думайте, раз вы колхозницы, так вековечно вам жить при светлом дне. Дождается и нас, колхозников, черный день. Зуб о зуб точит и нашей слабости дожидается. С какой же стороны он зайвится? С той, родные, с той, кормилицы, с какой вы его пропустите. Гари не уберем до единого колоска, так с Гарей зайвится. Не выкопаем картошки на Грибных полях до морозов, так он оттуда припнагает. Разбредемся по лесам да своим огородам, кто по малину, кто по грибы, станем свое

помнить, а о колхозе забывать, еще хуже будет: с разных сторон на нас насунется этот проклятый черный день. Пока мы вместе, нам и светло. Разбредемся, — почернеет белый свет. Побирושек разных, лодырей авансами станем кормить, несправедливо расплачиваться за кровный труд, тоже не миновать нам черного дня. Вот я вам какую клятву даю, товарищи колхозники: хлебом кормить станем только таких, кто не покладая рук трудится. Так или не так я сказываю?

— Известно, так! — охотно, дружно откликнулись Аксютя Пережогина, Мавра Кормчиха, Дарья Варламова, Марья Жаворонкова.

— Труженнику не боязно черного дня, — продолжала Варвара. — Вот как мы на правлении порешили: расплачиваться с каждым колхозником за его кровный труд до последнего зернышка. Сколь ни заработали, все твое. Давно бы так надо, да только мы не делали. Каюся, часто и пусто раздавала я авансы лежебокам. Придет, разжалобит: дай, Варварушка, дай! Ну и давала.

Колхозницы, до сих пор серьезно и строго слушавшие Варвару, дружно, весело засмеялись.

— Смейтесь, бабы, смейтесь надо мною — таковская, заслужила. Больно жалостлива я была.

Тут же, в толпе, стояла и притихшая Степанида. Склонив к плечу голову, закутанную добротным, шелковым платком, слушала Варвару и зло кусала губы. Всему, всему завидовала она в Варваре: и ее красоте, и веселости, и тому, как просто, но к лицу одевалась, председательскому ее месту завидовала, словам ее завидовала. Откуда она их берет? Как это у нее складно получается, доходчиво до души. Не хочется верить, а веришь.

Варвара помолчала, сурово и вместе с тем ласково оглядывая колхозниц. Все, кажется, выложила, чем мучилась. Теперь легче будет.

— И еще, вот чего я вам напоследок скажу. Забыли вы про то, что мы теперь кормилицы народные? Вся наша страна, можно сказать, из наших рук кормится. Гордиться и гордиться нам надо. Пошли, миленькие, пошли!. Не теряйте золотой час, Василий Петрович, снаряжай телеги, а мы пешком тронемся.

Колхозницы, подобрав полы сарафанов, юбок, кто босиком, кто в калошах, кто в ботинках, со смехом и веселым говором, вдруг прорвавшись, тронулись за Варварой.

— Ну и везучая ты! — догоняя Варвару, недружелюбно сказала Степанида. — Хоть бы крохотку твоего счастья отвалила. А? Не поскупись, Петровна.

Варвара молчала, искоса поглядывая на белоснежную шею молодухи, краси-

во убранныю пышным кружевным воротничком.

— Варя, подружка коренная, понашрасну лютуешь на меня. Знаешь ты, почему я на Гари не хотела идти? Нет, куда тебе знать! Загордилась ты, бабьего горя нашего не слышишь. В город я вчера засобираюсь, муженьку посылку отвезти надумала. Полакомить я родненького муженька хотела маслом да медком, яичками, а ты...

Варвара остановилась посреди дороги.

— Так чего ж ты мне, глупая, сразу не сказала? Иди, без тебя Гари выкосим. Иди, сказываю, на пароход опоздаешь.

— Спасибо, подружка, спасибо. Отзывчивая ты, сердечная...

Опустив юбки, Степанида направилась в деревню.

«Как я ее вокруг пальца обвела!» — усмехнулась она про себя.

### XIII

Дождь, как и надеялась Варвара, вскоре перестал. И стар и млад, одетые по обычаю во все лучшие летние одежды, с бражными лагушками в руках, с косами, литовками и горбушами на плечах, двинулись на Гари. Как только вышли за деревню, Варвара заговорщицки подмигнула Олимпиаде. Та передала Павле лагушок, литовку, нашла в толпе стариков Ефима-кузнеца.

— Куда-то ползете, дедушка? — весело пропела она.

— В монастырь, миленькая, в монастырь, родненькая.

Бабы, предчувствуя веселье, гурьбой окружили идущих в обнимку Олимпиаду и Ефимку, улыбались, готовые в любое мгновение расхохотаться.

— А чего вы тама будете делать? — серьезно, как того требовала ее роль, спрашивала Олимпиада.

— Курочек щупать, миленькие, курочек щупать.

— А для чего?

— Чтоб монашки неслись, чтоб монашки неслись!..

Веселое это шествие стариков и женщин на большой, приподнятой над полями дороге, среди свежих, в дождевой росе хлебов, на фоне свежоомытых черно-зеленых гор, несмолкаемо повторявших смех косарей, — видел издали Антон, проходя опушкой тайги. Неожиданная мысль обожгла его сердце: «Что бы случилось с этими людьми, появились здесь вот в такое прекрасное утро немцы?»

На большой дороге косарей поджидала Татьяна Ромашева. То с одной стороны, то с другой шествие обрастае все новыми и новыми косарями, больше женщин. Лесными тропами вывела на большую дорогу свою бригаду Василиса. Все ее лю-

ди были закоптелые, обсыпанные вьедливой мяжиной, с черными разводами засохшего пота на лицах.

— Здорово живете, углежого! — закричала Варвара.

— Здравствуй! — слабо, будто из последних сил ответила Василиса.

— Почему не искупались в озере?

— Недосуг нам было купаться, рожи мы кончали молотить.

Варвара обняла, поцеловала Василису.

— Молодец, Вася!.. Я так и знала.

Серафима Рублева с почтительным удивлением и уважением перед чужой силой робко спросила:

— Неужто все Грибные поля обмолотили?

— Все как есть, Серафима, под чистую.

— Да как же это вы изловчились немисленно? Вечор я была там, так на неделю работы оставалось.

— Руками, все руками, Серафима!

С перекрестка косари повернули к тому месту, откуда открывались все Гари — на крутой берег высохшего озера, где в свое время, в большой пожар, остановился огонь. Здесь косари, будто сговорившись, остановились, молча оглядывая Гари. Желтоватыми неравномерными волнами застыла под солнечным небом пшеница. Справа она упиралась в продолговатое, узкое озеро и далеко-далеко, чуть ли не у самого неба, страстала с первыми горными отрогами. Всюду, насколько хватал глаз, густо виднелись большие вмятины, словно по пшенице погуляла табуны коней.

При общем, явно одобрительном молчании пухлолицая Прасковья Кашеварова воскликнула:

— Плесо-то какое раздолжное — не обидешь, не объедешь!

— Вроде как бы поболее стали ныне Гари! — с затаенным испугом поддержал Прасковью Василий Петрович Бубликов.

— И то, верно. Гляньте, экая страшная ширь, — тревожно глядяваясь вперед, сказала Марья Хлебушкина. — Сколь долги-то, сколь долги хлеба, беда чистая!

Яков Степанович поглядывал то на баб, то на Гари, почесывая себе лысину.

— Да, вот оно! Гляньте-ка, милые, сколько нас и сколько его, хлеба, — сказал он, указывая на бескрайние, утопающие своими берегами в солнечном мареве Гари и на людей, пришедших косить. — Мало нас, беда как мало!

— Мало, — продолжал он, коротко помолчав. — Но не менее меньшего. Гари-то, слушай-ко, будут стоять и сегодня, и вечер, и ночью. А мы пойдем. Ну, судите да рядите, кто кого обгонит. Кто поболе да посильнее: Гари — аль мы, люди?

— Верно, Яков Степанович, верно! — откликнулся басом Ефим.

Он подошел к кромке пшеничной целины, сорвал горсть колосьев, быстро скрутил себе венок, надел на голову, поплывал в ладони, размахнулся.

— Ага, старики понадобятся! Вишь, а то по курятникам, по свинарникам сторожами порассовывали. Мы свое еще покажем. Эй, дорогу бородачам!..

#### XIV

За курганом, позади бронебойщиков, взошло солнце. Лучи его пробрались сквозь огонь и дым пожаров, выстлали желтым пухом свежесотранные огневые позиции. Кольцо дыма и огня сжалось, а немцы все еще не подавали никаких признаков жизни.

Вглядываясь в мертвую тихую степь, откуда ожидалась немцы, Кузьма Хлебушкин потихоньку, вполголоса, но внятно мурлыкал песню:

Во субботу, день ненастный,

Нельзя в поле, эх,

Нельзя в поле работать.

Нельзя в полюшке работать,

Ни боронить, эх,

Ни боронить, ни пахать.

— Замолчи, Хлебушкин! — скривившись, попросил Лобанюк.

— Что?

— Как ты можешь?

Хлебушкин затянулся толстой цыгаркой, выпустил дым к небу и невозмутимо продолжал.

— Побойся бога, Кузьма Иваныч! Голову прожигает, — Лобанюк хлопнула ладонью по своей голой, как кость, голове.

— Не твоя это? Могу другую спеть.

Выкурив цыгарку, тронув верхнюю губу, где когда-то красовались толстые пшеничные усы, подмигнув выглядывающему из соседнего окопа долговязому бронебойщику Свистуну, Хлебушкин печальным, надрыгающим душу голосом затянула безнадежную, бесконечную песню:

Из-за леса, скажем, из-за гор.

Да выезжал дядя Егор...

— Да замолчишь ты или нет! — закричал Лобанюк и замаяхнулся на Хлебушкина гранатной сумкой.

— Чудак ты человек, — усмехнулся Кузьма, — я оттого и пою, чтоб не молчать. Ты глянь-ка, — все молчит, все страх на твою бедную душу наводит!

Как ни был мрачен Лобанюк, глядя на Хлебушкина, он отходчиво улыбнулся, спросил:

— Кузьма Иваныч. Как ты жил до войны в колхозе?

— Известно как, работал: кузнечил, плотничал, землю пахал, избы строил. Одним словом, всякая работа моя была.

— Ну, и больше ничего?

— А что же еще? — удивился Хлебушкин.

— Ради чего ты работал?

— Как ради чего, не понимаю?

— Какой жизни ждал, чего тебе хотелось выработать?

— А!

Хлебушкин, снисходительно улыбаясь такому простодушному вопросу, хотел сразу же коротко и ясно, по старому убеждению, ответить, ради чего он работал в колхозе и чего ждал от жизни. Но, раскрыв рот, он вдруг почувствовал, что сейчас, на втором году войны, посреди донецкой земли, далеко от своего дома, посреди бующих пожаров, перед лицом стерегущей его смерти — сейчас нельзя двумя-тремя словами высказать того, что раньше было так ясно и глубоко видно.

— Ради чего я работал? — переспросил он, по любимой привычке лукаво прижмуриваясь. — Мало я ждал от жизни, дружба, сознание, мало: чтоб моя Варвара ребятенка, сына мне родила, чтоб наш колхоз премию получила и в Москву на выставку поехал, чтоб мне правление новую кузню поставило, чтоб я ружье-централку заимел, чтоб водопад на Лебяжьих озерах покорить, электростанцию построить. Мало хотел от жизни, даже мало. Нет, ты спроси, дружба, чего я теперь хочу. Одного, Тарасушка, одного хочу. — Хлебушкин схватил руку Лобанюка, крепко сжал ее. — Хочу, чтоб душа моя не знала никакого страха перед немцами, ни единой капли. Я сквозь всю войну пройду, до самой Германии, до каких хочешь краев на земле доберусь!

— Чудак! Да разве ты сейчас трус?!

Хлебушкин помолчал, хмуро взглядываясь в донецкую степь, полную огня, дыма и тишины.

— Трус не трус, а сижу, вот, с тобой, немцев жду, и мне не по себе. Понимаешь, другого в михорадку в такую минуту бросает, а мне охота говорить, петь, смеяться.

Вперед слышался то приливающий, то отливающий гуд моторов. Хлебушкин умолял, поднял голову к небу. Теперь в свете дня и солнца он хорошо и как-то по-новому был виден наблюдателю Лобанюку. Щербатина в зубах придавала его не первой молодости лицу, в особенности при усмешке, детское выражение. Как ни много и жадно он курил, однако табачная желтизна ни единым пятнышком не приставала к его крепким белым зубам. На пухлых, по-летнему обветренных губах застыла беспричинная, добродушно-лукавая улыбка, с какой он некогда не расставался. Толстые щеки горели розким, светло-вишневым румянцем человека, ничем не болеющего, крепкого телом и веселого духом. Добрые карие глаза окружены мелкими лучистыми мор-

щинками, взгляд их спокойно-умиротворяющий. Верхняя губа голая, чуть стягута паутиной сеткой морщинок. Темные грубые руки покрыты свежими ссадинами и старыми рубцами. Пальцы широкие, цепкие, привыкшие держать и полупудовый молот, и иголку. Ногти твердые, темные, железной крепости, горбатые как у орла. Обмундирование на Хлебушкине поношенное, выцветшее от солнца и дождей. На плечах, особенно на левом, на котором он в походах носил бронебойку, гимнастерка маслилась и была тротерта почти до дыр. С первого взгляда могло показаться, что Хлебушкин худ. Нет. Это была худощавость человека гор — жилистая, мускулистая. Движения его стремительны, ловки, движения кузнеца, торопящегося ковать железо, пока оно горячо.

— Юнкера опять, — сказал Хлебушкин, заболтав и ласково тронув верхнюю губу, где когда-то красовались пышные усы. Он опустил голову, оглянул курган. Взгляд его стал беспокойным, ищущим.

— Ешь, Тарас! — сказал он, доставая из сумки хлеб. — Горек хлебушко, беда чистая, как горек. На бабьем попу да на слезах замешан, оттого и горек. Эх, колхозницы наши родные, и достается же вам теперь!

— А нам? — Лобанюк покосился на Хлебушкина.

— Мужики мы, таковские! — сказал Кузьма, запивая хлеб теплой водой.

Черные юнкеры, растянувшись в цепочку, шли строгим курсом на курганы и на переправу.

— На нас, собаки, идут! — проговорил Кузьма, давсь хлебом и торопливо прилаживая бронебойное ружье для стрельбы по самолетам.

В окоп Хлебушкина прибежал сосед справа, бронебойщик Свистун. Долговязый, как он ни пригибался, все равно голова и плечи его виднелись поверх соединительного хода, открытого в полный профиль.

— Ты чего сюда? — закричал на него Хлебушкин. — Почему не стреляешь?

— С тобой веселее, Кузя! — заискивая улыбулся Свистун, с трудом протискиваясь своим ширококостным задом в узкую щель. Голова его тряслась, Узкое, с впалыми щеками лицо посинело. Близорукие глаза то ли от болезни, то ли от знойного донецкого суховея слезились.

— Эх, не достанешь! — простонал сквозь зубы Кузьма, опуская ружье.

Самолеты, не снижаясь, спикировали на переправу. Захлопали скорострельные автоматические зенитки. Пешельные шарообразные разрывы далекобойных снарядов высоко вспыхнули в небе. Завылли бомбы. Тучи воды, ила закрыли солнце. Последний самолет

неожиданно, так что по нем никто не успел произвести ни единого выстрела, резко пошел вниз, пикируя на курган. С небольшим утреждением юнкерс выпустил серию бомб. Они косо, с воем и свистом полетели на цель. От подножья до вершины содрогнулся курган, окутался дымом и огнем. Хлебушкин, Лобанюк и Свистун свалились друг на друга — темнота, земля, пороховая едкая гарь накрыла их.

Самолеты исчезли, растаял гул моторов. Снова мертвая тишина водворилась над донецкой степью. Бесшумно клокотало кольцо пожаров, неуверенно надвигаясь на курган. Смерч горящей нефти выплыла из-за поворота Донца. Переправа, то что от нее осталось, пылала и постепенно исчезала под водой. Река почернела.

— Кто жив, братцы, откликайся?! — глухо, надтреснутым басом закричал Кузьма, вылезая из-под земляного покрова, отшлепываясь и отирая с лица кровь. — Чья это кровь, братцы, моя или чужая?

— Не моя, не моя, — одержимо бормотал Свистун, ощупывая свои руки, ноги, грудь.

— Чего? Не слышу, — глухо закричал Хлебушкин. — Свистун, дружба, у тебя кулак добрячий, дай-ка мне разик по уку, выбей контузию!.. Во, немного прочистилось! Хорош опять наш Кузька, таковский! — Хлебушкин засмеялся и, сощурив карие добрые глаза, оглянулся вокруг. — Тарас, дружба, ложись вниз головой, живо!

— Ничего, пройдет, — процедил сквозь зубы Лобанюк, хмуро вытирая себе нос и уши, залитые кровью.

— Все живые? — Хлебушкин приподнялся, оглядывая курган. На бруствере соседнего окопа он увидел голову с повязанной щекой и аккуратно, по самую грудь обрубленное туловище лейтенанта. Его белокурые волосы были забиты красной землей.

— Лейтенант убит! — обернувшись к товарищу, проговорил Хлебушкин. Голая, стянутая паутинными морщинками губа его задрожала, покрылась крупной зернистой россыпью пота. Руки тряслись и, не зная куда деваться, теребили воротник гимнастерки, застегивая и расстегивая пуговицы.

— Чего ж ты молчишь? — угрожающе спросил Лобанюк. — Тебе завещано принимать командование ротой, — принимай!

— Надо раньше похоронить человека.

Ставив тело лейтенанта в воронку, засыпав его землей, Хлебушкин вернулся в окоп. Приподнявшись, он крикнул так, чтоб его слышали на всем кургане:

— Товарищи, слушай мою команду: командир роты убит, командование принимаю я. По местам! Приказываю всем позавтракать и покурить.

Свистун со страхом и заискиванием смотрел на Хлебушкина.

— Ну, а ты чего здесь трясешься? Была ясная команда — по местам!

Солнце поднималось все выше и выше. Лучи его легли через Донец, заструились в обожженных травах кургана.

Обычно хмурые, злые, нелюдиные глаза Лобанюка были полны радостным удивлением. Так вот он какой, Хлебушкин, этот благодушный, добрый, беспечно-веселый человек!

— Кузьма Иваныч, только теперь я разгадал тайну твоего крещения: Хлебушкин!

— Вишь гадатель тоже нашелся. Ну-ка, скажи, интересно мне самому, какая моя тайна.

— Слушай, Кузя, верно, что ты уралец?

— Самый настоящий, не приведи бог! А что, почему засомневался?

— Уж больно того, не по-уральски ты мягоныкий, ласковый, дух от тебя хлебный, будто только из печки вынули.

Хлебушкин нахмурился.

— Подавишься, брат, Кузей, костлявый он. Э, дружба, понимать меня надо. Глаза мои уральские, а может сибирские, руки костромские, кожа кубанская, терпение уральское или сибирское, а душа, милос, главное, душа моя — советская, человечья.

— Это как же понять?

— А вот. Придешь ты ко мне с любовью — и я тебя любовью окружу. Со злобой придешь — задущу я тебя своей злобой. Приласкаешь — и я с тобой лаской обменяюсь. Дашь мне краюху хлеба — я, дружба, тебе каравай приподнесу. Вот как я понимаю настоящую душу, человеческую душу. Есть у нас в деревне Ефим Иванов, вековечный бобыль. Что ни заработает на трудовень, все раздаст. Не печет никогда для себя, не варит, спит, где попало. И все-таки, веселее Ефимки нету колхозника в деревне. Почему? А потому, что у него широкая душа. Кузнечить я у Ефима научился, столярничать, лесовать, песни петь и человека любить.

— Человека? Помнишь, ты мне рассказывал, как в окружение с трусом разделался. Он тоже был человек, — усмехнулся Лобанюк.

— Глупый был, этот Рублев, сам не понимал, как обокрал себя. Нету на земле богаче человека, ежели он как человек живет. Правда, Э, дружба, думаешь первой я такой груз на свою душу принимаю!? В семье не без урода!

Лобанюк вздрогнул. Над бруствером прощумел железный гул.

— Слышишь?

На вершине кургана раздался тревожный голос наблюдателя.



— Танки, товарищ командир!

Из глубины степи, из черно-желтой тьмы пожаров накатывался гул танковых моторов. Курган содрогался по мере их приближения. Нефтяной смерч стал между солнцем и землей.

## ХV

Горная тень накрыла долину, достала до самой кромки Гарей. Высохла роса на хлебах.

Косари выстроились двумя крыльями, друг против друга. Варвара выбрала себе место на нижней кромке — все Гари видны как на ладони. Слабые косарей поставили вперемежку с сильными, холодных бок о бок с горячими. В середине, в самой гуще был поставлен Ефим. Варвара думала, что в такую жару, при таком густом хлебе, при небывало большой норме — очень многие будут нуждаться в том, чтоб их развеселил Ефим. Сама она решила с неустанной зоркостью следить за теми, кто окажется слабым, подбадривать их и словом, и своей работой. По плану она наметила сегодня скосить половину Гарей — столько же, сколько в мирное время, в удачные годы выкашивали комбайнами. Это было, сознавала она, только ее желание, подсказанное суровыми днями. Втайне же она сомневалась, что можно руками столько сделать.

Вот с такими сомнениями, планами она размахнулась, заноса литовку над пшеничным необозримым полем. Первый взмах — и все планы, все хитрости, сомнения сразу фужули. Литовка, мягко журча, врезалась в тугие спутанные пряди пшеницы. Колосья падали покорно. Жнивье в первые секунды будто зеленело под солнцем, потом, высохнув, желтело и еще чуть позже золотилось. На мягкой земле оставались глубокие следы косарей. Свеже-охлажденная кромка Гарей была где-где увита голубыми, сине-белыми, бледно-розовыми колокольчиками. Как огонь вспыхивал в пшенице кровавый цветок — Марьян корень. В ясном небе плел жаворонок, то поднимаясь ввысь, почти к самому солнцу, то близко спускаясь к земле, словно раскачиваясь на невидимых резиновых качелях. Варвара подвигалась вперед, подвигался и жаворонок, никак не давая себя опередить. В гуще хлебов звенели о свои наковальни кузнечики, все удаляясь и удаляясь от непрерывно подвигавшейся вперед Варвары, заманивая ее дальше и дальше в глубь Гарей. Платок на ее голове развязался и упал на плечи. Волосы, всегда аккуратно убранные, рассыпались — забыла ли она о них, или ей так было вольней, лучше? По самозабвенному счастливому лицу Варвары каждый читал: вот она где удалая, вот где чувствует истинное раздолье — в поле!

Варвара опустила литовку, оглянулась. На свежем жнивье с граблями в руках стояла не сутулая, бледная, как всегда, Серафима Рублева, а стройная, краснотлицая женщина. Такая она была высокая, сильная, новая, что Варвара не сразу узнала ее. Новые были и Гари. Выкошенные на всем протяжении нижней кромки, они открывали берег, раздвигали озеро в ширину. Журавлиные цепочки косарей заметно продвинулись навстречу друг другу. Беспреданно по всей цепи вспыхивали ослепительно зеркальные литовки. Жаворонки вились над полем. Кузнечики цокотали по всем Гарям, заманивая, завлекая всех косарей — не одну Варвару. Бабы, с темными шуммурами на головах, девки в разноцветных платках, старики в белых рубахах — словно подгоняли друг друга. Там, где подгребщики не успевали подгребать, им помогали косари.

Тяжело дыша, потная, красная, подбежала Олимпиада.

— Мы с тобой, Петровна, промахнулись: норму занизили. Ты погляди, чего они делают: солнце еще где, а они дневную норму кончают.

Аксюта Пережегина, косившая по совету с Варварой, на полном размахе остановила литовку. Крупный пот струился по ее смуглому, гордому и властному лицу. Большие круглые серьги с сердоликовыми камешками все еще раскачивались, как бы продолжая движения ее крепкого сильного тела в косьбе. Грудь поднималась и опускалась. На загорелой шее вздулись толстые жилы. По белоснежному полотну рубашки между лопатками выступило продолговатое темное пятно. Голубые, холодные глаза Аксюты прищуривались.

— Гляди, Петровна, и взаправду не промахнись, что норму дала маленькую. Семьдесят соток на бабы руки!

Варвара вытерла свою литовку пучком травы и, скользя брусом по лезвию, ласково усмехнулась Аксюте.

— Тебе дай два дуктара норму, и то мало. Ладно уж, на другой год стану поумнее: одну тебя в жнейку запрягу.

Олимпиада и те, кто был поближе, да и сама Аксюта Пережегина, улыбнулись.

— Родные, какую только работу вы не одолеете!

Варвара с гордостью и радостью оглянула Гари. Бригада Василисы шла стройным журавлиным косяком, ни на один шаг не выпуская никого впереди себя. Позади бригады Василисы вырастали аккуратно подобранные снопы, сложенные в суслоны. Жнивье золотилось выстриженное, словно под гребенку. Ни колоска, ни соломинки не валялось между суслонами.

Правее бригады Василисы косола Татьяна Ромашева. Сейчас на ее лице не

было обычного обиженного выражения. Была на ее лице насмешка над Варварой: «Что, милая, думала, я и в самом деле такая несчастная?»

На ком ни останавливала свой взгляд Варвара, все, казалось ей, насмехались над нею или выговаривали: «ты хитрила с нами, думала мы бестолковые, а мы, гляди-ко, чего от полноты сердца сотворили! Мы бодрее, чем ты хотела, веселее, чем сам Ефим».

Павла — и та насмеялась над Варварой. Не желая гнущаясь в работе, гордо неся голову, увитую тяжелыми косами, она легко, словно батажком, взмахивала литовкой. Свободно оглядываясь вокруг, шла она все вперед, в глубь Гарей — только синяя юбка шуршала.

Павла остановилась, прислушиваясь к коротким горячим песням, вспыхивающим то тут, то там, и короткими, ловкими взмахами в такт песне стала лопатить каменным бруском литовку. Не глядя на лезвие косы, она весело разглядывала Гари. Неожиданно песни во всех концах заглохли. Правая рука Павлы вдруг промахнулась и не бруском, а согнутыми пальцами мазанула по лезвию косы. Белое жало мягко вошло в четьгре пальца. Хлынула кровь, пальцы разжались, выронили брусок. Но голова Павлы не колебнулась, лицо не побледнело, не исчезла с него веселая гордость. Павла только оглянулась — видел ли кто-нибудь, как она постыдно опозорилась? Не сумеет полопатить косу! Нет, кажется, никто не видел. Сняла с головы желтенькую косынку, замочила пальцы, стянула концы в узел, снова взялась за косу и с прежней легкостью начала косить, безостановочно продвигаясь вперед — опять в такт горячим перекликающимся песням.

— Батюшки, что такое! — испуганно закричала отребщица Ульяна, глядя на капли крови в пшенице. — Не с тебя ли клещет, Павла?

— Маленько пальцы затронула.

— Ты б на озеро пошла, колодной водой их промочила, пальцы-то!

— Не надо мне вовсе. В обед у мужиков табачного пеплу выпрошу, к вечеру затынет.

Ульяна молча, зачарованно смотрела на капавшую сквозь косынку кровь.

— Что, утoreла? — усмехнулась Павла.

Ульяна приложила руки к груди.

— Паша, как погляжу на кровь, даже на куришную, так сердце и каменеет. Право, каменеет. Боязно, Пашенька экая напасть. Поди-ка, в эту самую пору мужики наши кровью клещут...

— Известно, на войне не без крови, — спокойно сказала Павла, не спеша откладывая литовку. Она развязала узелок с харчами и платком поверх мокрой потемневшей косынки завернула руку.

Издали, от правого крыла косарей донесся зычный, простуженный голос Ефима:

— Лопать косу как следует! Прошколь добрянкой, вот так-то, гляди!

Не было в голосе Ефимки ни искорки смеха, ни веселья. Ему отвечал женский, веселый, игривый голос:

— Ефим, аль в председатели целишься?

— Пожалуйте, Петровна, испей холодненькой! — подходя к Варваре и протягивая туесок с брагой, сказала Серафима, довольная тем, что потчует.

Девки, бабы, старики, все время следившие, что и как делает председательница, бросили косить и тоже принялись за брагу. Варвара пригубилась к туеску и выпила несколько маленьких глотков, а потом, будто осмелев, распробовав, стала пить жадно, ненасытно.

— Беда чистая, как горька брага — хороша! — с трудом отрываясь от туеска, весело сказала она.

На верхней кромке Гарей вспыхнула хмельной голос Олимпиады:

Светит месяц за полтину,

Кажда звезда за пятак.

Новой милочке — обнову,

Стара пускай ходит так.

От озера донесся тоненький голосок Василия Петровича, торопящегося выговариваться, пока песня не набрала силы: — Бабы, слушай-ко, пореже кладите суслоны, чтоб телегой можно было проехать.

— Пореже мечите суслоны! — не заглушая песню, и не мешая ей, понеслось по Гарям.

— Пооорееже!.. — замерло на левом крыле.

Тоскливый, надрывный голос Серафимы Рублевой печально затянул:

Не война бы, не война,

Не жила бы я одна.

Не такой бы страшный бой,

Жил бы миленький со мной.

Варвара, не бросая косить, сочувственно откликнулась Серафиме:

За рекой черемушка

Сроду не цветала,

Кабы были крылышки,

К милому слетала.

На мохнатой лошадке, до крови искусанной оводами, проезжал бригадир Бубликов, повелительно покрикивая:

— Эй, подгребщицы, слышали, чего сказал, — пореже суслоны, пореже!

— Дак куда-ко его девать, хлеб-то, гляди, какой уродился, — любуясь богатым полем, спросила Серафима.

— Поболе, погуще суслоны мечите, вот и выйдет пореже.

— Ну! — согласилась Серафима.

— Так глядите, бабы, я утреждаю в последний раз — трудодень выйдет шерба-

тый у тех, кто ослушивается. Скоистить могу грудодень, справо слово, могу! — пригрозил бригадир, толкая каблукками лошма-туту лошадику.

Вслед ему Олимпиада пропела:

Вася, Вася, ты откуда?  
Я с Оленьей-то горы.  
Вася, Вася, любить буду  
Тебя, милый, с рей шоры.

— И то, Липа, — любуюсь молодущкой, сказала Серафима, — пожалела б ты Василия: с браковинкой, неармейский он у нас, — забыла?

— Какой ни есть, а мужик, — посмеиваясь глазами, озабоченно поглядывая на солнце, вмешалась Варвара.

— Мужики воюют, а он по чистой гуляет. Знать-то пустой он в середке, с думлом. Знать-то не видать ему фронта во-век!

Придерживая тяжелые, налитые груди, к Варваре подошла молодущка Ульяна, кивнула на солнце.

— Кормить сына пора, Петровна, отпусти ты меня.

Варвара вытерла литовку пучком срезанной шпеницы, приложила к губам ребро ладони.

— Ефим, крикни обедать!

И Ефим крикнул так, что голос его отдавался в горах:

— Обе-е-еда-ть!..

## XVI

Тяжелые сумерки затемнили донецкую землю. Блеклое солнце беспомощно плавало в дыму.

Танки прорыва, земляисто-желтые, похожие на гигантских черепах, расползались по степи, строго держа курс на переправу. Пепельные реки пыли хлопотали позади, сливались в неоглядное, вздыбленное от земли до неба бующее море.

— Здорово идут, проклятые! — сквозь зубы проговорил Хлебушкин.

По высокому, чистому лбу его катились редкие крупные капли пота. Руки были в непрерывном движении. Рукам его требовалась работа, как легким воздух. Они поправляли броневойку, смазывали с затвора невидимую пыль, протирали и без того глянцевитое дерево ложа, перекаладывали с места на место сумку с гранатами.

Безлюдная до появления танков степь ожила. Невидимые до поры до времени орудия прямой наводки открыли ураганный огонь. Стреляли отовсюду — с холмов, с курганов, из балочек и кустарника. С того берега ухали дальнобойные. Два танка в первую же минуту вспыхнули — шалая, то отрываясь от башни, то снова забираясь внутрь, хлопотало веселыми ярко-желтым костром.

Хлебушкин вздохнул.

— Тарас, еще в одном грехе покаюсь: прощальное письмо я написал своей Варваре, пока ты за боеприпасами бега-л. С жизнью, брат, прощайся, заветы разные завещал. Вот, дурень! Бездонная она, жизнь, ежели только верить в нее, ежели только бороться за нее до самой смерти.

Хлебушкин разорвал письмо крест-накрест. Свежий ветер подхватил с кургана мелкие клочки бумаги, понес, закружил над степью.

Танки приближались к Донцу, несмотря на артогонь. Пять желто-землистых с длинными хоботами тяжелых машин, отделившись от общей стаи, веером надвигались на курган. Хлебушкин приложил ребра ладони к губам и голосом, исходящим из самой глубины сердца, скомандовал:

— Братцы, не поддадимся! Приготов...

Визг снаряда прямой наводкой помешал Кузьме договорить. Снаряд разорвался на южном скате кургама, высоко и широко разбрасывая свежестрытую землю. Едва прожужжали над окопом осколки, Хлебушкин поднял голову, прищурился, прицеливаясь правым глазом — сколько еще метров осталось до танков?

— Командуй, Кузьма! — шопотом попросил Лобанюк.

— Рано, потеряи!

Танки медленно, осторожными зигзагами надвигались на курган. Лобанюк стоял у амбразуры окопа, прижимаясь плечом к ружью и держа палец на спуске, не мигая, не шевелясь, покрытый смертельной бледностью, смотрел он на приближающийся танк. Иногда он тревожно и пытливо косился на Хлебушкина, всеми силами души стараясь предугадать по его лицу нужный момент.

Танки приблизились настолько, что уже были видны на них цифры. Лицо Хлебушкина судорожно передернулось, брови поползли на лоб, а глаза яростно округлились.

— Огонь!

Только рот успел раскрыть Хлебушкин, как Лобанюк выстрелил. Пулко, часто затремели броневойки. Танки открыли ответный ураганный огонь. Черные тучи взились с земли к небу. Среди взрывов, визга осколков и шума земли, падающей с высоты, послышался надрывный, предсмертный стон первого раненого. Хлебушкин обернулся в ту сторону, откуда донесся стон. В третьем окопе слева исчезла тонкая шея и каска Кухаркина, расписанная под цвета лета.

— Прощай, брат! — шепнула Хлебушкин. Через секунду он уже снова стрелял. Лобанюк, молча, ничего не слыша и ничего не видя, кроме танков, выпускал пулю за пулей.

Донецкая степь так была окутана дымом и пожарами, такие высокие смоли-

сто-едкие смерчи ввинчивались в небо, такие черные тучи нависли над землей, так премели со всех сторон пушки, что внезапно разгравшаяся гроза была замечена бронейщиками только тогда, когда хлынул крупный летний ливень. Дождевая вода, сразу же принявшая цвет желто-бурной земли, промывая ложбинки на бруствере, потекла в окна. Твердое каменистое дно не впитывало воду. Хлебушкин стоял по колени в воде. Дождь насквозь промочил его.

— К добру гроза, к добру! — проговорил Хлебушкин.

За визгом снаряда последовал новый взрыв. Ливни воды вместе с землей обрушились на бронейщиков. Когда немного прояснилось, Хлебушкин увидел, что дуло одной бронейшки как ножом срезано, а дуло другой чуть выше затвора насквозь пробито осколком. На месте окопа образовалась воронка. Лобанюк, скрытый по грудь в земле, скрежеща зубами, держал над окровавленной головой окровавленные руки.

— Вот тебе и к добру!

— Не шипи хоть теперь, гусак! — Хлебушкин разорвал под своей гимнастеркой нижнюю рубаху, выдернул лоскутья, обмотал товарищу голову и руки, разгреб вокруг него землю.

— Ноги в порядке?

— Вроде ничего.

— Тогда давай за мной.

— Куда ты, Кузьма?

— Иди!

Схватив гранаты и сумку с остатками патронов, они перебежали по соединительному ходу, уже заваленному в нескольких местах, в полуразрушенный окоп Кухаркина. Скрючившись, он лежал на дне окопа, окровавленными зубами намертво закусив мокрую землю. Глаза были широко открыты и уже побелели.

Осмотрев бронейку Кухаркина и найдя ее целой, Хлебушкин нагнулся над убитым.

— Не осуди, брат, недосуг нам почести тебе отдавать! — проговорил Хлебушкин, прикладываясь к ружью.

Лобанюк стоял около Кузьмы, подавал патроны. Раненые кисти рук сочились кровью, повязка была сплошь мокрая и патроны красны от крови, — ее не успевал смывать даже ливень. Постепенно руки Хлебушкина покрылись кровью, будто и он был ранен. Перекинув длинный ствол бронейки в безопасную бойницу, он тщательно целился и, не торопясь, спокойно стрелял. Руки размеренно, но быстро, с привычной для кузнеца точностью и сноровкой действовали затвором. Стальной ствол накалился так, что дымился и потихоньку шипел под дождем. Волосы Хлебушкина, ясные, чуть обожженные пшеничной желтизной, потемне-

ли под ливнем. Глаза стали черные, сосредоточенно злые — померк в них обычный, умиротворенно мерцающий свет. Добрая ласковая улыбка исчезла с закусенных губ. Скулы окаменело выступали под кожей. На лбу, над переносицей вздулась жила, по лицу, отчужденному от ярости, струились крупные слезинки дождя.

— Патроны кончатся, Хлебушкин, — предупредил Тарас.

Подносчик боеприпасов Иван Косарик с непокрытой головой стоял на коленях перед амбразурой полуразрушенного окопа и из простой трехлинейки бронейными бил по танкам. Неизвестно, попал ли он по целям, но в его колено прицеленной позе, в том, как он прищелкивался, как прижимал голову к правому плечу, как жарко горели его глаза, — во всем этом сквозило великое усилие.

— Эй, бессмертная душа, — крикнул Хлебушкин, — мчись на перекраву за боеприпасами!

Подносчик выскочил из окопа, замелькал, перебегая по самому гребню кургана. Длинная пулеметная очередь тут же разрезала его пополам. Схватившись за живот, инстинктивно сдерживая то, что оттуда вываливалось, он без стопа ружью вниз лицом.

— Проклятые! — простонал Хлебушкин.

Ливень утих внезапно, как и начался. Сквозь поредевшие, осевшие к земле тучи пожаров выглянуло солнце. Танки снова двинулись на курган, разбрызгивая воду и грязь. Было хорошо видно, как над ними трепетала прозрачная кисея зноя. Средний танк, с белым крестом в черной окантовке, круто развернулся и с грохотом, воем, на самой бешеной скорости двинулся в обход кургана, подставив ребра под пулю Хлебушкина.

— Есть один!.. — вскрикнул Кузьма, и на его темном мокром лице вспыхнула добродушная улыбка.

Тяжелый танк черно дымился. Второй танк, подбитый неизвестно кем, горел у самого подножья кургана. Уцелевшие три танка продолжали неукротимо надвигаться на бронейщиков, непрерывно стреляя. На вершине кургана загорелась земля, подожженная термитными снарядами. Дым и огонь окутали Хлебушкина и Лобанюка. Оба они бросились на дно траншеи, в желтую жижу. Мокрые, с обгорелыми бровями и ресницами, с песком на зубах, снова поднимались, припали к ружью.

Где-то кто-то застонал так, будто у него тянули жилы. Раненый с каждым словом терял жизнь — тише и тише стонал. У Хлебушкина не было времени, чтобы оглянуться. По голосу с многолетней хрипотцой он узнал прощающегося с белым

светом одесского моряка Никиту Самохвалова. Дрогнуло сердце Кузьмы Иваныча. Вот где приходится умирать человеку, плававшему по всем морям и океанам — на кургане, в степи.

Заглушая стон раненого, страшно и отчаянно ругаясь, Лобанюк крикнул:

— Патроны кончились!..

Бронейщик стоял на коленях перед пустым ящиком.

— Ну, как теперь будем стрелять? — кричал Хлебушкин. Он беспомощно отшатнулся от ружья, оглядываясь вокруг, судорожно шаря по карманам.

Лобанюк молча, тяжело посапывая носом, достал из сумки две гранаты, спаренные телефонным проводом и, выскочив из полузасыпанного окопа на бруствер, крикнул:

— Братцы, не посрамай родной земли! Разорвавшийся неподалеку снаряд оглушил Лобанюка до беспометства. Досталось и Кузьме. Очнувшись, он сейчас же потянулся к неподвижному Лобанюку, выдернул у него из-за пояса две противотанковые гранаты и, упав в мокрую, прыгкую дождем ложбинку, пополз.

Танки увеличивались в размерах. Хлебушкину казалось, что он уже чувствует их обжигающее дыхание — заметят или не заметят? Он пополз медленнее, выбирая прямо левую руку и лоджия правую. Солнце светило со стороны Донца, и лучи его, обильно отвечивая в дождевой воде, струились по ложбине, ослепляли немцев, сидящих в танке. Кузьма заторопился. Вдруг танк круто повернул, пошел на курган стороной.

Хлебушкин поднялся рывком, побежал, стремясь приблизиться, вскочить в мертвое, непоражаемое пространство раньше, чем его заметит башенный стрелок. Он разорвал телефонный провод, размахнулся, бросил одну гранату, потом другую на хребет танка. Гранаты летели, а Хлебушкин продолжал бежать. Он очень хотел жить, но еще больше хотел истребить, уничтожить танк. И это желание было таким великим, всепоглощающим, что он забыл упасть, прижаться к земле, и все бежал вслед за танком. К счастью Хлебушкина, под ноги ему попала глубокая рытвина, он споткнулся, упал. В это мгновение и произошел взрыв.

## VII

Косари разбрелись по Гарям. Кто сел под копнами, кто к озеру, к воде подался, кто в ельнике спрятался, ища прохлады. Хлебали холодные, на квасу, с крошенными яйцами и огурцами щи, ели шаньги, витушки, сырные пироги.

Только один Ефим косил. Солнце выкатилось почти на середину неба. Тени стлались под ноги. Между небом и зем-

лею — ни единой птички. Озеро тихое, неподвижное, будто льдом покрыто. С тайги тянет расплавленной смолой и чадом — не горят ли где леса?

— Ефимка! — закричала Варвара.

Он не слышал или притворился, что не услышал. Варвара залюбовалась стариком.

— Эй, Ефим, отдохни маленько!

Ефим подхватил с земли пучок свежей холодной травы, вытер лоб, губы, шею и, приставив черную корявую ладонь ко лбу, посмотрел на озеро. Увидев Варвару, он крикнул так, что слышали всюду — и на берегу, и в ельнике, и в тайге.

— Чего не терпится? Вот дойду до заветного места, ужю приду.

В тайге, на берегу, в ельнике, под суслонами раздался смех.

— Ефимушка, пожалуй на нашу хлеб-соль!..

— Ефим, пожалуй в нашу прохладу!..

Со всех сторон понеслись приглашения. Ефим сделал вид, что растерялся, не зная как ему быть — и косить хочется, и против соблазна не устоять.

— Совратили-таки ко греху! — крикнув, он бросил на плечи косу, зашагал к бабам. Но тотчас же остановился, растерянно оглядываясь, не зная куда идти, кого выбрать.

— Сюда, сюда, — звали из ельника.

Раздвигая ельник, Ефим направился к бригаде Олимпиады. Бабы сидели вокруг серой, сурового полотна скатерти, заваленной снедью.

Обед запивал он брагой уже в другой бригаде — у Татьяны Ромашовой.

Выпив, погладив бороду, Ефим потряс перед бабами пучком мелких цветов. Цветы были сочно-красные, пахучие, пятилепестковые, звездообразные, с золотистой сердцевинкой.

— Хороши цветики, не налюбуйшься! А вы примечали, что почти каждый цветок звездочкой цветет? Звездочкой! Нам сама земля его породила. Как же не радоваться человеку, глядя на него. Немец проклятый на самую матушку-землю покусился, звездочку нашу норовит растоптать.

Сердито положил цветы себе на ноги.

— Растопчи, попробуй! Растопчешь, а на тот год на этом самом месте, слушайка, тысячи звезд покраснеют.

## VIII

Степанида сошла с пароходика на пристань и, предчувствуя удачу, радостно зашагала на рынок. Корзина, полная яиц, и большой тяжелый горшок масла не только не утруждали ее, а наоборот, придавали бодрости. Сколько добра можно выменять! Купить все, что душе угодно. В этот воскресный день на улицах го-

рода было людно. Степанида шла по городу и внимательно, без капельки зависти разглядывала горожанок. Она успевала заметить все — платья, юбки, блузки, туфли, ботинки, платки, шляпы, шарфы, сумки, бусы, брошки. Особенно внимание Степаниды привлекали женщины ее роста, ее телосложения. Выменяй у них платье, в аккурат будет: ни перешивать, ни доделывать. Степанида шла и мысленно примеряла их одежду, выбирая себе по вкусу.

Проходя через скверик, разбитый на привокзальной площади, она заметила высокую, худую женщину в желтом, испачканном и выгоревшем шелковом, с черными цветами платье. Степанида очень любила желтое с черным. Жалко, что шелк поношенный, выгоревший. Да и платье чересчур велико, не по росту. Впрочем казалось, что оно не по росту и женщине. Видно, что сшито еще в добрые дни. За короткое время войны женщина так похудела, что платье висело на ней мешковато, как на палке. Кто она? Видно, эвакуированная: голова покрыта по-дорожному, темным платочком, в руках чайник с кипятком. Каштановые волосы на висках были в скороспелой седине. Старческие морщины прорезались вокруг бледного рта. Глаза темные, проваленные, исплаканные. Степанида пылливо обшарила глазами женщину с ног до головы — нет ли красивенькой брошки, бус, колечка, гребенки? Но ни брошки, ни колечка, ни гребенки подходящей у женщины не оказалось. Зато на ногах ее Степанида увидела необыкновенно красивые туфли: коричневые, с кругленьким, как яблоко, носком, густо промереженные рантом.

Она догнала женщину и, разглядывая ее ноги, сказала:

— Тетенька, мне понравились ваши туфельки. Не променяем на яички аль на маслице?

Женщина остановилась, прислонилась к дереву. Лицо ее в тени белело, как снег. Неподвижными черными глазами смотрела она на колхозницу и молчала, то ли не понимая того, что хотела от нее Степанида, то ли пораженная ее словами.

— Туфельки, сказываю, ваши понравились! Не желаете променять на яички аль на маслице?

— Последние у меня...

Степанида, шурша новенькой, шелковой юбкой, нагнулась, тронула коричневую замшу туфельки, расшитую желтыми шнурами.

— Последние, перемениться нечем? Я тебе свои дам.

Степанида с сожалением оторвала руку от бархатистой, нежной кожи, разогнула ее.

— Маслице свеженькое, вчера сколотила. Яйца тоже свеженькие. — Зажала яйцо

в кулак, выставила против солнца. — Погляди, насквозь светится. А маслице — пошевели носом, понюхай!..

Бережно размотала с горловины горшка сырую тряпочку, открыла желтое, обсыпанное крупшой росой масло, как можно ближе поднесла его к лицу женщины.

— Говори, сколь хочешь, а потом я скажу, сколь дам. Ну!

Длинная, широкая тень вклинилась между Степанидой и женщиной. Степанида встревоженно обернулась. Перед ней стоял высокий, широкоплечий, в военной гимнастерке без знаков различия, с хмурым лицом человек.

— Здравствуйте, Сергей Алексеевич!.. — заискивающе улыбнулась Степанида, торопливо закрывая тряпкой горшок с маслом.

Сергей Алексеевич похлопал себя по голенищу сапога.

— Степанида Андреевна, может быть со мною обмен устроим, а?

— Пошутила я, товарищ Корчагин.

— Слыхал я ваши шутки, слышал! Как вы попали в город в такое время?

— Хлебушкина отпустила.

— Спекулировать отпустила? Колхозница молчала, опустив голову и теребя край кофты.

Корчагин положил на плечо женщины руку.

— Вы были на эвакупункте?

— Нет, мы только приехали.

— Идите на Некрасовскую, 12, там вас и покормят, и постель дадут. Видите белый трехэтажный дом на углу? Сверните вправо, а там спросите.

— Спасибо, товарищ! — сквозь слезы проговорила женщина.

Корчагин проводил женщину глазами, потом обернулся к Степаниде.

— Ну, товарищ Трофимова, чего ж ты стоишь? Иди, торгуй!

— Сергей Алексеевич, я... я...

Корчагин вынул белый металлический портсигар, взял папироску и, гневно разминая ее, с жалостью и безразличностью посмотрел на Степаниду.

— Муж на фронте кровью обливается, а ты... ишь как разоделась!

— Свое добро, не краденое! — вдруг со злобой проговорила Степанида, хватая корзину с яйцами и горшок с маслом. — Варька Хлебушкина как одевается?

Степанида взвалила на плечо поклажу и, поскрипывая новенькими полусапожками, сутулясь, пошла к пристани. Корчагин молча, хмуро смотрел ей вслед.

## XIX

Медленно, никуда не спеша, наслаждаясь тишиной тягучего северного утра, Антон шел среди сверкающих росой хлебов, по черной тропинке, политой дождем. Куда выведет тропинка? Она спряталась

в сырую прохладу лиственной тайги, весело побежала по сухому хрусткому косо-гору, под соснами и, раздольная, пахучая, врезалась в вековую липовую рощу. Липовый цвет, сорванный ветром, золотым снегом покрывал землю. Между деревьями-великанами, виднелся разлив никогда не кошенной травы. Посреди поляны, под привольным солнцем росла вековая липа, окруженная буйной порослью. Своей красотой она напоминала Антону строгую, неприступную, милую Павлу.

Тропинка вывела его в непроходимые малинники и оборвалась, расколовшись на несколько тропочек. Антон пробился в самую чащу малинника, примял несколько кустов, лег на спину, разбросал руки, радостно самому себе заулыбался.

Утих шорох, поднятый Антоном, и в малиннике снова запорхали, запели на разные голоса птицы. Перелетали с куста на куст, лакомились и пели. В устоявшейся тишине было хорошо слышно жужжание пчел над липовой рощей. В предчувствии того, что ждало его на фронте, Антон всей душой предавался сейчас тишине и аромату тайги, свету и ласке солнца, песням птиц. Приезжая каждую весну к матери в приднепровскую деревню в отпуск, он любил тихими зорями забираться в самую глушь терновника. Притаившись, часами слушал он соловьев, кукушек, жужжание пчел, шуршанье ящериц, любовался кудряшками молодых листочков, белокрылыми стадами облаков, странно отбывающих по безбрежному южному небу.

Другое небо здесь, — северное, хрустально прозрачное; вместо днепровских желтых лиманов — горы, озера, тайга. Но как все это не южное близко сейчас ему, дорого, мило, как полубог он, как спрощенся с суровым прекрасным севером! Только тут, на берегах поднебесных озер могла родиться гордая в своей простоте Павла. Антон зажмурился и, не переставая улыбаться, думал о том большом счастье, каким будет наполнен каждый день его жизни. А война? А разлука? Нет, никакое расставание, никакое время, ни всё то тяжелое, страшное, чего так много было и, очевидно, еще много будет на фронте, не помешает быть ему счастливым! Самой жизнью, а не случаем предназначена ему Павла...

Ну и девушка! Только с тем она будет ласковой, покорной, тихой, кто наполнится такой же силой и светом, как она сама. Ничем другим ее не покоришь. Теперь это так ясно.

...Тропинка вывела Антона на опушку, с которой открывался вид на Гари. Опрямное пшеничное поле было уже больше чем наполовину выкошено и уставлено суслонами. Солнце склонялось к Оленьим горам.

Антон залюбовался дружной работой косарей. Ему нравилось, как косила гудряво-черноволокосый, кудряво-чернобородый кражистый старик. Ни на кого не глядя, ни с кем не разговаривая, он отваливал глыбы пшеницы, на полную косу вглубь, сажени на полторы в шпирину. Как рыба в воде, выблискивала в пшенице его литовка. Нравилось Антону и как косила горбушей, — криво поставленной косой с кривым, коротким чернем — Марья Павловна Хлебушкина: согнувшись почти вдвое, она привычно, ловко прокладывала дорогу в пшеничной щелине. Нравилось Антону, как жали серпами человек десять пожилых, в темных одеждах женщин: выстроившись в ряд, молча, без чьей-либо команды, они одновременно загребали горсть пшеницы, коротким, с протяжкой, ударом серпа подрезали ее под корни и, взметнув горстью у самого лица, будто вдыхая аромат спелых зерен, бросали пшеницу под ноги. Другие женщины подхватывали горсти, вязали снопы, складывали в суслоны.

Но больше всех нравилось Антону, как косила Павла. Размахивала она литовкой по-мужски широко, под самый корень захватывая густую, завилую в кудри пшеницу. Темнопелельный брусок, прикреплённый на поясе, колыкался, ударяя ее по животу. Пшеница, прежде чем упасть, чуть покручивалась. Литовка сверкала своим белоснежным жалом, переливалась лучами так, что больно было смотреть. На мгновение Павла приостановилась, чтоб поднять и выбросить темнеющий в пшенице камень — и коса тотчас превратилась в простой кусок железа. Озеро, тайга, Оленьи горы померкли, потускнели. Взмахнула Павла литовкой — и все заново воскресло, ожило, засверкало, загорелось. Щеки ее, уши и рот, шея и оголенные руки румяно вспыхнули. Теперь, наблюдая ее в труде, он особенно ясно видел, как прекрасна Павла. Оттого и руки у нее такие крепкие, с широкими кистями, мускулистые в предплечье, что она привыкла действовать косой, лопатой, молотом, вилами, прабами. Оттого так легко, быстро, густо выступает румянец на ее щеках, что кровь никогда не застывает.

Антон смотрел на Павлу с новым приливом любви, обрадованный заново открывшейся ему красотой. Впервые в жизни, казалось ему, он видел такой ясный высокий лоб, такие сочные губы. У других женщин были, часто, хороши только губы или глаза, а у нее было все хорошо: и голос, и усмешка, и рост, и волосы, и веселый прищур голубых глаз, и светло-каштановые редкие родинки на обнаженных руках.

— Здравствуй! — Олимпиада приманчи-

во помахала Антону платком. — Ну как, хороши наши Гари?

— Чернобровый, поди сюда! — окликнула его Марья Хлебушкина.

Антон подошел. Марья стояла в том согнутом, почти ползающем положении, какого требовала горбуша.

— Сынок, поедешь на фронт, расскажи, как кормилицы тут стараются, как не больно легко хлеб бабам достается, какой мужики едят на фронте. Скажи, слушай-ко, не балуем мы тут, а весь день в землю глядим. На задривке скоро мозоли выскочат, неба от зари до зари не видим. Расскажешь?

— Расскажу, мамаша, расскажу.

— Ну!.. А теперь подь в холодок, приядь, да оттуда и поглядывай, как бабы воюют серпами да горбушами.

— Мама, чего жалеешь такого великана? — с насмешкой сказала Олимпиада. — Давай-ка его сюда, пущай помогает!

Улыбаясь Антону, как родному, любимому, молодушка протянула литовку.

— Попроубь, товарищ Черешня! — не попросила, а приказала она своей улыбкой.

Он взял литовку (черенок был горячий-горячий), размахнулся — коса с радостным звоном ударилась о пшеничную целину.

## XX

Солнце скрылось за горы. Из тайги потянуло прохладой и сумерками. Давно пропали комары и умокли птицы. Затепелился огонек в горах, зажглась первая звезда. Кончился трудовой день и у косарей. На дне высохшего озера вырастали костры. Многоструйное пламя, раздвигая темноту, освещало Гари, покрытые суслонами. Только в самом центре поля стоял небольшой островок невыкопшенной пшеницы.

— Вишь, какое дело, — забормотал Яков Степанович, держа подбородок на вересковой кляке, — это же чего такое? Так, так, честь по чести!

Косари вокруг костров притихли. Наступила та тишина, в какой Яков Степанович любил говорить.

— Ну, колхозники, теперь поняли, как пошибче мужиков с фронта вернуть? Ежели мы всегда вот так, в одно сердце робить станем, то, слушайте-ка, не выползти германцу с советской земли ни живым, ни мертвым. Верно, не выползти! И никакой нам черный день не страшен. Только ежели в одно сердце будем жить.

Яркое пламя отраженно струилось по редким волосам Якова Степановича.

— Ну, еще что скажешь, или теперь моя очередь? — спросил Ефим, выходя на светлый круг костра.

С гиканьем, в подсученных портках, он

кинулся в пляс, отбивая чететку черными одубелыми пятками. Плясал он, насвистывая и песенно приговаривая, с одинаковой ловкостью и в большом кругу, и на крохотном кружочке срубленной сосны.

...У тлеющего костра сидела Марья Хлебушкина и те, кого не веселили ни песни, ни танцы, ни забавы Ефима. Бабы и молодухи вели разговор о самом задушевном. Начали разговор с того — «будет завтра дождить или нет», а сблизись на повседневную свою печаль — на мужей и сыновей.

— А чего-ка наши мужики в такую ночь подедьвают? — спросила Марья Хлебушкина.

— Известно что — воюют. Штыком? Пулей? В лесу? В поле? А может спят в окопах?

— Мужик мне пишет, — проговорила Ульяна, убаюкивая на коленях ребенка, — немчурато ночи боится, так наши его и ночью бьют.

Морщинистая, с жарко тлеющими глазами Марья прижмурилась.

— Вот, днем и ночью они рук не покладают, мужики-то наши, а мы все жалуемся, все нам тяжело.

Серафима Рублева жалобно вздохнула:

— Не знаю, как оно другие бабы, а я каждую ноченьку своего Алешу во сне встречаю: худой такой, желтый, скулы землей покрыты. Изныла я вся без него. Не жизнь, а присуха. Какая жизнь без хозяина?

— Вот враг навязался, будь он проклят! — проговорила Марья.

Все долго молчали после ее слов.

Евдокия, мать Степаниды, расчесывая остатки маслянистых выпадающих волос, злобно усмехнулась.

— А я вот чего скажу. Кабы не Варька, нам бы куда повольготнее жилось! Мой Андрей второй раз с немцами воюет. Так в ту войну я только и знала, что тужила. А теперь и тужить недосуг за работой. Строга она больно стала, ой как строга, Варька-то!

В тайге завывла какая-то ночная птица. Марья подняла голову, посмотрела на тайгу.

— Вот враг немец навязался, будь он проклят, — проговорила она и перекрестилась черной рукой. — Эх, вот после войны заживем! В два-три года все свои дела догоним до прежнего верха. А потом, потом...

— Чего будет потом? — насмешливо спросила Евдокия.

— Все богатство наше советское на всех своих людей станем тратить: и хлеб, и мясо, и железо, и уголь, и все, все... Без войны до самого проба доживем. Понимаете, без войны всю жизнь! А может еще и нашим ребятам достанется мирная жизнь. Достанется!



Мягко, неслышно вырезалась из темноты в черном платке и черном платье Василиса. Подошла к тоскующим женщинам, послушала, о чем говорят они, поспешно скрылась. Марья кивнула ей вслед, усмежнулась.

— Испугалась деваха семейного разговора.

— Какой страх? Может завидно, — усмежнулась и Татьяна Ромашева. — Вот у меня восьмеро, девятый заказан... — она бережно положила обе ладони на пополневший живот. — От мужика три месяца, год весточки не будет, а я вот ни на столечко не позавидую Василисе. Страшно одной теперь, ой как страшно.

Из темноты, куда не достигало пламя костра, откликнулся голос Прасковьи Кашеваровой:

— Кто, кто, а вот я — так вам завидую, так завидую!

— Кто это там... Пашка? — спросила Марья. — Какого лешака тебе нам завидовать? Мужик под боком, сердцем по нем не страдаешь, все хозяйство на его плечах.

— Вот оттого и завидую вам, подруги, что он, мужик-то, под моим боком. Все время, окаленный, прощается. Поженились когда, и то не здоровствовался так, как прощается теперь.

Женщины дружно, долго смеялись, подшучивая над Прасковьей. Но больше всех подшучивала над собой сама Паша.

Взлохмаченная, кудрявая, с песней, просящейся с румяных сочных губ, подошла к костру Олимпиада.

— А небо-то! Гляньте, как низко опустилась звездная дорожка: шагни пошире да повыше, и уже на небе будешь.

Женщины задумчиво смотрели в низкое небо, густо засеянное звездами, и молчали. Скоро Гари затихли. Косари заснули на снопах, под снопами, вповалку человек по десять, тесно прижимаясь друг к другу, укрываясь с головой дерюжками, брезентами, шалами.

К спящим женщинам осторожно, робко подошел мужчина. Негромким, умоляющим голосом сказал:

— Паша! Пашенька!

## XXI

Тихая, маленькая, щуплая Серафима возвращалась с Гарей домой. Опять одна, опять лицом к лицу со своей тревогой. Не натворила ли детвора какой беды? Не пришла ли страшная весточка о муже?

В деревне Серафиму догнала Варвара. — Ты почему такая тоскливая, Серафима?

Маленькая, морщинистая рука торопливо приложилась к тощей груди.

— Такая моя доля — тосковать.

— Серафима, крепись, не давай

волю тужности, не давай, голубушка. Держись!

— За чего держаться, Петровна? Где силы-то взять? Куда нам до тебя — экая ты терпеливая, Варька.

— Уперлась я, Серафима, в нее, в тужность, руками уперлась и близко не подпускаю к сердцу. Упрись и ты.

— И то, уперлась, а она все давит и давит. Пошли ты меня, Варя, в бригаду Василисы, у нее всегда ладно и весело. Уважь. Петровна, а то пропаду я со своими телятами да поросятами. Слушаю я их, да и сама реву. Опустит, Варя!

— Серафимушка, давай, голубушка, присядем рядком, да потолкуем ладком.

Женщины остановились, присели на старое, с ободранной корой бревно, много уж лет лежавшее под избой вместо лавки.

— Сама посуди, по-хозяйски: отдам я тебя Василисе, а кого на твое место поставлю? Кого, скажи? Какая ты свинарка, такой негу.

Бледное личико Серафимы зарделось нето удовольствием, нето от смущения.

— Право, такой не найду. Небось уже с тысячу поросят через твои руки прошло. И ни один не пал, не зачах, всех выхолила. Проклятый этот немец насунулся, а то б ты у меня нынешним летом в Москву на выставку поехала, на всю страну прославилась. Ничего, Серафимушка, твоя слава от тебя не скроется. Мы тебя, голубушка, вознесем, дай срок.

Непривычны были такие речи обездоленной, как она сама себя считала, Серафиме. Жизнь не наделила ее ни красотой, ни здоровьем. Обижали Серафиму немало. Дети топтали, а муж все никак не породнился с ней, котя бы ради детей. Частенько упрекал жену за то, что она не пара ему, первому на деревне красавцу. Много лет обижали Серафиму и свои, и чужие люди. Потому-то ее беспрестанно удивляло, беспредельно покоряло всякое мало-мальски ласковое, любовное слово. С тревожным изумлением смотрела она на Варвару — к чему это, к добру ли, к худу, пустилась она в похвалы?

— Знаю, Серафима, тяжело тебе двояться и на ферму, и на ребят. Все понимаю, голубонька, все. Крепко запомни, дружба: чем тебе тут тяжелее, тем твоему Алешке на фронте легче.

— О, Варя! Сил-то моих нехватит на такое.

— А ты попробуй. Может ты и сильная, да про силы свои не ведаешь. Может она, сила-то, тайком от тебя живет в твоём теле. Верно попробуй! Вот люди дивоваться станут. Да и сама себе подивисься.

Серафима горько покачала головой.

— Куда мне!..

— Не приbedняйся, Серафима. Иди отстирайся, на ферме сегодня Карп Петрович один управится.

— Нет, Петровна, я уже на ферму пойду. Детсад ты распустила, и все ребята мои боятся. Боясь я их... своих родных ребят боюсь. Страшнее, чем одной. Ну, опять разжалобилась... Пошла я, Варя.

Свиноферма — новая, высокая, застекленная на все четыре стороны, рубленая, из таких же чистых, добротных бревен, какие идут для долговечных домов — разместилась на таежной раскорчеванной поляне. Серафима перелезла через изгородь, пошла левадой напрямик к ферме. Двери ее с обоих концов были распашнуты настежь. Стены, потолок, клетки — белоснежные, выбеленные известью. Свиньи, породистые англчанки, белые как одна, рыли землю, выгравались на нежарком солнышке, бродили вдоль изгороди, стремясь уйти в тайгу.

— Ну, как дела, Снежинка? — проговорила Серафима, нагибаясь над поросной маткой и прикладывая к ее брюху руку.

Черноглазая, белозубая Снежинка потерлась головой о ногу и тихонько хрюкнула. На голос Серафимы из свинарника вышел старик с седой бородой, в черной жилетке поверх белой дмотканного полотна русской рубахи. В руках, увитых толстыми жилами, он держал вилы с охалдой свежей ржаной соломы.

— Явилась! Ну, отвела душу на Гарях?

— На весь год, до новой пшеницы, Карп Петрович. Прохладно ныне в тайге — в самый раз пастушить.

Карп поднял голову к облачному небу.

— И то, в самый раз погодка. Я уж сам хотел, да ферму не на кого бросить.

— Пастушь, я одна управлюсь.

Старик с сомнением, не сдержав усмешки, оглянул Серафиму с ног до головы.

— Одна? Или силы на Гарях набрались?

Переобувшись из деревянных башмаков в кожаные, старик надел войлочную шляпу, открыл ворота левады и, звонко щелкая бичом, выгнал стадо на волю.

— Петрович, Снежинку не тронь: вроде как час ее настал. Жина, Жиночка, поди сюда, милуша, поди!

Снежинка, подстанывая, поднялась на передние ноги, потом на задние, торопливо, насколько позволяло ее положение, пошла на зов кормилицы. Серафима отвела ее в клетку, подмостила свежей соломы, накармила густой болтушкой из вареного мятого картофеля, отрубей и теплой воды. Пока Снежинка ела, Серафима осторожно скребла ей ногтями между ушами. Опорожнив корыто, Снежинка зарылась в солому и, тихонько похрюкивая, задремала.

Свежий ветер запудел в насквозь распашнутым свинарнике. Беспшумная ласточка вспыхнула в одном конце белоснежного свинарника, угасла в другом. «Ка-

кая ж быстрокрылая!» — с завистью подумала Серафима.

Перед сумерками вернулся со стадом Карп Петрович. Двери клеток были распашнуты, и свиньи с визгом бросились к кормушкам. Старик вытер у порога ноги о соломенный мат, короткими бережливыми шажками вошел в свинарник.

— Молодец, Серафима, не зря денгденской прожила. Ну, как твоя королева?

— К ночи дождикаюсь.

— Ты что ж, думаешь и ночь тут ночевать? Нет, отправляйся домой, я сам управлюсь.

— Верно, Карп Петрович, подежурить один. Ребята у меня ведь дома.

— Иди, не беспокойся.

Серафима вошла в свою ограду, наложила запоры.

— Стой, Серафима, не запирай!

Из хлева вышел Ефим с навозными вилами в руках. Он был босой, шаровары подвернуты до колен.

— Корова рогами уже потолок доставала, так я тебе порядочек в хлеву маленько наводил.

Клузнец, углежог, бондарь, плотник — когда он только успеваet все это делать? Вот бы Серафиме такие руки!

— Спасибо, Ефим. Пойдем в избу.

— Недосуг мне.

Ефим поставил под навес вилы.

— Доброй ночи, козялочка.

Самое страшное для Серафимы время — ночь. Как ни надрывалась вчера на Гарях и сегодня на свиноферме, сон не шел. Дети давно похрапывали и на полатах, и на печи, и на лавке — кого где застигла дрема.

## XXII

Вечером Павла вернулась с' кухни, чумазая с ног до головы. На Антона повеяло от нее силой, дымом костров, копотью, раскаленным железом. В измазанных, черных руках Павла держала свежескованную, с ловеньким березовым чернем рогатину.

— Мама, дай синенький сарафан, пойду на озеро.

Вернулась она с озера новая, помытая, свежая и опять прекрасная — в коротком легком сарафане, с обнаженными до плеч мускулистыми руками, с низко оголенной шеей. Смуглые щеки порозовели от холодной воды. Пошла по горнице своим певучим, похрустывающим шагом, взяла висевшее на стенке ружье, рогатину, трижды обмоталась по талии охотничьим шерстяным кушаком.

— Ну, мама, я иду.

Марья перекрестила зардевшуюся дочь.

— Слушай-ка, без медвежьей шкуры не повертайся.

Антон решительно поднялся, надел фуражку.

— Я тоже с тобой, Павлуша, — твердо сказал он.

— Иди, — ответила девушка. Помолчав добавила, — может тебе рогатину дать? Держать-то ее умеешь? Ты, поди, и слыхом не слышал про рогатину, и видом не видал?

— Нет, и слышать приходилось, и видеть, и даже в руках держать.

— Поди ты!

Но в глазах ее, заметил Антон, не было уже ни прежней заносчивости, ни власти.

Овсяной скирд стоял посредине большого, отлогого поля. Со всех сторон его окружала тайга — хвойная и лиственная. Верхний конец поля пересекала хорошо накатанная дорога. С боков лежали глубокие, с отвесными краями голостенные луга. Медведи могли выйти и уйти только нижним концом поля. Овсяное жнивье подходило к самым соснам — тут лежал толстый ковер травы, прошлогодних листьев, шишек. Дальше гудел ручей, остро пахло сыростью. По ту сторону лежал многолетний валежник. Оттуда несло осенним холодом, прелью и, казалось Антону, медведями, волками. Вдоль ручья была устроена засада. Ефим побывал здесь днем, все высмотрел, все что надо сделал, и Павла привела Антона на все готовое.

— Ну, залезай, — сказала она, кивая на высокую сосну, где поверх первых сучьев было устроено из веток охотничье гнездо — лапаз.

Антон вскарабкался по толстому узловатому стволу сосны, прилег на тесное, неудобное ложе. Оно было узкое, короткое — вытянутые ноги не помещались, руки то и дело срывались с краев лапаза. От ручья тянуло сыростью. Ветви на постели были пихтовые, но и они своим мятно-терпким ароматом не могли заглушить неприятный запах старого разлагающегося леса. Антон растер веточку пихты, понюхал пальцы.

Павла перекинула через плечо ружье, схватила березовый черенок рогатины в зубы, быстро, ловко вскарабкалась наверх. — Подвинься!

Положив рогатину под правую руку и сняв ружье, она поджала под себя ноги, обдернула сарафан на коленях. Антон сел, тоже поджав под себя ноги. И на лапазе стало сразу уютно, просторно.

Павла поднесла руку ко рту, сделала что-то с губами — над лесом разнесся тоскливый голос кукушки.

— Ку-ку... ку-ку... ку-ку... — откликнулось в одном, ближайшем от ручья месте и в другом, дальнем, и в третьем, на овсяном поле, со скирда...

— Теперь сиди тише воды, ниже травы, — шепнула Павла.

Легкий ветерок качал нестигаемые длинные, нешелестящие, будто железные, ветви сосны. По небу кое-где были раз-

бросаны бледные, еле светящие звезды. На одной с ними высоте горел в горах огонек. Антон, не отрываясь, смотрел на него. Кто его зажигает? Кто живет так высоко, под самым небом?

— Кто там живет? — спросил он.

— Тише! — толкнула его Павла. — Где-ка, про чего спрашиваешь?

— Вон там, где огонек.

— Овечьи пастухи. Ферма там у них.

— А зачем огонь горит от зари до зари?

— Ежели волки, медведи или еще чего поживится. И человек может с человеческой дороги сбиться. Потухнет огонек — сторожа тревогу на деревне поднимут.

— Не потушал еще никогда?

— Не доводилось.

Антон замолчал. Умолкла и Павла. Она поглядывала на него и, казалось Антону, умоляла его спросить еще что-нибудь.

— Тебе не холодно? — спросил он.

— Нет. А ты забнешь, что-ль?

— Сыро.

Павла подала ему шерстяной охотничий кушак.

— А тебе?.. Не надо, — запротестовал Антон.

— Знай бери. Мой брат Кузьма, так он раз вовсе голорукый на медведя пошел. Вот медвежатник был, да!.. С ружьем выйти на медведя? Нет. Он все с рогатиной, все один в один норовид сойтись. Перед тем, как уйти ему на войну, тридцать лет выхлестало, а убил он двадцать четыре. Все жалел — не довелось уравнять.

— Павла, а ты медведей убивала?

— Я девка. Какой с девки спрос?

Антон потрогал пальцами холодный плоский штык рогатины с мелкими, как щучьи зубы, зазубринами.

— Вот такой рогатиной, Павлуша, ты мне сердце рвешь.

Девка покосилась на него, усмехнулась.

— Разве не мое оно, твое сердце? Что хочю, то и делаю.

Антон молча, жадно схватил Павлу. Она непокорно отстранилась.

— Постой. Слова заветные скажешь?

— Скажу, Павлуша, скажу. Люблю тебя. Поедем со мной на фронт. Я тебя...

— Ну вот, так бы и давно сказал. Вся твоя я, Антон. Разлука мне страшна была.

На верхнем конце овсяного поля, на побуревшем небе показался красно накаленный рог месяца. Темнота уползла в тайгу. Засверкало медно-холодным светом жнивье. Каждая капля росы засеребрилась в траве. Проступили кусты, белый, в морщинах камень, связка веревок под кустом, лезвие топора. Свет месяца изменил и лицо Павлы. Большие голубые глаза покорно тихо и радостно струили мягкое тепло. Сочные губы, никем и никогда не целованные, полуоткрылись, обнажая крепкие влажные сияющие зубы.

Лицо ее было так нежно, так ласково, так радостно, что хоть не было на нем улыбки, казалось, оно улыбается.

С той стороны ручья, откуда тянуло осенним холодом и прелью, донесся осторожный хруст сухих веток. Павла вздрогнула, но глаза ее спокойно вглядывались в непроницаемую для месяца темную чашу тайги. Большоголовый, на высоких ногах, из чащи показался наполовину освещенный медведь. Его черная, блестящая, с гладко прилизанной шерстью морда была вытянута. Обернувшись, медведь осторожно хрюкнул, двинулся вперед. Вслед ему покатались двое круглых медвежат и медведица. Вожак провел свое семейство далеко от сосны, где сидели Павла и Антон.

На светлом, видимом из края в край, выкопленном поле медведи осмелели и галопом, обгоняя друг друга, побежали к развороченному скирду. Не добежав, вожак остановился, почуввав что-то неладное. Но было уже поздно. Грянул один, другой, третий выстрел, и вожак с коротким ревом упал на землю. Медведица взвилась на дыбы, повернула назад и понеслась в тайгу. Часто оглядываясь на бежавших за ней медвежат, она бежала в ту сторону, где среди темнозеленых пихт серебрились молоденькие березы, туда, где недавно куковала дальняя кукушка...

Вернулись домой еще до рассвета. Медвежатники свернули к Харитону, где обычно свеживали зверя, а Павла и Антон пошли домой. Марья не спала. Тщательно умытая, аккуратно причесанная, она щипала березовые лучины. Внимательно оглядела вошедших.

— Чем не пара? — Антон улыбнулся.

— Не радуйся, парень. Такую девку еще надо заслужить. Мои дочери и сыны встречных и поперечных не выбирают!

Марья собрала с пола рассыпанные лучинки, положила их под сложенные в печи поленья. Зажгла спичку, но не поднося ее к лучинам, спросила:

— Слушай-ка, сынок, скоро на фронт вернешься? Успею шубу изладить на твой рост?

Павла просто, удивительно просто для такой великой минуты сказала:

— Мама, мы вместе на фронт уезжаем.

Марья выронила обугленную спичку, сердито поплевала на обожженные пальцы.

— Я так и знала. Бросаешь? Ну и ладно, иди! Думаешь, пропаду одна? Думаешь, зачахну?

Новой спичкой подожгла дрова, кряхтя и охая, села на лавку, по-старушечьи скупно заплакала, сквозь слезы благословляла:

— Что ж, иди, дочка, иди — твой час настал.

## XXIII

У тихой речушки, берега которой заросли одичалой рожью, под знойным небом лежали бронебойщики Кузьма Хлебушкин и Тарас Лобанюк. Третьи сутки не слышно и не видно было вражеских танков, ради которых они здесь затаились, и друзья разрешили себе недозволенное: Кузьма разделся, выкупался, а теперь на охапке вырванной с корнем ржи блаженствовал под жарким солнцем. Тарас Лобанюк дежурил у ружья, поглядывая в ту сторону, откуда должны были появиться и не появлялись танки. Иногда он с угрюмой, но в то же время и доброжелательной усмешкой косился на своего друга.

— Лобанюк, слышал, месячную побывку домой дали Сидорову? Знаешь, за что? За то, что он уничтожил танк горючей жидкостью. Понял? Вот бы нам с тобой побывку заработать, а?

— На кой чорт мне сдалась твоя побывка. Куда я пойду? Немцу в пекло?

Хлебушкин умолк. Сорвав василек, понюхал его, прижал к губам. Долго лежал он так, раскинув руки, с цветком во рту, таинственно улыбаясь тому, что видел в ясном небе летнего полдня.

— Если бы ты знал, Тарас, — доверительно проговорил он, — как я измучился на войне, как истосковался по жене, по дому!

На равнине, там, где небо сходилось с землей, неожиданно, 'словно' гром с ясного неба, ударили пушки. Снаряды пролетели над речкой и разорвались позади бронебойщиков, где-то за боевыми порядками пехоты.

— Идут, — угрюмо промолвил Лобанюк, изпод руки тревожно вглядываясь в солнечную даль.

Кузьма Хлебушкин как был голый бросился на огневую позицию, лег к ружью.

Перевалив гребень, по степным дорогам, стекающим с юга на север, окутанные по самые башни пылью, мчались немецкие танки. Место, где лежали бронебойщики Хлебушкин и Лобанюк, было самым тихим на этом участке фронта; направление удара немецких войск после нескольких дней наступления сместилось резко влево. Противотанковая засада была посажена здесь на всякие неожиданные, негаданные случаи, каких на войне, как известно, несчетное количество.

Кузьма торопливо, с горячностью кузнеца, привыкшего поспевать за огнем, зарядил ружье, навел его на ориентир № 3 с дистанцией в четвереста метров. По дороге мчались два танка. Прорвавшиеся тяжелые машины были не штурмовой ксанной, а просто легучим диверсионным отрядом. Поняв это, Кузьма действовал теперь неторопливо, степен-

но, уменьшил прицел до двухсот метров и, не спуская глаз с ориентира, ждал появления цели. Глянцевитые голые плечи Хлебушкина сверкали на солнце. С мокрых, нерасчесанных волос капала вода. Резиновая, амортизационная подушечка на прикладе ружья глубоко вошла в мякоть плеча.

Головной танк, счастливо проскочив огневую завесу противотанковых пушек, поравнялся с полумертвой, старой ветлой, одиноко доживавшей свой век на перекрестке дорог, круто повернул вправо, с явным намерением раздавить затаившуюся во ржи истребительную батарею. Хлебушкин, подождав, пока острый угол между ним и танком несколько притупится, выстрелил раз, другой и третий. Целился он в облюбованное, в самое уязвимое место, — в борт и баки с горючим. Известно, от какого выстрела, но танк сначала жиденько, а потом черно и густо задымился. Лобанюк приготовил автомат. Сейчас машина остановится, откроются люки и из танка покажутся немцы — заморенные, чумазые, умоляющие о милосердии.

Но танк не остановился, люки не открылись. Вытянув длинный, желтый хобот, обвятый дымом и пламенем, потрескаемый рвущимися внутри снарядами, танк мчался по тому курсу, какой задан был ему еще живыми немцами. Проскочив расположение батареи, танк прыгнул с круглого берега в реку — огромный прохлывающий столб воды и пара взвился к небу.

Второй танк на полной скорости приближался к перекрестку. Пушки молчали. Молчал и Хлебушкин. У старой ветлы машина остановилась, очевидно, немцы раздумывали, куда выгоднее повернуть. С гусениц осыпались черные комья земли и трав. Темное жерло пушки дымилось. Глазок пулемета прощупывал ржавые заросли.

— Стреляй, Хлебушкин! — с зубным скрежетом простонал Лобанюк.

— Молчи! Бери бутылку!

Танк двинулся вдоль реки, по дороге, неподалеку от которой лежали Хлебушкин и Лобанюк. Он уже настолько приблизился, что на башне был виден желтый крылатый дракон. Хлебушкин не стрелял. Голое его тело дрожало — то ли от страха, то ли от напряжения, то ли от боязни упустить такую добычу. Танк прогрохотал мимо, обдав бронейщиков удущивым запахом прогорклого масла и жаром.

Хлебушкин и Лобанюк вскочили одновременно и, пробежав несколько шагов вслед за танком, бросили в моторную группу бутылки с самовоспламеняющейся жидкостью. Резкий звон стекла — и на корме вспыхнуло желтое, буйное пламя. Танк, почувствовав смертельную угрозу,

ринулся вперед, набрал бешеную скорость. Он резко менял направление, бросаясь то влево, то вправо, стараясь сбросить с себя пламя. Огонь надежно, смертельно оседлал его. Задохнувшись, танк остановился. Открылись башенные и лобовой люки, к небу потянулись черные, в перчатках руки, а потом показались полудобгоревшие лица немецких танкистов. Соскочив на землю, не опуская рук, немцы отбежали от танка, где уже взрывались боеприпасы.

Хлебушкин, босоногий, голый, с автоматом в руках, подбежал к танкистам.

— Что, напоролись!

Немцы с ужасом смотрели на голого русского человека.

Со стороны реки донесся гул мотора. Звонко перебрав колесами бревенчатый настил моста, на дорогу вылетел маленький вездеход. Он промчался мимо старой ветлы на перекрестке и остановился перед пленными. Из-за руля выскочил с холодной трубкой в зубах полковник. Будто не замечая пленников немцев, он смотрел на Хлебушкина.

— Что это такое? Почему голый?

Кузьма опустил автомат и, перепугавшись, некстати приложив к непокрытой голове руку, пробормотал:

— Товарищ полковник, я... я... — он умолк, окончательно растерявшись.

Лобанюк, ухмыляясь, кратко и ясно доложил обо всем, что произошло.

Трубка затряслась в зубах полковника, и весь он с ног до головы затрясся от смеха.

— Эх ты, воляк! Хотел тебя сразу же на месте подвига наградить, а ты голый, оденься сию же минуту!

— Слушаюсь! — радостно пробормотал Хлебушкин и со всех ног бросился на огневую позицию одеваться.

— Товарищ полковник, — виновато проговорил Лобанюк, — Побывка для Хлебушкина дорожке награды...

— На побывку? Ну, что ж, можно. Оба заслужили.

— Я не о себе, товарищ полковник...

#### XXIV

Варвара в полдень уехала в горы на ферму и пробыла там до вечера. Вернулась поздно. Старая изба, построенная еще дедом, выделялась своей чернотой даже среди темной ночи. Как пусто внутри, какой нежилкой дух! Калитка с белой подковой вместо ручки жалобно и тоскливо взвизгнула. «Смажу завтра дегтем» — подумала Варвара, заходя во двор. Шишка не встретила хозяйку. «Бедная животина, и ей горько одной: бежала куда-нибудь порезвиться». Ступеньки крылечка закрипели. Редко, редко прикасается теперь к ним нога человека. Дверь в избу была не заперта, даже не наживлена на петельку. Варвара задер-

жала руку на скобе, задумалась — забыла сама запереть или кто похозяйствовал без нее? Вошла в избу, и пораженная, остановилась у порога. В горнице кто-то был. И не женщина, не ребенок, а мужчина. Не голосом, не шумом, не лицом выдал себя, а дыханием. Он лежал в темном углу, на лавке и сидно, глубоко, равномерно, должно быть во сне, дышал. Кто это — неужели Кузьма?.. Она сделала два шага по направлению к темному углу и остановилась, замерла, прислушиваясь, угадывая — Кузьма или не Кузьма? Дышал он со знакомой приятной хрипотцой в горле. Варвара вытянула руки, готовая плакать и смеяться от радости, бросилась в темный угол.

— Кто тут? — закричала она.

— Я это, я — откликнулся спокойный насмешливый басок.

Дрожаящими руками Варвара зажгла огонь. На низкой ясеневой лавке сидел пожилой, светловолосый мужчина; маленькие, близорукие его глаза насмешливо прищурились. Протирая платком круглые очки, он смотрел на Варвару. Любила Варвара этого человека, очень была рада его приезду, но до слез оторчилась, что это был Корчагин, секретарь обкома партии, а не дорогой ее Кузьма.

— Что, обозначась? — спросил Корчагин своим насмешливым баском и громко рассмеялся. — Похозяйничал я тут без тебя, прошу прощения.

Варвара, как ни была огорчена, ответила смехом на веселый смех.

— Чуть не обозначась. Слава богу, вовремя спохватилась. Здорово живете, Сергей Алексеевич!

Он притянул Варвару к себе, обнял за плечи и сейчас же легонько оттолкнул:

— Здравствуй, здравствуй! Ну, как живешь?

Варвара села на лавку рядом с Корчагиным, радостно глядя ему в глаза, все выложила, чем была счастлива.

— До последнего волоса выкосили, Сергей Алексеевич. Поверишь, до последнего — и рожь, и овес, и ячмень, и пшеницу. Как только управились, диву даюсь.

— Так оно и должно быть, чего хвастаешь зря! — маленькими веселыми глазами лукаво покосился он на Варвару поверх очков.

— Скупой ты, Сергей Алексеевич. Так мы уже старались, так старались, а он и единым словом не похвалил.

— А ты щедрая? Зубы гостю заговариваешь, а кормить не кормишь.

— Какая я недогадливая. Смилуйся, Сергей Алексеевич, прощения просим...

Варвара схватила чашку, тарелку, нож, солонку, пустой стеклянный курганчик, наложив в фарлук яиц, достала с печи грибов, выбежала из избы.

Ослесским, любовным взглядом прово-

дил Корчагин Варвару. Много в Оленьих горах живет таких вот его сердечных друзей, как Варвара. Многие он любил, но Варвару любил особенно. Любил за ее веселость, за то, что она, будто век к этому готовилась, умела управлять колхозом. Любил за то, что большую деревню Посад, когда-то глухую, когда-то полумищенскую, сделала довольной, открыла дорогу к богатству. Любил и за то, что она выросла, расцвела на его глазах и при его помощи. Глядя на нее, на колхоз, на его теперешние славные дела, он чувствовал себя как бы косарем, пожинающим плоды своей деятельности. Большого труда и терпения ему стоило найти Варвару, угадать в скромной, малограмотной доярке смелую, энергичную, волевою работницу, какой она стала теперь. Было и недоверие, и ссоры, и грубые промахи. Теперь, в разгар войны, когда большинство мужчин ушло на фронт, он щедро вознагражден; его Оленьи горы всего давали в изобилии. Даст и в будущем году, потому что почти в каждом колхозе есть своя маленькая или большая Варвара. Пока есть такие люди, как она, в Оленьих горах не иссякнет щедрый источник жизни.

Варвара вернулась с дымящейся на сковороде яичницей с грибами, залитой маслом, и запотевшим холодной росой курганчиком, полным молока.

Корчагин радостно потер руки.

— Ну, Варвара, предупреждаю: все съем. Он некоторое время молчал, занятый едой. Утолив немного голод, спросил:

— Пахать начала?

— На той еще неделе. Никто в Оленьих горах раньше нас не вспашет.

— Любишь ты первой быть! Ну, да ладно. Под сахарную свеклу тебе надо первой вспахать зябь. Без украинского сахара, сама знаешь, плохо. Я пудиков десять свеклы на днях пришло, так ты пирогов с ней напек, соков надави, сиропу. Пусть знает народ, какая она, свекла-то. Вкус надо привить. Вспашешь?

— Вспашу, как не вспахать. Со своим сахаром, стало быть, на тот год бражку будем пить?

— Выпьем, ежели вырастишь.

— За нами дело не станет. Ешь себе, ешь, Сергей Алексеевич.

Он ужинал, а Варвара молча, с ласковой улыбкой смотрела на него, на его худощавое тело, на лысеющую со лба, светловолосую голову, на стареющее большегубое лицо. Всем лучшим, что было в жизни Варвары, она обязана Кузьме Хлебущкину и вот этому человеку.

Время за разговором прошло быстро. На деревне испуганно и радостно прокричал петух.

— Вот, до петухов просидели, — сказал Корчагин. — Утром разбудишь, машина в «Пятилетке» меня дожидается. Уморил я тебя.

— Смотри, такую уморишь...

Корчагин положил руку на руку Варвары. Улыбка исчезла. Привычно-веселая, лукавая усмешка в близоруких глазах заменилась глубокой серьезностью. И такого Корчагина любила Варвара. Смотрела на него поспрежнему ласково и ждала каких-то очень важных для себя слов.

— Слышала, у твоих соседей почти все пшеничное поле гроза на землю уложила. — Слышала. Земля у нас с иванцовскими одна, под одним небом живем, одинаковым зерном по весне сеяли, разом нас гроза благословила, а вышло — у нас полные закрома хлеба, а у них — полушорожные. Все они, колхозники наши, кормильцы народные сотворили!

Корчагин с восхищением смотрел на Варвару. Как это справедливо, удачно сказано — кормильцы! Он, как никто другой, знал, насколько это было справедливо. Осенью и весной Корчагин собирался по области увеличить посевную площадь по меньшей мере наполовину. При резком уменьшении тракторов, мужской рабочей силы и лошадей, посев все-таки надо было увеличить. На что же он надеялся? Он глубоко верил, что такие люди, как Варвара, сделают невозможное, сотворят чудеса.

Корчагин крепко обнял плечи Варвары.

— Молодец, Варя! А соседям надо помочь. Слышишь? Специально к тебе за этим приехал. Не поможем — пропадет хлеб. На будущий год, если сами не управятся, пусть пеняют на себя.

Варвара спокойно высвободилась из объятий друга, усмехнулась:

— Сергей Алексеевич, боюсь я, взносятся наши колхозники. На лодырей работать нас подбиваешь, скажут. Взбунтуются.

— И правы будут, если взбунтуются. Уговори!

— Чем уговаривать-то? Лютая злость у меня на лежебоков, а ты просишь помочь им...

Корчагин сокрушенно сжал губы, растерянно развел руками.

— Ну и ну, Варвара, вот так сказала! А я, признаться, думал, что ты уже вполне созревший государственный человек. Варвара Петровна, поднимись над своим колхозом, поднимись над соседским, посмотри на нашу землю с высоких гор!..

Варвара нагнула голову, нахмурилась. Свет наступающего дня не зажег ни единой искорки в ее потемневших глазах.

— Твоя правда, Сергей Алексеевич. — Варвара тяжело вздохнула. — Ладно, уговорю.

— Ну, вот!.. — улынулся Корчагин. — Как живет Степанида Трофимова?

— Цветет! А что?

— В гости к ней собираюсь сейчас пойти. Пошли вместе.

## XXV

По каменистому большаку Оленьих гор, щедро омытому теплым ливнем, шли два солдата, два фронтовика — Кузьма Хлебушкин и Тарас Лобанюк. У обоих на груди было по два лучистых ордена, у обоих за плечами толстые, поношенные котомки, оба усердно опирались на ивовые, с неободранной корой страннически поскожи, оба пристально вглядывались в мир, окружавший их. Кузьма Хлебушкин то и дело весело вскрикивал: «Диво-то какое, оглянись, дружок!» Тарас Лобанюк молчал, с утрюмым достоинством кивал головой в знак согласия.

Дорога извивалась среди скал и лесов, по дну ущелья, вдоль пенящихся ручейков, пропадала в лесах, поднималась в гору, опускалась. В каменных колодобинах сверкали незамутненные дождевые лужицы. После грозы небо очистилось от облаков и на востоке выступила летняя радуга. Далеко внизу, на таежной равнине гора многоводная река. Ни на минуту не скрывалась из вида вершина Оленьих гор.

— Ты глянь, глянь, дружок, какое приволье!.. Каждый куст я тут знаю, каждый ложок, каждый камень. Там во-он, над облаками, я пастушил. Вон на тех озерах на лебедей охотился, лесовал, понашему. Эх, Тарас, и погуляем мы с тобой на побывке!

Тарас Лобанюк жадно и молча курил. Чем красивее были горы, чем ближе была цель странствования, тем все мрачнее и молчаливее становился Лобанюк, а Кузьма Хлебушкин — оживленнее и радостнее. Дорога выскочила из лесу, просторно раскинулась по плоскогорью, сплошь синему от мелкокудрявых чайных цветов. Внизу, за кромкой плоскогорья, в неглубокой долине, где радуга одним концом пила из речки воду, открылась небольшая деревушка, утопавшая в садах. Старая мокрая дранница крыш тускло поблескивала на ярком после грозы солнце. Выкупанные сады курились солнечной и росистой дымкой. С пастбищ возвращались забрызганные летней грязью коровы и овцы, оглашая ревом и блеянием зеленые улицы. Там и сям по деревне приманчиво дымились летние очаги.

— Слышишь, Тарас, свежим хлебом деревня пахнет, грибной жаренкой, молоком.

Лобанюк жадно пошевелил ноздрями, кивнул головой. Скуластое его лицо искали густые, старческие морщины. Фронтовики вошли в деревню. У крайней ограды стояла высокая седая старуха с вязанкой мокрого хвороста на спине. Приложив ко лбу ладонь, она тревожно вглядывалась в проходивших солдат.

— Чьи вы, солдатики? — тоскливо, с близкими слезами прохрипела старуха.

— Не ваши, бабушка Христиныя, не ваши!

— Пстой, сынок, дай признать, чей ты есть.

— Недосуг, бабушка, недосуг. Приходи завтра до Кузьмы Хлебушкина.

— К-у-зыка, бог ты мой праведный!.. — ажнула старуха.

Узенская улочка, заросшая кудрявой аистушкой, извивалась по дну долины. На крылечках, у ворот, у раскрытых окон стояли бабы, с тревожной пытливостью глядявывая в шагающих солдат. Кузьма раскланивался налево и направо:

— Здорово, Степанида! Здорово, Настасья Кирилловна!..

Миновали церкви, окольцованную кедрами, с колокольной, полной голубей. Тихий проулок, глухо заросший старыми яблонями, круто спускался вниз, к речке. В конце проулка, среди приволья садов чернел на высоком кедровом цоколе маленький, ветхий домик.

— Вот и моя голубятня, Тарас Петрович!

Перешагнув порог ограды, Кузьма положил руку на плечо своего спутника.

— Забудь дружок, и про войну и про свою Украину, про все забудь — отдыхай душой и телом, набирайся сил.

— Спасибо, брат, спасибо!

Маленький, сплошь черный песик с косматой головой, покрытый рещем, с бешеным лаем бросился навстречу солдатам. Не добежав шагов двух, песик вдруг остановился, поднял косматую голову, и в его маленьких злых глазках вспыхнуло удивление и радость. Завизжав, пес бросился к хозяину, забывчиво, до боли хватая его зубами.

— Пошел вон, псина, — отбивался Кузьма, а у самого на глазах заблестели слезы.

Шишка, не переставая визжать, взрывая землю, бросилась в черный провал распахнутых дверей. Хлебушкин отряхнулся от собачьей грязи и шерсти и виновато скривил рот в усмешке:

— Вишь, собака вонючая, а какие нежности. Все война, Тарас, война!

Внутри деревянного домика, по крутой лесенке гулко послышались торопливые шаги. На пороге распахнутой двери показалась густо запорошенная мукой Варвара, одетая в темносинюю старинную шерстяную юбку и белоснежную полотняную рубаху.

— Варя! — хрипло, надрывно вырвалось у Кузьмы.

— Кузя, голубчик!..

Варвара, спотыкаясь, теряя силы, пробежала несколько шагов навстречу мужу, жадно обхватила его голыми до локтей руками, оппечатывая на груди Кузьмы белый, муцистый след.

Лобанок торопливо отвернулся, тихонько отошел в сторону, разгребая носком

ботинка мокрую землю. Плечи его жалко сутулялись, лицо потемнело.

Кузьма осторожно освободился из объятий жены, повернул ее лицом к Тарасу.

— Варя, вот этот человек — мой самый большой дружок, мой кровный побратим. Приголубь Тараса Петровича, как меня самого. На месячную побывку мы с ним приехали.

— Приголубим!

Варвара озорно засмеялась, дасково глядя на Тараса. Засмеялся и Кузьма. Подобие улыбки появилось на бескровных губах Лобанюка.

Пахучий светлый дымок поднимался из трубы летнего очага. Под навесом ревели недоенная корова. Солнце всеми земными цветами искрилось в прозрачной родниковой струе, выбивавшейся из-под скалы. С озера доносился шумный плеск резвящейся после прозы рыбы. В объятиях жены, на пороге родного дома, вдохнув первый глоток домашней радости, Кузьма Хлебушкин со страшной силой вдруг почувствовал, как измотала, изнурила его беспощадная война, и как он будет счастлив на побывке.

— Все наши живы, здоровы? — спросил он.

— Тебя одного только похоронили: Афанасий Трофимов письмо прислал — поминай, мол, Варвара, своего муженька, собственными глазами видел, как его убило.

— А ведь он верно тебе написал, Варя: нас с ним одной бомбой накрыло. Сознаюсь, я по нем тоже поминки справляла. Ну, Варюш, как маменька поживает? Павла замуж не вышла за какого-нибудь... инвалида?

— Павла, она... Я тебе потом все расскажу. Проходите, товарищ, в избу, чего посреди двора остановились, — сказала она Тарасу.

Хлебушкин снял котомку.

— Ты, Тарас, располагайся как дома, а я скоро вернусь.

— Куда ты, Кузя? — испугалась жена.

— На поклон к матери пойду. И так живьем зарыжет, что к тебе первой явится, а не к ней.

Варвара нагнула заперла ворота ограды. — Не ходи. Неделенный ты сегодня. Никому я тебя сейчас, Кузя, не отдам ни на единую минутку.

Хлебушкин, как бы осуждая, покачал головой.

— Вишь, какая! Ну ладно, так уж и быть — твой я сегодня. Чего-ж ты стоишь, гостей не угощаешь?

— Ох, беда чистая!.. Баньку я раньше нагрел, а потом и кормить стану.

— Дрова рубленые есть? Цела баня, не сторела?

— Целехонька. Все, хозяин мой, куда ни протянешь руку, все найдешь на старом месте.



— Ну, а я окосел на одну ногу. Остальное все в порядке.

Сбивая босыми загорелыми ногами дождевую росу на жудрявой листвушке, Варвара убежала в летнюю кухню.

Кузьма, прищурившись, посмотрел вслед жене, полюбовался тем, как она легко, ловко бежала по земле, вздохнул.

— Помнишь деревню, где мы с тобой встретились? Хозяйку помнишь?

Тарас кивнул. Заря потасла. В зеленом ущелье, над шумящей в камнях речкой задымился туман. На высоком небе зажглась тусклая маленькая звездочка.

Пока вытопили баню, помылись, поужинали — стемнело. В течение ужина в ограду часто и настойчиво стучали. Варвара выбежала из избы и каждый раз, возвращаясь, лукаво улыбалась Кузьме, а гостю — застенчиво и вместе с тем с надеждой, что он ее понимает так, как нужно. После ужина Варвара, по привычке блюсти чистоту, какой она не в силах была изменить даже теперь, стала наводить в горнице порядок, а солдаты вышли на крыльцо покурить. Надвинулись не по северному плотные летние сумерки. Далеко, на самом горном хребте, колыхались пламя пастушьего костра. В мельничном колесе шумел трудолюбивый ручей. На дальних озерах глухо трубили лебеди. Терпкий аромат тайги обступал деревушку со всех сторон. Вкрадчивые, одноголосые вспыхивали на улицах девичьи песни и тоскливо потухали.

Пуская дым цыгарки к беззвездному небу, Кузьма вздохнул, и его белозубая улыбка засветилась в сумерках.

— Вот она какая жизнь у нас в Оленьих горах, дружок. — дивная, на чайном цветке, да на золотом меду настоенная. Понравилось, а?

— Ничего, хорошо живете, — скупо и не сразу ответил Тарас Лобанюк. — Пойду я спать, Кузьма Иванович. Укажи, будь ласковый, место.

Слепой и глухой в припадке своего счастья, Кузьма сказал:

— Посиди, поблаженствуй. И до чего далеко отсюда до войны — ни окопов тебе, ни атак, ни контратак, ни бомбежки, ни наступления, ни отступления!..

— Пойду я, Кузьма Иванович. Положи ты меня, брат, куда-нибудь на вольный воздух.

— На сенювал я тебя, дружок, спроважу: там привольно.

Проводив Тараса, вернулся к жене. Она уже приготовила постель, убранную кружевными простынями и покрывалами, на каких Кузьме пришлось поспать раз в жизни, в свадебную ночь. В длинной до пят рубашке, по-девичьи терпеливая, чуть дыша, с полурасплетенными косами на груди, Варвара загаилась в уголке кровати и не пошевелилась, когда вошел

муж. Маленькое окошко горницы едва пропускало свет беззвездной ночи. Отовсюду струились мятные ароматы засушенных трав и цветов. Воскресший, заглушенный фронтовой жизнью дух родного гнезда, целомудренно, как и в первую ночь женитьбы, ждущая его жена, сладкие сумерки горницы, девичья белизна постели выкружили голову Кузьме. Он прислонился к косяку дверей, робко и тихо залюбовался своим счастьем. Какой же он дурак был, что смел иногда тревожиться на фронте о том, хватит ли у жены терпения честно дожидаться своего мужа! Тихонько, на цыпочках он подошел к кровати, осторожно присел.

— Спишь, Варенька?

— Что ты, Кузя!

Шершавая, натруженная, в мозолях и ссадинах солдатская рука сплелась с мягкой, теплой, по-девичьи пугливой рукой Варвары.

— Уложил своего дружка?

— Уложил.

— Тужной он, страшно на него смотреть.

— На Украине жена, старая мать, ребятки — и все под немцем. Сердце кровавой завистью на мои домашние радости залилось, а я, глухой, еще растравил. Ничего, сдюжает. Крепок он, вроде кедра, я его вдоль и поперек знаю. Ладно. Что с Павлой, рассказывай?

— Павла замуж вышла и на фронт уехала.

— Я так и думал — огонь девка, для войны будто создана. Вот оно какое дело. Н-да. Сестрица на фронт, а братец — трусливая душа: домой, на побывку!

— Ты спроси, за кого вышла замуж, с кем уехала? Я писала, разве не получал?

— Нет, не довелось. Какой же удачник подцепил такую?

— Дружка своего, кому ты жизни спас, не забыл?

— Антон Черешня?

— Он самый.

— Антон Черешня?! Лейтенант? Антон Владимирович? Как могло стать такое чудо? Да как он нашел Павлу в такой глухомани?

— Сам-то ведь адрес давал, сам приглашал в гости!

— Так разве я мог подумать! Давно они уехали? Эх, товарищ Черешня, — жалко не застал. Уж мы бы с тобой... Ладная, счастливая пара они, Черешня и Павла, на всей земле еще одну такую не сыщешь. Он тебе чего-нибудь про Алешку Рублева говорил?

— Нет. А разве живой Алешка?

— Лучше не вспоминай о нем, — сказал Хлебушкин, с новой силой выдавая свое давнее горе и злобное презрение.

— Почему, Кузя?

— Так...

— Живой он?  
— Не спрашивай. Забудь про него, Варюша.

— Натворил чего?  
— Не спрашивай, Варя, ничего, не мути мою радость. Слышишь?

Варвара помолчала, тихо, встревоженно дыша.

— Кузя, а как же Серафима, ребята — пятеро ведь у него?..

— Береги Серафиму, как родную сестру береги. Она не виновата. Ну, довольню! Помни, Варюша: ни слова больше, ни полслова об Алешке. Уговорились?

На улице у ворот слышались шаги, и кто-то робко, одним пальцем постучал в дребезжащее стекло.

— Кто там? — раздраженно спросила Варвара, подбегая к окну.

— Это я, Петровна, — виновато откликнулась Серафима Рублева. — До Кузьмы Иваныча я пришла. Или спать лег?

Варвара молча обернулась к мужу, выжидала, что он скажет.

— Завтра приходи, Серафима! — крикнул Хлебушкин.

Из-за окна слышался плач Серафимы. — Одно слово скажи, Кузя: живой он аль не живой?

— Наверное, живой!..

— Письма не привез?

— Нет, разошлись давно мы с ним. Иди спи, Серафима. Завтра встретимся.

Рублева покорно и тихо пропала в темноте. Варвара вернулась на кровать, бессловесно прижалась к мужу.

Потом встревоженно поднялась на локоть, заглядывая в лицо мужа.

— Ты чего так испугался, Кузя? Где он теперь, Алешка-то?

— Варенька, великая к тебе просьба — никогда ты у меня не расспрашивай ни словом, ни полсловом про Алешку.

На зорьке Варвара осторожно, боясь разбудить мужа, покинула кровать, неслышно исчезла на дворе. Надо было доить корову, выпнать ее в стадо, выпустить на волю кур, гусей, разжигать огонь, творить завтрак. Кузьма сквозь сладкий сон смутно слышал, как его покинула Варвара. Угрювшись на перине из лебяжьего пуха, он блаженно улыбался самому себе, своему счастью. Целый год привыкал к солдатскому жилью, а тут в одну ночь, пригретый в домашнем гнезде, забыл все невзгоды. Так, с улыбкой, он снова заснул.

Его разбудила жена. Она была встревожена и опечалена.

— Кузя, вставай, с твоим дружкой что-то владное стряслось.

Хлебушкин, вздохмаченный, с ввалившимися, но сияющими глазами, накиннув шинель, босой, выскочил во двор. На крыльчке избы сидел Лобанюк, мрачный, решительный, одетый и обутый по-походному, с сумкой на плечах.

— Ты куда, Тарас, собрался?

Лобанюк криво, через силу усмехнулся.  
— Погостил, пора и честь знать. Садись, Кузя, поговорим. Вот что я порешил, дорогой мой товарищ Хлебушкин, не тут мое место, не тут!

— Да чем тебе тут плохо, чудак ты этакый? Слушай, может, ты того... Ну, как бы тебе... того... Может, ты вроде моим счастьем расстроился, а? Не горюй, Тарас, найдем и тебе утеху: раздобьется какая-нибудь молодухка.

— Ты дурачка из себя не строй, будто ничего не понимаешь. Нет моих сил, Кузьма Иваныч, душа горит, как посмотрю на вашу жизнь.

— Понимаю, дружок, все понимаю. Хоть недельку поживи.

— Боясь привыкнуть. Уйду. Сейчас прямо и уйду на фронт!..

Лобанюк поднялся, поаккуратнее заделал обмотки, приладил на спине сумку, не туго и не слабо, как полагается перед дальней дорогой, затянул ремни и хриповатым, сломившимся за ночь голосом сказал:

— Прощай, Кузя, до самой смерти я тебя не забуду.

Хлебушкин хмуро, сквозь зубы спросил:  
— Что же ты меня с собой не приглашаешь?

— Не по дороге тебе сейчас со мной.

— Твоя правда, твоя правда, дружок. Не осуди, брат. Нету мочи оторваться от радости. Скоро опять встретимся да повоюем.

Друзья жадно, будто на век прощаясь, обнялись.

Заря разгоралась. Солнца еще не было видно: но горные отроги уже золотились. Улица, заросшая листушкой, искрилась крупшой, похожей на град, росой. Среди зелени гор серел каменистый большак — кривая кривая дорога вниз, на равнинное приволье.

На крыльчке стояла Варвара, виновато, благодарно и радостно улыбаясь Кузьме.

## XXVI

Проводив Лобанюка, Хлебушкин отправился на поклон к матери. Едва он вышел за свою ограду, как его схватила за руку поджидавшая у ворот девочка лет десяти, одетая в новенькое праздничное платье, аккуратно причесанная, с вылинявшей ситцевой ленточкой в тоненьких косичках.

— Дядя Кузя, мама велела тащить тебя в нашу ограду.

— Чья ты такая шустрая? Серафимы? Вроде как Нина, а?

— Ага, Нина.

— Ну и выросла здорово: чисто невеста!

— Дядя Кузя, наш тятя живой, правда?

— Известно... живой.

— И не раненый?

— Угу, не раненый.

Едва поспевая за девочкой, Хлебушкин подошел к новенькому дому, срубленному из многолетних, один к одному, кедровых кражей. Нина с радостным криком «пришел, мамка, пришел!» побежала в избу.

Хлебушкин, хмурия брови, плотно сжав губы, нерешительно остановился у калитки. И страшно, и больно, и стыдно переступить порог дома Алешки Рублева. Что сказать жене? Чем утешить? Вчерашним обманом? Правдой? Перенесет ли Серафима правду? Должна ли и она отвечать за грехи мужа?

Кузьма вошел в ограду, крытую легким тесом и вымощенную желтомедовыми, кедровыми брусьями. Душистый дух майского леса струился по двору. Ни паутины, ни соринки нигде не видно, ничего зря не валялось. Литовки, снятые с черенков, обмотанные тряпками, аккуратно, в ряд, висели на колышках. Рыболовная сеть распялена для просушки на солнечной стороне ограды. Бражные лагушки, старые и новые, большие и малые, расставлены на длинной полке. Ведро опрокинуто вверх дном. Колодец закупорен крышкой, а на воротах накинута стопорная крышка. Под крышей, у стропил, среди ласточкиных гнезд, сушились пучки трав и цветов, аккуратно перевязанные лыковыми веревками. По всем стенам ограды, где только был свободный кусочек, висели длинные, от потолка до полу, связки провяленных грибов. Добротность хозяйства Серафимы и строгий порядок, присутствующий всякому делу, сработанному ее руками, никак не вязались с тем, что натворил ее муж. «Эх, Алешка, Алешка!»

На крылечко выскочила Серафима в сопровождении Нины. На ней тоже, как и на дочери, были праздничная юбка и кофта. И лицо было праздничное — веселое, свежее, молодое. Не маленький рост Серафимы, не худоба бросались сейчас в глаза, а ее радость. Хлебушкин почувствовал себя бессильным сказать правду: убьет она Серафиму.

— Пожалуйте, Кузьма Петрович, пожалуйте в избу!

— Недосуг мне: на поклон к матери иду. Сама знаешь, какая она у меня строгая.

Он присел на крылечко и, сворачивая папиросу, не поднимая глаз на Серафиму, сказал:

— Ну, хозяйшюшка, слушай, чего тебе наказывал Алексей Григорьевич: работай и живи честно, жди мужа с фронта терпеливо.

— Да где он, какой стал, почему писем не присылает? Все, все расскажи толком, Кузьма Иваныч!

— Давно мы с ним разлучились, милая, давно. Где он теперь, я и сам не знаю.

Хлебушкин поднялся, растоптал недокурок.

— Ну, Серафима, я пошел: боюсь гнева матери! Вечером загляну, еще кой-чего расскажу.

— Дядя Кузя, а наш тятя тоже награжден? — спросила Нина, любуясь орденами на груди Хлебушкина.

Кузьма молчал, продолжая топтать недокурок. Мать и дочь тревожно переглянулись.

— Не знаю, — сказал наконец Хлебушкин. — Ордена — дело наживное. Прощай, Серафима.

«Эх, Кузя, Кузя, великий ты был грешник, — подумал Хлебушкин, выходя на улицу, — и от себя, и от людей не дожидаться тебе прощения!»

Подойдя к родному дому, беспокойно одернул гимнастерку, покосился на грудь, на орден. С радостью и некоторым лукавым страхом ожидал Кузьма встречи с матерью. Все так же, как и до войны, было чисто в родительском дворе, выложенном еще покойным отцом брусьями вековых кедров — ни соринки, ни выбоины на потемневшем от времени дереве. Туго набитый сеном чердак источал знакомый дух привольных лугов. Сквозь зарешеченные окна конюшни виднелись зады двора, старательно разделанные под огород. Там жужжали пчелы.

С сильно бьющимся сердцем вошел Хлебушкин в избу. Мать, все такая же неутомимая, не стареющая, сажала в печь хлебы. Лицо ее было багровым от огня.

— Здорово живешь, мама!

— Здравствуешь, сынок, — Марья Хлебушкина обняла Кузьму, сжатыми губами поцеловала в бритую щеку, скупно всплакнула. — Вот так сынок, вот так Кузя! Родную мать обошел, к бабьему хвосту потянуло — не ожидала, не ожидала!

— Грешен, мама, — улыбался Кузьма, — каюсь.

— Ты не зубоскаль, взаправду я с тобой разговариваю.

Мать схватила ухват, загремела заслонкой русской печи:

— Распоясывай брюхо, кормить стану. Это что ж у тебя на груди — ордена алы медали?

— Ордена. Отечественная война, первая и вторая степеней.

— За что раздобыл?

— За кровь свою, мама.

Радостно вглядываясь в мать, Кузьма сел на широкую лавку, скобленную и мытую, ясную, как майский мед. Марья вытащила из печи жаровню с курятиной, потом другую с жареной, достала бутылку водки, нарезала длинными ломтями хлеб.

— Садись, Кузя, угощайся.

— Ради кого хлопчешь, мама? Какой завтрак в такую рань!

— Ни путного, ни беспутного слова слышать от тебя не хочу, пока не выйдешь и не поешь. Год целый мечтала, чем да как угощать тебя стану.

— Ну раз так придется угощаться.

Кузьма вышил кружку водки, старательно принялся за еду.

Мать стояла у русской печи, ярко освещенная потрескивающим огнем. Хлебущкин смотрел на её лицо, крепкощекое, резко-смуглое, почти румяное. Он чувствовал, как из сердца матери в его сердце переливается все то, чем богата ее жизнь, за что любят ее люди. Подождав, пока Кузьма опорожнит вересовое блюдечко меду, Марья села на лавку, фартуком вытерла место около себя.

— Иди сюда, Кузя, я расскажу, чего придумала в честь твоего приезда.

Кузьма сел рядом с матерью. Губы его были в меду, в голове шумело.

— Сынок, много у нас в государстве таких старух, как я? Много. Да баб помоложе сколько наскребешь. Смотри, какая превеликая армия! Ежели бы эти самые бабы, старухи, да молодухи, пушай не каждая, а через десятую, по поросенку для Красной Армии выходили своими руками, своим кормом, своей лаской. Хорошо это или плохо? Ежели бы весной каждая десятая колхозная баба у себя на огороде одну военную грядку засеяла, вспоила бы и вскормила ее, да по осени весь урожай до последней картошинки Красной Армии удала. Хорошо это или плохо? Почему молчишь, аль худо я замыслила? Аль тебя стыд прызет? Грызет, как не прызет. Посмотри на мать — пепел с нее сыпется, а она все ищет места, куда приложить свою последнюю каплю крови для фронта. А ты? Ноги и руки целые, голова на плечах — и домой вернулась. Бесстыжие глаза твои. Да мне бабы теперь проходу не дадут — затюкают. Что я им скажу, а? На кого ты фронт бросил? — Марья засмеялась. — Пошутила я, Кузя. Живи, отдыхай спокойно.

В оконшину, выходящую на улицу, постукали. Марья распахнула раму. В окне, в свете взшедшего солнца стояла Антонида.

— Здорово живете, мать с сыном! С приездом тебя, Кузьма Иванович! Моего Степу не довелось повстречать?

— Здравствуешь, Антонида, нет, не встречал твоего Степу. Чего в такую рань водялась? Зайди.

— Недосуг, Кузя. По тебя я пришла, по твои золотые руки. Варька тебя требует. Трактор у нас на пахоте испортился.

— Вот так жена! Не успел приехать, уже запрягает! Что случилось с трактором?

Антонида скривилась, как от страшной зубной боли.

— Скажи на милость, какой из Аннушки Куликовой тракторист? Такие в старину куклами баловались. А ей вон трактор дали. Ну и ну! Бойтся она ее, машины-то, хуже зверя. Помоги нашему горю, Кузя.

## XXVII

Кузьма нашел Варвару на конференции, Конюх Трофим, меднолицый, полуседой, вывел Ласточку. Вороная, в белых чулках кобыла шла, пританцовывая, делая вид, что хочет укусить конюха за плечо. Трофим, сам того не замечая, пританцовывал вместе с нею нога в ногу, ласково толкая ее под ребра, приговаривая:

— Виши, какая зубастая!

Ласточка недовольно фыркала, поджимала уши, обиженно жмурилась. Шерсть лежала на ней сплюснутым глянцем, нигде не испятнанная грязью, нигде не вздерошенная. Однако, несмотря на это, Трофим снял с крочка, приделанного к пояскому ремню, скребницу, щетку, стал скрести и чистить покорную кобылу, ласково переговариваясь с нею.

— Да она и так чистая, не надо, — нетерпеливо сказала Варвара.

Трофим недовольно покосился на председательшу.

Варвара понимающе переглянулась с Кузьмой.

Вычистив одному ему видимую грязь с Ласточки, Трофим вывел ее из-под навеса на середину двора, под яркое, вставшее солнце. Черная, глянцевиная Ласточка засверкала в щедрых утренних лучах. Подняв голову, она пронзительно, так, что, наверное, слышно было в горах, заржала.

Пытливо, не доверяя себе, Трофим осмотрел Ласточку в последний раз, оседлал, передал Варваре, вывел из конюшни другую лошадь, точь в точь похожую на Ласточку — вороную, в белых чулках, с белоснежным пятном между глаз — Жука. Грудь у Жука была шире, мускулистее, оскал рта злее и глаза горели беспокойнее.

Трофим вычистил Жука, оседлал, подвел к Кузьме и, сразу став скучным, суровым, прислонился к столбу.

Хлебущкин по привычке засунул два пальца под подругу. Трофим презрительно хмыкнул в усы, переменял ногу и другим плечом оперся о столб навеса.

— Ну, поехали! — сказала Варвара вскакивая в седло.

Два всадника, провожаемые ревнивым, гордым взглядом конюха, выехали со двора на солнечную улицу, под высокое, синеголубое небо. Вороные красавцы осторожно, будто по стеклу, перебирали ногами в белоснежных чулках, звонко выступившая кованными копытами сухую доро-

гу. Проехали деревню. На околице за ними увязался жаворонок и не отставал всю дорогу. Густой свет утреннего солнца разливался по оголенным полям. Нигде, ни в лощинах, ни над тайгой, ни в ущельях гор не было видно тумана. Далеко-далеко открывалась тайга. Оленьи горы, зеленые, ясно и равномерно освещенные солнцем, казались низкими, маленькими.

— Посмотри, Кузя, какой сухонький да мяжонький утренничек! — проговорила Варвара.

У Хлебушкина глаза затуманились. Ничего он не видел, кроме своей Варвары, никуда больше он не смотрел.

Со жнивья на жнивье, под ногами лошадей пробежал суслик. Ласточка и Жук, воспользовавшись случаем, притворяясь перепуганными, вырвали поводья, понеслись резвой крупной рысью. Жаворонок, не обрывая песню, летел следом. Радостно загудел ветер. Поскрипывали седла. Дружно звенели подковы. «Боже ты мой, дай всякому человеку такую радость», — подумал Кузьма.

Поля еще во многих местах были уставлены желтыми копнами незаскирдованного хлеба, но уже чернели на верхней кромке Гарей полосы вспаханной земли. Тихий, одинокий трактор с четырехкорпусным плугом стоял в начале борозды, на опушке тайги. Варвара и Хлебушкин подехали к трактору.

— Эй, девки, где-ка вы? — приложив ребра ладоней к губам, закричала Варвара.

— Туууута! — откликнулся из тайги кришловатый приметный голос Степаниды.

Охорашивая платье, она подошла к трактору. Полное, толстошее ее лицо распухло со сна. Зло косясь на Варвару и Кузьму, спросила:

— Чего надо?

— Где трактористка? — спокойно, не обращая внимания на презрение и злость Степаниды, сказала Варвара.

— Позвать, что ли?

— Позови.

Степанида нарочито медленной, ленивой походкой направилась в тайгу. Вернулась с рослой девкой, черномазой от масла и сажи, узенькие дорожки, промытые слезами, белели на ее щеках.

— Здорово живешь, Аннушка! Что у тебя случилось?

— Не знаю. Вечер до последнего работал, а утром отказал. Искры даже нету.

— Сейчас разберемся, где раки зимуют, не горюй.

Хлебушкин, засучив рукава, подошел к трактору. Степанида зевнула и, подобрав юбки, села на жнивье.

Варвара дивинула на распаханный кусок Гарей.

— Степа, где земля помягче, там надо рычаги поднимать, помельче захватывать. А то, глядя, до самого материка землю выворотила.

— Даж что я ее шупать на каждом шагу буду, землю-то? Я прицепщица, а не шупальщица.

— Смотреть надо, — терпеливо сказала Варвара. — Оно сразу видно, где земля твердая, где мягкая.

— Не нравлюсь, так другую снаряди.

— Так ее, так ее, Степа! — усмехался Хлебушкин.

Почистив молоточек и наковальню бархатным напильником, собрав и поставив магнето, Хлебушкин открыл на подаче горючего краник.

— Садись, тракторист, поедешь.

Аннушка села за руль. Трактор завелся с полоборота. Густой черный дым потек в выхлопную трубу. Хлебушкин отрегулировал смесь воздуха с горючим: дым посветлел, а выхлопы стали не так часты, без перебоев, с равномерными промежутками и спокойные.

## XXVIII

Упали последние осенние дожди, назревали заморозки. Все пшеничные поля убраны, картошка выкопана. Настало время немного передохнуть колхозникам.

Стара была Марья. Руками и ногами неповоротлива, с одышкой. Кому, кому, а ей бы только и отдыхать после тяжелого лета. Привезла на ограду высушенный лен — мяла, трепала, делала кудели, пряла, наживая трудодни. Главной тревогой ее жизни была забота — своими руками заработать трудодень. Не окажись в колхозе надобности трепать лен, наша бы еще что-нибудь, а без дела не сидела бы. И понедельник и вторник и вся неделя, как прошлая, так и позапрошлая, все дни ее жизни были полновесными трудоднями. Кроме того — надо было утром и вечером доить корову, чистить ее, давать корм на ночь, кормить свою свинью и красноармейского поросенка, топить печь, варить обеды, ставить квашонку. Надо было к вечеру обжать все ограды, где выкармливались красноармейские поросята, овцы, телята — не заболели ли? Не надоело ли бабам возиться с ними? И большая забота, и которая поменьше, все они укладывались в короткий осенний день.

В конце недели, под воскресенье. Марья решила собрать у себя в избе посиделки. Не девичьи, как водилось в старину, а небывалые — со старухами, бабами и девками. Да чтоб не с пустыми руками какая пришла, а с куделью шерсти или с мотком ниток, а с веретеном, с прялкой или вязальными спицами. Задумала Марья навязать к зиме красноармейцам варежек, носков, шарфов. Отказа не встретила ни

в ком. К Серафиме Рублевой Марья забежала уже сумерками, когда всех обошла.

В избе Серафимы горел свет, но ограда была наглухо заперта. Марья удивилась. Еще день на улице, а она наложила запоры. И ночью тут не от кого прятаться. Постучала кулаком в калитку.

На улицу выскочила Серафима, молча, испуганно смотрела на Марью.

— Чего в избу гостей не приглашаешь?

— Пожалуйте-ка, пожалуйте!.. Не осуди. Марья Павловна, никакого толку во мне не стало нынче!..

— Не прикухтывайся, мои старушечьи слова не присваивай!

Марья вошла в избу. Кряхтя и охая, опустилась на липовую немытую лавку, оглядывая грязный пол, грязную посуду, разбросанную всюду картошку, горох, разлитое молоко, крошенный и растоптанный хлеб.

— Ну, как твой поросенок поживает, Серафима?

— Ничего, слава богу. Теперь ему куда веселее! Я еще двоих прикупила... тоже для Красной Армии.

— Не хвались напрасно. Ты хоть одного выходи.

— Выхожу и троих, Марья Павловна, выхожу!

— А корма? Надорвешься!

— Выкормлю.

Марья недовольно покачала головой.

— Почему ты очень смелая стала? Ладно, выкармливай троих. Не достанешь кормов, так возьмешь у меня.

— Своими обойдусь.

— Вот какая гордая. Ты вон пол поскобли, хлеб не толчи ногами, а тогда и гордуй.

Серафима так оглянулась по избе, будто только теперь увидела, что всюду непорядок.

— Не мела я еще нынче.

— Нынче не мела, а напередни? А того дни?

Серафима виновато молчала. Худенькие тонкие руки, бессильно вытянутые вдоль бедер, вздрагивали.

— Тоска на меня напала, Марья Петровна, все из рук валится.

— Упрись в нее, не подпускай. Выгостила я, прощай! — Охая и кряхтя, Марья поднялась. — Не осуди, Серафима, ежели я чего не так сказала! Стара, стара я — какой с меня спрос!

Серафима загородила Марье дорогу.

— Павловна, почему ты на посиделки меня не приглашаешь?

— Ой, беда какая ли! Не осуди ты бесчетную, Серафима! Забыла, забыла я вовсе. По то и пришла, а забыла. Приходи, приходи, милая, да кудельку с собой прихвати, веретешко.

— Как не прийти, прийду.

Вечером Серафима явилась та посиделки с мешком, туго набитым шерстью. Бабы, девки, старухи, вяжущие, прядущие, тербящие шерсть, удивились. Один только Яков Степанович взглядом одобрил Серафиму. Он сосал свою вересовую трубку.

— Серафима, да ты вовсе одурела! — сказала Татьяна Ромашева, — небось всю веснину и летнину притащила. А ребятам чего осталось?

— Обойдутся мои ребята!

Серафима села в самый дальний угол горницы и начала тербить шерсть. Идя сюда, она надеялась спрятаться в самом дальнем уголке и никем не приметная, никому не в тягость, тербить шерсть да слушать, как попрядейки поют длинные зимние песни. Попрядейки пели мало, больше толковали про разное.

Марья, посадив языком кончик спящейся нитки, энергично надавливая на педаль прялки, сказала:

— Новости последние слышали сегодня, по радио сводку? Десять тысяч немцев уложили в три дня наши бойцы. На долю моих робяток, знать-то, не мене как по дюжине пришлось. По дюжине на каждого, а не на всех. Не менее, нет! На меньшем они у меня не помиряются.

— Марья Павловна, а чего-ка они тебе прописывают, робята-то? — спросила вдова Нюрка.

— Чего-ка прописывают? Живы, здоровы, шкуру дерем с немца, вот и все.

Марья вдруг озлобленно и убежденно, будто споря с кем-то, сказала:

— Сама я без писем этих знаю — и живы мои робята, и здоровы, и с немца шкуру дерут. Мои робята известные — сама рожала, сама растила, как не знать, чем они живут? У них руки доходчивые, до чего хочешь дотянутся. Все им в жизни удавалось. С малюства они без отца, сами на себя только надеялись. Про таких робят, как мой, в старину сказывали: обездоленные, сиротинушки. Гляди, в каких янгах соколов выходились сиротинушки!.. Не судьбой они вяли, мои робята, а отвагой, хваткостью.

Как только Марья умолкла, вдова Нюрка спросила:

— Павловна, я слышала, будто от твоего Стежки, третий месяц письма нету. Знать-то, как и моего Васеньку, убили его, Стежку-то.

— Молчи, Ваську твоего мож и убили, а моего... Мой Степка живой. Твой Васька и без войны не умел жить, куда ж ему, зимогорушке, войну перетерпеть. Война характера требует.

Марья строго повела глазами по горнице, оглядела притихших попрядеек, дымные вороха очищенной шерсти, послушала жужжанье прялок и, подобрав, сказала:

— Не осуди, Нюронька, если чего не так баю. Стара я, стара — какой с меня спрос!

Нюрка, согнувшись над куделью, молчала. Слезы одна за другой тихонько падали на черную шерсть. Долго жужжали пряхки да шуршали в натруженных шершавых ладонях веретена.

— Н-да!.. Вот как. Вишь ты. Честь по чести, Гляди-ка!.. — пробормотал Яков Степанович, почесывая себе голову. — Слышали, Евсташка Котельников орден за отвагу получил? Как же не слышали, все слышали! Кто такой Евсташка? Отец у него глухой, карлик корявый, известный на всю деревню. Лошадь ему встретится на дороге, и та смеется над ним. И я думала, и ты, Марья Павловна, думала, и ты, Нюрка, — все мы думали: Евсташка такой же выйдет, в отца. А он, гляди-ка, что надевал!

— Слушай, а ведь верно, — обрадовалась приунывшая было Татьяна Ромашева, — никакого характеру у Евсташки не было. Людям в глаза боялся смотреть.

Попрядейки оживленно, перебивая друг друга, стали вспоминать, какой непутевый, несчастный, обездоленный был Евсташка Котельников. Марья, поджав губы, зло гоняла пряхку и молчала.

— Н-да! — продолжал Яков Степанович. — Человек часто и сам не знает, какая в нем сила гнездо свила. Сорок лет иной раз живет и не знает того. И умирает часто с нею, в гроб ее, нерастреченную, укладывает. Оттого и несчастным жил, что силой своей не попользовался. Да, а есть такие, которые живут счастливо до поры до времени, сами не ведают про то, что душа у них в коросте.

Яков Степанович пососал трубку, строго оглядел попрядеек.

— Н-да, есть такие. Правю слово, есть!

Серафиме показалось, что слова эти он проговорил для нее. Провалиться бы сквозь землю, и то лучше, Серафима закрыла глаза: ей казалось, что все на нее смотрели и осуждали за малодушие, за то, что она не умеет ждать мужа, за то, что перестала верить в его жизнь. К счастью распахнулась дверь, и в горницу ввалился черный, бородастый и неутомный как всегда Ефим.

— Лапочки гусиные, свечки негасимые, как вы тут, бедненькие, без меня обходитесь?

Марья отбросила веретено и стыдливо, как того и требовал обычай, закрыла верхнюю половину лица ладонью, затянула старинную застольную пенью.

Ой, сколько мы песен ни певали,  
От Ефимушки даров мы не видали.  
Ой, Ефим, молодец, догадайся,  
От нас, от девиц, откупайся!

Попрядейки дружно, голосисто подхватили:

Серебро на ребро становися,  
По столешинке прокатися,  
До нас, до девиц докатися.  
Нам девицам-певицам деньгу надо,  
Нам на прянички, на орешки.  
Мы же девушки сладкоески.

Марья, растолкав попрядеек, подошла к Ефиму.

— Ну, Ефим, откупайся! Бабоньки, я даве про него пять корчаг браги сотворила — выкладывая на стол брату, хмелю нас, девиц-певиц, Павла, Аксюта, Нюрка, Верка. Надежда — тащите!..

Пять самых рослых девок и молодущез убежали на кухню. Принесли опрочные глиняные корчаги. Марья подала Ефиму деревянный ковшик и большой пахучий жбан.

— Наливай, да обноси каждую попрядею.

Он наполнил жбан, с низким поклоном подал его ближайшей к себе попрядейке — беззубой старушке с пропеченным морщинистым носом.

— Испей бражки, Федосья Тимофеевна.

Марья погрозила Ефиму кулаком.

— Думаешь, брагой и откупился. Нет, батюшко, не откупился! Садись рядком да говори ладком, а мы станем слушать.

Ефим сел посреди горницы, поджав под себя ноги.

— Слушайте-ка, сизокрылые, расскажу-ка я вам как можно человеку разбогатеть. Дело, стало быть, случилось в молодости, когда я был гол как сокол. Сам собою был молодец-молодцом, из рогатого скота имел курицу да петуха, а из крылатой живности — избушку на курьих ножках...

Под веселый рассказ старика Серафима незаметно покинула посиделки.

## XXIX

Новые друзья, новая дорога.

Третий день эшелон Хлебушкина мчался на фронт. С фронта на фронт! Позади морозы, снегопады, необозримые просторы России. На заходе солнца приближались к перекресткам средней России. В полуоткрытую дверь теплушки было видно, как за черными перелесками таяло яркое солнце. На белом снежном гребне виднелась стая ворон, расклеивающая дорожный навоз. Дым от паровоза чернел на снегу глубокой бороздой.

У докрасна раскаленной вагонной печурки, на своем излюбленном месте, уютно поджав под себя ноги, сидел чуть обросший рыжеватой щетиной Кузьма Иваныч Хлебушкин. Щурясь на огонь, он мурлыкал песенку. Гудящее и потрескивающее пламя освещало его розовое, скуластое лицо.

Кажется, сидит он вот так всю свою жизнь, подкармливая ненасытный огонь, грея около него свое лицо, большие, в

мозолях и черных кузнечных ссадинах, руки. Тихо, скучно в теплушке. Бойцы — кто спит, кто грызет сухарь, кто ухитряется каракулями писать письмо.

Поезд мчался голой низиной. Головин — молодой боец, от лба до подбородка густо обсыпанный по-летнему цветущими веснушками, — залез на верхние нары, и, свесив ноги, извлекал из гребенки, обернутой папиросной бумагой, то гопак, то «Сулико», то «Метелицу». Поезд вырвался на степной простор, к реке, к большому железнодорожному перекрестку. По ту сторону реки, за мостом, выкрашенным под цвет снега, растекались три дороги: на северо-запад, на юг и на север.

— Хлебушкин, скажи — куда мы едем? — раздались голоса.

— Туда едем, товарищи... Едем туда, братцы, где нас ждут — не дождутся!

— Эх, если б по Смоленской дороге нас прокатили! — промолвил своим певучим голосом сказочника пулеметчик Бороzdов. — Там моя первая кровь пролилась.

Яша Радес мечтательно сказал, закрыв глаза:

— Поближе бы к Одессе!..

— Д-да, на Украину б!... — откликнулся Воронько.

Коростелев, пережевывая сухарь, усмехнулся.

— Чего вы кровь свою зря мутите? Дальше фронта все равно не уедете.

— Если б в Ленинград!.. В Ленинград!

В дверях теплушки, навалившись грудью на перекладину, с глазами, полными смертной тоски, дергая отвислые толстые усы, стоял Расторгуев.

— А тебе куда хочется, Харитон? — спросил его Хлебушкин.

Расторгуев тяжело сопел в усы, молчал. Поезд перескочил мост и уклонился круто вправо — на северо-запад.

— Товарищи, сейчас станция! Кипяточку побегу раздобыть, — с внезапным возбуждением закричал Расторгуев, хватая ведро.

Хлебушкин быстро поднялся с насиженного места.

— Вместе пойдем, Харитон.

— Я сам. Кузьма Иванович... Не тревожь себя. Я сам.

— Пойду и я. Засухарился я около огня, размять косточки на морозце надо. Ишь как похрустывают, послушайте!

Поезд остановился. Хлебушкин и Расторгуев побежали искать кипятильник.

— Кузьма Иванович, дети у тебя есть? — вдруг, останавливаясь, спросил Расторгуев.

— Как не быть, будут: у каждого должны быть дети. Идем, чего остановился?

— Постой, слово к тебе сердечное есть. У меня шестеро ребят. Пятерых видел, а шестого так и не пришлось. Повидать бы... — он махнул рукой на обугленный и окровавленный закат. — Кузьма Иванович, милый, на родной земле стою, родом я здешний.. Вот за тем лесочком мой двор... Жонка.., детишки.

Среди белого простора темнела узкая, хорошо накатанная дорога. Один конец ее лежал у ног Расторгуева, другой пропадал в лесу. В предвечернем воздухе тоскливо поскрипывали полозья саней обоза с ржаной соломой. Прозрачно, тягуче поднимался из-за сосен и елей многоструйный дымок невидимой лесной деревни.

— Кузьма Иванович, сбегая домой, а? Я вас догоню другим эшелон. Только одним глазом посмотрю на шестого. Словом с бабой перекинусь, и сейчас же назад. Не солдат я буду, если не повидаюсь, Иссох я от тоски.

Доброе лицо Хлебушкина преобразилось. Карие глаза сурово оглянули с ног до головы Расторгуева, словно для того, чтоб хладнокровно, смертельно ударить.

— Понимаешь, в какую пропасть тебя, дурака, тянет?

— Ведь на часок я, Кузя, думал.

— Пошли, голубчик, в теплушку, — с прежней лаской и добротой сказал Хлебушкин, обнимая Расторгуева. — Пошли, Харитоша, не соврашай сам себя.

Расторгуев послушно, позабыв о кипятке, двинулся к эшелону. Минута колебания, которой он было поддавался, осталась позади.

Хлебушкин растегнул фуфайку, достал из нагрудного кармана бережно в тряпочку завернутый, вчетверо сложенный лист казенной бумаги.

— Посмотри, дружба — отпускной билет! На память берегу. Все по закону: от точки до точки. Понял?

### XXX

Хлебушкин выскочил из теплушки на мокрую, ледяную, в черном снегу и грязи землю. Глядя вдаль и видя что-то такое, чего люди не могли видеть из-за ослепительного солнца, он тихо сказал:

— Здравствуй, Ленинград!..

Выгрузились, подогнули снаряжение, вооружение, построились и пошли. По земле шли мало, — всего несколько минут, и вступили на лед Ладожского озера. Но перед тем, как вступить на лед, все прошли под большой, в голубых красках весеннего неба аркой. Красные флаги, раздуваемые ветром, трепетали на башнях. Под такими арками, как эта, обычно проходили победители.



Пулеметчик Борбздов с восхищением покачивал головой, певучим голосом сказочника проговорил:

— Чудо такое и в сказках редко найдешь.

Перед бойцами, куда ни взгляни — лед; лед, лед, покрытый искрающейся на солнце талой водой. И подо льдом — глубина Ладожского озера. Вдоль озера, окруженная снеговым, нетающим валом, сосенками и елочками, растущими прямо изо льда, протянулась дорога, вскормившая и вспоившая Ленинград в неумолимые дни блокады. Дорога эта все еще походила на обычную дорогу. Между снежными валами текла широкая, метров в двадцать, река, обсаженная красивыми елочками и соснами, а по этой реке шли бойцы Н-ского подразделения, штурмовики, таща на белых лодочках свое тяжелое имущество — минометы, пулеметы, мины, ящики, противотанковые ружья. И казалось чудом, что они, такие тяжелые, не тонут, а идут по воде.

Мимо пронеслись грузовики, доверху наваленные всем тем, что необходимо большому городу для труда и войны.

Южане и северяне, горцы и степняки шли по воде, а над ними — теплое, незимнее солнце, красноезвездные истребители, голубое, тихое небо.

Хлебушкин затынул своим трудным чистым, хватающим за душу голосом старинную песню о том, как сизый селезень плывет по морю и как он красив и счастлив, и как ему доступны все блага земли и моря. Бойцы подхватили его запев. Вслед, подобно селезену, проплыл грузовик, раскинув радужные крылья. Шофер, проезжая мимо, сбавил газ, взглядывался в серые солдатские шинели, в зимние шапки, сибирские полушубки и приветливо помахал рукой.

Солнце как бы прожгло лед, быстро скрылось в Ладожском озере, ветер посушел, зимние тучи стали сыпать на бойцов мокрый, густой снег, и вражеские дальнобойные снаряды стали врываться далеко впереди на дороге, преграждая им путь в Ленинград.

Потемнело. Белая мгла ворчала и выла позади, сверху, повсюду. Грузовики ползли, ожесточенно разгребая тупыми своими носами тугой, шершавый туман. Обочина дороги покрылась ледяной коркой. Мокрые шинели и шапки, полушубки, шаровары одубели и громыхали, как жестяные. Бойцы медленно шли по ледяному стеклу, оно со звоном ломалось под ними, и они проваливались в воду. Заквашенная льдом вода обжигала ноги. Снег, тяжелый, как песок, хлестал в лицо, ослеплял. Спотыкались, падали, поднимались. Шли ощупью вдоль снежного вала, среди елочек и сосенок, растущих прямо изо льда.

Но елочки и сосенки почему-то исчезли,

и бойцы пошли вдоль снежного, как им показалось, вала. Хлебушкин тревожно остановился.

Но в то же мгновение из белой мглы к ним протянулась оранжевая лучистая рука. Протянулась и опустилась, потом опять протянулась. Это был дорожный электрический маяк.

Хлебушкин с винтовкой через плечо, с котомкой на спине, овьюженный с ног до головы, словно высеченный из глыбы снега, вырвался вперед, пошел по оранжевой тропинке, проложенной во мраке маяком. Бойцы поторопились за ним. На каждом километре стояли маленькие, в рост человека, столбики с мигающими светлокрасными электрическими огоньками. Один из столбиков исчез в большой поляне. Сюда долетали дальнобойные немецкие снаряды. Недалеко от поляны, под глыбой льда сидел человек в полушубке, с красной повязкой регулировщика на рукаве и кондукторским фонарем между расставленных ног. Зеленое стекло обращено к идущим бойцам, а красное — в сторону поляны. Человек освещал путь молча, не шевелясь.

Хлебушкин остановился, спросил: сколько километров еще осталось до берега. Регулировщик молчал. Лицо его было желтым, несмотря на зеленый свет фонаря, а на глазах не таяла снежинка. Бойцы молча прошли мимо мертвого регулировщика, мимо одинокого зеленого огонька. И никто почему-то не догадывался сделать то, что надо было сделать. И когда почти уже все прошли, Кузьма Хлебушкин бережно взял фонарь из рук убитого и тихо сказал:

— Разрешите, товарищ лейтенант, временно заменить регулировщика?

— Догоните, — только и сказал лейтенант Бурмистров Хлебушкину.

«И как ему не страшно? — удивленно оглядываясь на одинокого стоящего, Хлебушкина, подумал Расторгуев. — Сам смерти на рога лезет. Ну, и смел человек!»

Отряд ушел, а Хлебушкин свернул себе толстую «козью ножку», прикинул, спрятав от ветра голову в расстегнутые полы полушубка, затыкнулся покрепче и, чувствуя себя окончательно благоустроенным, приступил к исполнению своих новых обязанностей.

Был вечер, выюга разыгрывалась все сильнее. Снаряды рвались ритмично, через каждые пять минут. Лед Ладоги дрожал, как корабельная палуба, колыбался, и долго после взрыва было слышно жужжанье осколков и шум воды, падающей с большой высоты. Засыпав визг снаряда, Хлебушкин осторожно, чтобы не разбить фонарь, ложился на мокрый лед. Он промок с ног до головы и покрылся ледяной коркой, но держал фонарь как можно выше. Уставала левая рука, он брал фонарь в правую, очищал зеленое стеклышко от

влажных хлопьев снега. Белая мгла ступалась. Хлебушкин часто переступал с ноги на ногу. На мертвого он старался не смотреть.

Очередной снаряд разорвался около самой дороги. Взрывная волна отбросила Хлебушкина на ледяную, заснеженную целину. Оглушенный, он испуганно вскакивал, ощущая фонарь. Его охватило желание уйти с этого гиблого места. Но в белесой мгле урчали, приближаясь, грузовики, и он вернулся на свой пост.

Были тяжелые снаряды, и в их вое слышалась бешеная злоба против человека, упорно стоявшего на льду, на краю пропасти, во мраке, направившего зеленое стеклышко на восточный берег Ладожского озера, к Большой земле. А машины шли и шли, то буксуя по сугробам, то перескакивая их с полного хода. Хлебушкин с удовольствием оглядывал кузова, груженные ящиками, мешками, тюками, и живо представлял себе, как тысячи и тысячи ленинградцев понесут домой крушу, хлеб, табак.

В полдень с прокодившего мимо грузовика соскочил человек в полушубке, с винтовкой через плечо и с фонарем в руках. Смена!

— Сазонов, здорово тебе сегодня досталось! — оказал часовой, идя на зеленый огонек.

Судя по веселому голосу, он был молод, хорошо поспал, поел и ни капельки не боялся предстоящей ночи.

Кузьма смущенно, виновато откликнулся:

— Это не Сазонов, а я — Хлебушкин, провожий боец. А твой Сазонов, того... Маленько поспешил, умер прежде времени.

Часовой дрожащей рукой осветил в лицо Хлебушкину и, помолчав немного, глухо спросил:

— Где он?

— Да вот тут, рядом. Как живой, бедняга, прислонился к льдине. Прощай, товарищ Сазонов!

Через два часа Хлебушкин на полупустой машине догнал отряд. На рассвете бойцы подошли к ленинградскому берегу, проделав сорокакилометровый марш. Машины, устало урча моторами, стояли в очереди, а часовые с автоматами и красно-зелеными фонариками тщательно проверяли пропуски.

Лед кончился. Пройдя новую триумфальную арку, бойцы вступили на землю Ленинграда.

### XXXI

Все дороги теперь ведут на фронт, на передний край жизни.

Ночь. Ветер с ледяным дождем ревет в развалинах кирпичного завода.

Нигде не видно огонька, не слышно голоса человека. Только свистят, воют, взрываются тяжелые, прилетевшие издалека, вражеские снаряды.

Обжигательная, давно оставшая «гофманская» печь. Толстые, огнестойкие стены, низенький, сводчатый потолок, узенькая щель — выход на темносиний ночной свет. Маленький, охотничий костер пылает посредине печи, плаптово, в несколько рядов окруженной бойцами. Пахнет жженым кирпичем, заматерелой гарью. Последняя тихая ночь. Ночь перед штурмом.

Штурмовики, минометчики, стрелки, пулеметчики, минеры, саперы, артиллеристы коротали оставшиеся часы — кто лежал, кто сидел, поджав под себя ноги, кто сушил шорты, сапоги, кто мирно дремал, кто подгонял снаряжение. У костра, поджав под себя ноги, расположился угрюмый, нелюдимый старшина осетин Дзасохов. Ни на кого не глядя, опустив темные веки, он точил кинжал на каменном бруске. Точил, пробовал лезвие на ноге, на волосах и опять точил. На смуглом его лице пламя костра отражалось, как на бронзе. Губы были твердо сжаты, будто срослись. Хлебушкин жмурился, когда сталь пронзительно взвизгивала на камне.

Лейтенант Бурмистров лежал неподалеку от костра. Коротенькое, кряжистое его тело, свернутое калачиком, было заботливо покрыто двумя шинелями. Голова, сплошь седая на висках, покоилась на солдатском мешке. Крепкие, литые зубы, желтоватые от табака, стиснули давно потухшую толстую самокрутку. На розовых, полураскрытых губах играла улыбка. Наверное счастливый сон видел лейтенант.

Кузьма Хлебушкин сидел у его изголовья, старательно штопая какую-то крохотную, одному ему видимую дырку на своей шинели. Мурлыча тихую, никому не мешающую песню, он разглаживал штопку на шинели, зубами перекусывая нитку. И на лице его при этом такое было выражение, словно нет и не будет у него более важных забот в жизни, чем штопать шинель и охранять сон командира.

В дальнем углу, при свете лучин, веснушчатый, сухолицый парикмахер Головин, с веселыми прибаутками, под дружный хохот красноармейцев, стриг и брил. Белошапкин сидел на самом неудобном месте, на дымной стороне костра и кружку за кружкой пил крутой кипяток. Он кряхтел, вытирал шею, лоб и скулы полою шинели и снова пил и пил. Снайпер Кюхельбаев, черный казах, белозубый, со строгими глазами орла, лежал вверх лицом и так пристально, так жадно смотрел в черные своды печи, словно над ним было бескрайнее степное небо. О чем думал

этот юноша, убивавший на лету грача и не убивший еще ни одного немца? О предстоящем бое? О первом немце, которого, наконец, убьет? О родной кибитке?.. Мускулистый толстяк, пулеметчик Горобец, пожилой, седоволосый человек, читая газету, свирепо ерошил и без того всклокоченную бороду.

— Что вы робите, дядько Горобец, с бородою? — заранее улыбаясь ответу, спросил Яша Радес, с тем оттенком мягкости, лукавой иронии в голосе, по которому сразу можно узнать одессита.

Горобец совершенно серьезно пробурчал:

— Чтоб страшнее немцам было от одного моего вида.

Все засмеялись.

Женщины Грузии прислали на Ленинградский фронт подарки. Штурмовому отряду достался ящик мандарин — по одному на брата. Грузин Романидзе в ладомях, сдвинутых одна к другой, держал маленький мандарин и молча смотрел на него. Этот маленький, оранжевый, с бархатистой кожицей шарик напомнил ему все великое, прекрасное, святое. Романидзе держал свою солнечную Грузию на ладонях и был счастлив.

Может быть поэтому никто из бойцов не съел маленький подарок грузинских женщин. Съедят наверное после боя. Сейчас, перед боем, приятно вдыхать тонкий, хмельной аромат. Зырянин Пуржаев смотрел на свой мандарин и тихонько, самому себе улыбаясь, облизывал губы. Видно, очень он хотел попробовать неизвестный ему плод, но его удерживала та же сила, какая удерживала и всех.

Суровый ветер Балтики ворвался в темный провал. Костер чадил, дым расплзался, догорала лучина, вспыхивала новая. Разрывы снарядов то удалялись, то приближались. Все ближе и ближе час штурма. Хлебушкин достал из вещевого мешка сухарь, положил на зубы, чуть-чуть покусывая — весело, приятно хрустел сухарь. Через минуту все бойцы с аппетитом прыгали сухари.

Усач Расторгуев каждый раз, как визжал очередной снаряд, втягивал голову в плечи, а на лице появлялось выражение обреченности. Он еще не привык к войне. Хлебушкин, внимательно посмотрев на него, сказал:

— Братцы, одного я перед штурмом боюсь... Как ты думаешь, Воронько, чего я боюсь?

Воронько веселым, как радуга, глазом покосился на Кузьму.

— Чорт его батько знае, чем тебя можно злякать! Ага, знаю. Шо тебя на два дня без табака и без языка оставят.

Все засмеялись.

— Нет, братцы, взаправду есть такое

страшное, чего надо бояться. Как надо! Орехов, скажи, ты чего боишься?

— Чтоб моя баба не согрешила без меня.

Никто в ответ ему не засмеялся. Хлебушкин окинул Орехова суровым осуждающим взглядом.

— Братцы, одного я боюсь, — продолжал он, — лейтенант влобил в нас штурмовую науку, а мы возьмем да в самый интересный момент все и забудем. Бороздов, помнишь ты, что тебе надо делать, если напорешься посредине реки на заградительный огонь?

— Бог памятью не обидел — помню.

— А ты, Радес, помнишь, что тебе надо делать, если немец лед на реке взорвет?

— Яша Радес, честь имею кланяться, — природный моряк: на воде он — дома, а на земле — в гостях. Моря и океаны переплывем, товарищ Хлебушкин!

— А ты, Горобец, помнишь, на какое место обрыва тебе надо штурмовую лестницу крепить?

Бородатый Горобец прогудел обиженно: — Кузьма Иванович, любимый голубь! Чего ты страдаешь? Помовчи, друже, помовчи! Кибя жених на свадьбе намекает своей невесте про то, шо у них будет после свадьбы, на медовой зорюшке? Не распрачивай, Кузя, свой жениховский за-  
пал.

Все опять засмеялись. Нашла коса на камень!

Пошел дождь. Костер затухал. Очередной снаряд упал где-то так близко, что задрожали толстые стены обжигательной печи. Хлебушкин поднялся, взял топор, кряхтя и окая, приговаривая «иди, иди, Кузьма, не раскиснешь, таковский», покинул печь. Вернулся он мокрый с вязанкой аккуратно изрубленных дров, стяхнулся, как птица, молча сел к костру, подбросил дров, и печь осветилась красноватым, трепещущим светом.

Хлебушкин шурился на костер и говорил сам с собой:

— Вот костер. Ласкаешь ты солдата на привалах и в тревожные ночи. Сладкие сны видятся ему возле тебя! Пройдет время лихолетья, состаримся мы, будем доживать свой век под родной крышей, а тебя, костерушко, не забудем вовек. Увижу я в ночной степи огонек, вспомню друзей и горько подумаю — где-то они?

Тоненькие лучины горели сухо, ярко, со сладким ароматом сосны. Горький дымок костра неохотно выползал в щель. Тяжелые немецкие снаряды разрывались слева и справа, позади и впереди.

Расторгуев тихонько отполз в дальний угол печи, куда еле доставало пламя костра. Хлебушкин строго и внимательно наблюдал за ним — что он в лежачую для себя минуту будет делать? Расторгуев вытащил из сумки бумагу, карандаш. Пи-

сать ему мешали частые разрывы снарядов. Напишет два-три слова и, затаив дыхание, ждет — куда упадет снаряд.

— Что, друг, не пишется? Давай вместе напишем. Эх, и письмецо выйдет! — сказал Хлебушкин и, не давая Расторгуеву опомниться, шопотом, но властно, заговорил:

— Пиши! «Здравствуй, моя родная, единородная и навечно любимая жена Анюта с малыши детками. Жив я и здоров, а у тебя про это самое не спрашиваю: тебе и бог, и судьба, и люди, и верная твоя честь велели быть живой и здоровой, дожидаться благополучного моего возвращения».

Может быть эти слова бродили и в душе Расторгуева, но он не умел их высказать. Неторопливый, доверительный шопот Хлебушкина покорила Харитона. Он старательно выводил под диктовку:

— «...Сама знаешь, Анюта, добрый я по натуре человек: не скандалил в жизни ни с кем, в долг ни у кого не брал, на чужое не зарился. Так бы и жизнь прожил, если б не война. Попал я промеж старых, на смерть обреченных солдат. У каждого горе — у кого немцы деревню пожгли, у кого дочь родную испаскудили, у кого жонку или матушку родную. А у меня все в порядке — и деревня цела, и хлеба в амбарах в достатке, и детки малые в тепле и с материнской лаской живут. Иной раз через это даже совестно перед товарищами. Им тяжелой воевать, а мне легче: есть куда вернуться после войны, есть кого приласкать, есть во что одеться, с чего попить, поесть. Значит, и бояться мне нечего и ты обо мне не тревожься, Анюта... Я буду жить, моя родная Анюта, буду! Я вернусь к тебе, голубушка, поздравлю, и зацветешь ты майским цветом и еще не одного ребятенка мне народишь. Целую тебя в губы твои чистые. До свидания, любезная... Вот и все. Печатай конверт! — сказал Хлебушкин тем же властным и доверительным шопотом, — Давай сюда, после боя пошлем. Меня никакая пуля, всем известно, не тронет — уцелеет твое письмо».

Расторгуев молчал, лицо его светилось, будто впитало в себя пламя костра. Он спрятал письмо под шинель.

Скоро рассвет. Белошашкив попреложил пилю кружку за кружкой чай, потел, вытирался и снова пил. Старший Дзасохов кончил точить кинжал, вытер лезвие полою шинели, поднял глаза — большие, черные, полные печали. Всем известно: родное селение его сожжено и поле растоптано немцами...

Чувствуя печаль Дзасохова, Хлебушкин зашел о том, как из госпиталя «лесами, полями, дорогой прямой, парень идет на побывку домой».

...Парень подходит — нигде никого.  
Горькое горе встречает его.

Черные трубы над снегом торчат.  
Черные птицы над ними кричат.

Бойцы тихо, чтоб не замутить чистой, великой печали, подхватили песню:

Чем же тебя накормить, напоить?  
Где же постель для тебя постелить?  
Все поразграбляя, хату сожгли,  
Настю — невесту с собой /вели...

Кончилась песня. Тихо, жарко, душно стало в обжигательной печи. Угасла лучина. Догорел костер. Темнота выползла из ушлов. Ветер ревел и стонал о горькой доле матери, о невесте... Говорун, сказочник Бороздов, склонив голову на грудь узбеку Юлдашеву, затих, задумался. Татарину Умаров прилет на колени к Воронько.

Текали последние минуты. Желтый бледный язычок пламени переползал по бурным углям. То из одного, то из другого угла раздавался хрип крешко заснувших бойцов. И будущие герои, и скромные бойцы, и те, кому суждено жить многие многие годы, и те, кому суждено, может быть, умереть во имя победы, — мирно спали друг у друга на груди.

Глядя на огонь, не мигая, как орел смотрит на солнце, Дзасохов глухо сказал:

— Много немцев убивать буду... Очень много!

— Вторая, подъем!.. — раздалась команда.

### XXXII

Старшина Дзасохов вскочил на свои кривые ноги горца, зажег лучинку. При ее скупом свете бойцы быстро собрались в путь — для кого дальний, бесконечный, для кого короткий, но такой, что всю жизнь будет стоять в памяти.

У Кузьмы Хлебушкина давно все в полном порядке: и винтовка, и саперная кошка, и штурмовая веревка и кирка-мотыга. Пока другие собирались, он спокойно сидел на груди кирпичей и жадно курил. Рядом с ним Харитон Расторгуев, тоже в полном сборе и тоже с толстой самокруткой.

— Полюбуйся, Харитон! — пешнула Кузьма, глазами указывая в угол печи, где Коростелев, не попадая зуб на зуб, перекалывал винтовку то в левую, то в правую руку, не находя ей места. — Попомни мое слово: пропадет пропадом парень! Идешь в атаку на немца, так ты не думай про смерть, и наверняка жив останешься. На немца гони смерть, и она к тебе никогда не подступится. Я вот так второй год воюю, потому я и бессмертный.

— Кузя, я с тобой пойду — куда ты, туда и я. Ладно?

— Не жалко, иди. За моей свиной не пропадешь, только сам не плошай.

Отряд построен. Лейтенант Бурмистров отдал приказ о наступлении: взаимодействуя с соседями, перейти минированную реку, пробиться через завесу заградительного огня, штурмовать высокий, обделенный берег, взобраться на него, преодолеть крепостной вал, атаковать доты «Черепашка» и «Суслик», подавить их, уничтожить гарнизоны противника...

В пять началась артиллерийская подготовка. Вспышки орудий сливались в одну большую, неугасающую молнию. Светло, шумно и весело стало на земле. Бойцы раскрякали рты, потому что боялись оглохнуть. Кузьма Хлебушкин сжимал винтовку правой рукой у цевья, а левой то справа, то слева без того аккуратный ремень, то сдвигал одному ему видимую пыль с затвора, то рукавом шинели протирали ложе.

Бурмистров вывел отряд из обжигающей печи к карьере. Отсюда до реки было рукой подать. Дождь перестал. Прояснилось. Сдержанно шумели обманчиво-весенние ручьи в откосах берега. Бесшумно взвилась ярко-красная ракета. Все выше и выше взбиралась она в небо и в самой его глубине медленно растаяла. Еще одна и — штурм. На мгновение затих гром канонады, угасли молнии, артиллеристы, изменив прицел, перенесли отсечный огонь в глубину обороны.

Вспыхнула новая, зеленая ракета. Бурмистров вскочил, крикнул:

— Вперед, товарищи!

Хлебушкин, перепрыгивая через залитые водой колдобины, побежал по карьере. На поясе болталась штурмовая веревка с саперной кошкой, шесть штук гранат, охотничий нож, патронный подсумок. Левая рука сжимала кирко-мотыгу. На спине, под маскхалатом, горбилась солдатская сумка с парой белья, куском хлеба, тремя плитками сухарей, коробкой консервов и двумя маленькими узелочками с сахаром и солью. В кармане, рядом с коричневой трубочкой, куда была уложена опознавательная бумажка на случай смерти на поле боя, лежал мандарин.

Врубаясь кирко-мотыгой в скользкий откос карьера, Хлебушкин раньше всех выбрался на берег реки. Снизу, из карьера Кузьма хорошо был виден отставшим бойцам на вишневом шелке зари — огромный, белоснежный.

— За мной, ребята! — крикнул Хлебушкин и побежал.

За ним дружно бросились бойцы. Талая вода брызгами рассыпалась из-под его ног. Халат надулся, разбух, увеличивая Кузьму в объеме. Казалось, Хлебушкин вот-вот расправит крылья, взлетит над землей. Легко, радостно бежали штурмовики вслед Хлебушкину. Один только Коростелев не поспедал, отставая. Скатились с ледяного, крутого берега кто на чем горазд, как в детстве, и вскопали на

заветный лед. Противник не стрелял. Полтора года он пристреливал это место на случай штурма. Почему сейчас, на краю своей гибели молчит? Может быть, все его огневые средства подавлены? Всем известно, что у врага оборудованы не только полуоткрытые, огневые позиции, но и закрытые бетоном, камнем, бревнами, гофрированной сталью. Почему он молчит? Заманивает в ловушку?

Экономя силы, по льду шли боевым порядком. Впереди — группа разведчиков, за ней группа разграждения и штурмовая. Группа обеспечения штурма — пулеметчики, бронбойщики, артиллеристы, минометчики — шли впереди и позади. Коростелев догнал отряд. Вода ровным слоем покрывала скользкий лед. Разведчики быстро, не сбавляя шага, миноискателями и щупами прокладывали тропинку жизни среди мин, держа ориентир на три березы на том, вражеском берегу. Светело с каждой минутой. Поверх голов всего отряда видны знакомые широкие плечи Кузьмы, Толстяк Горобец с пулеметом на спине шел рядом с ним, плечо к плечу. Бороздов, несмотря на свои длинные ноги, никак не мог их догнать. Яша Радес, маленький, коротконогий, катился шариком и попевал.

Коростелев опять отстал. Хлебушкин, будто у него и на затылке были глаза, обернулся, закричал:

— Эй, ты, жабыя твоя душа, прибавь шагу!..

С низовья реки, с Балтики, быстро напозал густой молочный туман. Соседние отряды, слева и справа, бросившиеся одновременно на штурм, скрылись. Свои продвигались молча, бесшумно, хорошо видимые на льду: свежие маскхалаты белели среди темной воды и черного, изъеденного преждевременной оттепелью льда. Бурмистров глянул на часы. По времени должна быть уже середина реки. Впереди темнели глыбы льда, выжороченные снарядами. Это следы заградительного огня; —заранее вымеренное, вычитанное место, где в любую секунду забушует буря огня и раскаленного железа.

Все ближе и ближе подступал враг штурмовиков. Еще шаг, еще два по направлению к смертельной черте, а противник не подавал никаких признаков обороны. Впереди ждало пространство — чистое, жуткое для пехотинца. Вокруг ни холмика, ни кустика защиты. Вся сила пехоты сейчас была в ногах, в стремительности.

Лейтенант Бурмистров командовал:

— Бегом!

Бойцы побежали — и те, что с штурмовыми лестницами, и те, что с пушками сопровождения, и те, что с перекидными мостиками, то-есть с обыкновенными двухдюймовыми досками, и те, что с тяжельми станковыми пулеметами,

Враг, приготовивший огневую засаду, не ждал броска и на несколько секунд опоздал с открытием огня. Опоздал ровно на столько, сколько нужно было для успеха штурма. Немецкие снаряды визжали еще в эвенте траектории, а большинство штурмовиков уже было по ту сторону трезной черты; рассыпались по льду, залегли и сейчас же поползли вперед.

Хлебушкин упал на покрытый водой лед. Снаряды рвались в засеченном месте — на середине реки. Завизжали, запылали, застонали раскаленные железные осколки. Тугое, горячее, безогненное пламя взрывной волны оглушило на мгновение Хлебушкина, молнии разрывов ослепили. Он почувствовал, как из его ушей и носа хлынула кровь. В зубах болезненно заняло. Он лежал на льду, чуть приподняв голову, чтобы не заклебнуться в талой воде. Слизывая с губ кровь, он ждал спасительной минуты, а глыбы льда взлетали на воздух и со звоном раскалывались на куски. В воздух беспрестанно взвивались столбы воды. Они медленно, долго падали назад в реку. Столетиями спокойно лежавшие на дне реки пласты ила, грязи и песка обрешивались на штурмовиков. Белые калаты стали чернопятнистыми. Раскаленные осколки шипели в воде.

Хлебушкин нетерпеливо ждал, когда буря утихнет, чтобы воспользоваться моментом и перебросить штурмовиков за пределы завесы. Сейчас надо лежать и лежать! Одно неловкое, преждевременное движение — и все погибнет.

Наконец, долгожданный момент наступил. Буря не столько утихла, сколько стала понятной, то-есть всем стало видно, куда падали снаряды. Заградительный огонь обычно дается на постоянном прицеле и углемере. Правда, снаряды по закону рассеивая падают каждый раз в другое место, но все же относительно кучно. Издали кажется, что завеса сплошная, но Хлебушкину хорошо были видны проходы в огненной стене. Выбрав момент, когда его голос мог быть услышан, он крикнул: «вперед!» Штурмовики поднялись, проскочили смертельную черту и уже без команды снова упали на лед, поползли вперед, ногами помогая своему телу передвигаться на гладкой скользкой поверхности.

Хлебушкин полз передним и, оглядываясь, голосом, в котором была и молебная, и приказ, и угроза, и любовь, и крепкое, соленое слово, торопил:

— Давай, давай, бойцы, поспешай!..

Он полз, не замечая, как из-под его ног текла кровь, видя перед собой только крутой ледяной берег и три сестры-березы на нем. Он поднялся. Сейчас же подвинулись и все штурмовики, устремились вперед в сочившийся отовсюду туман, растворились в нем.

Уже у самого берега, перед границей мертвого пространства, расстроился мерный, плавный топот, и кто-то упал с тяжелым, неоконченным криком. Кузьма вернулся к убитому бойцу. Он лежал лицом вверх, беззубый, с открытыми глазами, и, как живой, пристально смотрел в туманное небо. Это был Кюхельбаев, мечтавший убить тысячу немцев. Попрощавшись с ним, Хлебушкин снова побежал по льду к заветному берегу, догоняя и обгоняя штурмовиков.

Вот и берег — ледяной, сажени в три откос, голый, как кость. Кузьма Хлебушкин достиг берега и сейчас же лег на кусочек сухой земли над обрывом, чтобы отдышаться. Сюда, в мертвое пространство, недоступное для настального огня артиллерии, могли упасть только мины. Туман прижимался ко льду вплотную, скрывал свет наступившего уже дня. Однако в груди Хлебушкина было светло, просторно. Самое трудное — фугасные засады, заградительный огонь — прошли. Не дрогнули бы теперь друзья перед обрывом!

Штурмовики подбежали к берегу. И так была велика вера в Хлебушкина, в его счастье, в его солдатскую мудрость, что все они жалась на клочок земли, где лежал Кузьма.

Враг всплохнулся. Пулеметные струи тщательно брили высокий берег — вниз на штурмовиков сыпались ледяные осколки.

— Товарищ лейтенант, пустите меня наперед. Не впервой мне лестницу ставить.

Не дожидаясь согласия Бурмистрова, Кузьма Хлебушкин схватил штурмовую лестницу и, вглядываясь в обрыв, побежал вдоль берега. Около глубокой впадины, промытой во льду солнцем, остановился. Пули визжали слева и справа, а тут, над впадиной, было тихо. Кузьма выдолбил во льду реки две лунки, опустил в них нижний конец лестницы, а верхний, узенький, вставил в ложе маленького водопада.

— Вперед, товарищи! — крикнул лейтенант.

Каждый штурмовик нашел для себя лазейку в неприступном обрыве, и штурм начался. Хлебушкин сжал правой рукой винтовку с прижкнутым штыком, бросился на лестницу. Хлебушкин почувствовал на себе всю тяжесть ответственности за судьбу штурма. Если ему удастся благополучно выскочить на козырек обрыва, рота сейчас же, не задумываясь, бросится за ним. Будут убитые, раненые, — ничего, все равно пойдут. Если же он будет ранен на верхней перекладине — дело гиблое: не скоро тогда поднимешь людей.

Кузьма медленно, осторожно, перекладина за перекладиной, поднимался вверх. Пусть он будет ранен, убит, но толь-

ко не на лестнице, не сейчас, когда каждая секунда решает судьбу штурма. Маленькие ручейки, каких в оттепель на земле миллионы, журчали под лестницей все время, пока Хлебушкин поднимался. Много сил придавала простая их песенка. Как ни мало было времени для размышлений у Кузьмы, однако он успел подумать о том, что за него стоит в этой войне и весна, и земля.

Туман клубился над рекой, заполняя пространство между крутыми берегами. Наверху уже давно рассвело, а внизу, на льду реки, еще лежали темносерые влажные сумерки. Хлебушкин выскочил из тумана, как из темной бездны, и сразу попал в мир света, под восходящее солнце, под сухой теплый ветерок утренника. Он замер на мгновение, вздохнул полной грудью и бросил гранату в прибрежную траншею, где заметил трех перешуганных немцев-пулеметчиков. Коротко, без эха взорвалась граната, и немцы исчезли. Хлебушкин покинул так верно послужившую ему штурмовую лестницу и выскочил на землю, куда подтора года не ступала нога свободного русского человека.

Расторгнув с лошадиной тяжестью врубаясь коваными сапогами в покатый лед, бежал за ним следом.

— Где, где они, проклятые? — кричал он, часто мигая налитыми кровью глазами. Он словно ослеп от ярости.

### XXXIII

Морозным и снежным утром почтовые сани сбросили в Посаде почту. Разбирая письма в правлении колхоза, Варвара увидела синенький конверт, адресованный Серафиме Рублевой. Почерк был знакомый — Алексея Рублева.

— Товарищи, — закричала Варвара, — Алешка Рублев объявился!..

Она кое-как оделась и, не чувствуя под собою земли, выскочила на улицу. «Боже ты мой, как она перенесет такую радость?» — подумала Варвара, останавливаясь у дома Серафимы и с трудом переводя дыхание.

— Здорово живешь, Петровна! — донесся радостный голос Серафимы. — Почему остановилась у порога? Пожалуйте в ограду, пожалуйста.

Ворота, калитка и дверь избы распахнуты настежь. В глубине двора желтел выскобленный от грязи, выметенный и сухой пол. Внутри крылечка виднелась лестница, тоже мытая, чистая, посыпанная<sup>1</sup> пихтовыми ветками. Посредине двора со скребницей и метлой стояла Серафима, такая же неузнаваемо-веселая, рослая, как и на Гарях. Варвара с молчаливым изумлением смотрела на нее — отчего Серафима радостная? Чем счастли-

ва? Предчувствовала наверное свое счастье?

— Что, гостей дожидаетесь, Серафима?

— Какие конче гости, Петровна? Со скуки я чистоту навожу. Пойдем, Варюша.

Пол в избе выскоблен, вымыт. Стол, лавки, деревянная посуда тоже светлые, без единого черного пятнышка. Окна промыты. Печь побелена. Ведра, кадки, стулья аккуратно расставлены. На делях свежие рубашки, платья.

Серафима, чертая брагу, украдкой следила за взглядом Варвары. Подавая жбан, виновато, в чем-то оправдываясь, сказала:

— Ради первого морозного дня я прибралась. Испей же! Поверишь, Петровна, только с морозом и оживаю. Сожгу я летом, слабосильная, ровно одурелая целуюсь.

Варвара вышла, передала жбан Серафиме, вытерла губы.

— Так, стало быть, ради мороза ты такая радостная?

Жбан в руке Серафимы задрожал. Ее хрупкое тело сразу ссутулилось, обмякло.

— А чего нам еще веселиться? — пробормотала она, робко вглядываясь в Варвару.

Дети встревоженно притихли.

Варвара достала из рукава полубубка синий конверт.

— Держи, Серафимушка, дождалась!..

Оленьи горы, чуть припорошенные снегом, безмятежно, радостно розовели на солнце.

### XXXIV

Посреди ночи в окно раздался сильный нетерпеливый стук.

— Кто там? — прильнув к ясной не замерзшей оконнице, спросила Олимпиада, заночевавшая у свекрови.

— Это я. Липа, отложи запоры пошибче! — донесся умоляющий голос Варвары.

Олимпиада накинула на голые плечи шаль, всунула босые ноги в валенки, побежала к воротам.

— Липонька, голубушка, родненькая! — Варвара дрожала с ног до головы и, увлекая за собой Олимпиаду, пронеслась по крутым сходням в избу. Марья уже вздула огонь. Голова Варвары была не покрыта.

— Господи, спаси и помилуй! — перекрестилась Марья. — Варька, чего с тобой!? Какой лешак облизал тебе пятки? Очумела ты, аль как? Подь на печь, непутевая. Липа, дай шаль!

Согретьшись на печи, немного придя в себя, Варвара торопливо заговорила:

— Разволновалась я сильно ветор... Всю ночь не спала. Радость Серафимы видела, а во сне такое привидилось, такое...

Марья слушала невестку, сидя на краю печи и процеживая через полотняную тряпочку мутновато-зеленую, настоенную на кореньях и травах, с тяжелым запахом жидкость.

— Не бойся, Варя, Когда я с Кузьмой под сердцем ходила, мне тоже разные страхи во сне виделись. На, испей горичцвету весеннего, успокой сердце.

Варвара взяла стакан, поднесла к губам, вдыхая отвратительный запах весеннего горичцвета.

— Знаешь, мне приснилось, будто мой Кузя без рук, без ног явился.

— Вот, вот! Поделом тебя и давит тоска, Ух ты, непутевая! Мне Кузя сын, так я сроду не подумаю про него такое, чего не надо. Матери Кузька все мстится махоньким, беленьким, бессловесным ребенком, а тебе...

Марья сердито подвинула табурет поближе к лампе, загремела тяжелой дубовой прясницей, прилаживая ее черень в долбленное гнездо копыла.

— Хочешь скажу, чего наш Кузьма сейчас делает? Над огнем сидит. Он любистый, сама знаешь, до ночных костров! Вот этак, боком к огню повернулся и обвертки сушит! — Марья представила, как Кузьма сидит у костра и как сушит портянки, — Право, как живого вижу. Охохонюшки, нету любви крепче материнской — и в огне не горит, и в воде не тонет. До гроба неизменячивая. Никаким наговором ее не вытянешь. Надоело ждать, Варя? Бабья кровь на дыбы вздымается? А ты ее по зубам, по губам.

— Мама, да разве я?

Марья сердито поплевала на плохо снующуюся нитку.

— Все они, мои робята, живые красуются и тут... и тут... — Марья указала на сердце и глаза. — Степка, тот хоть и не даже ладный мужик, а воюет геройски. Право, не хуже! Серпунька, ежели и пуля в него попадет, он, зубоскал этакий — бессмертный. Он своим весельем перемнет всякую, какую ни есть, рану. Трое их на фронте у меня, об каждом, как о живом думаю. Охохонюшки! Нету роднее и любше на свете родни, чем родная матушка. Испей!

Варвара выпила горький, царапающий горло настой. Марья приняла пустой стакан, по привычке вытерла тылом ладони его края, нацедила еще зеленой жидкости, вышла сама, дала Олимпиаде. Молодушка, усмехаясь, отвела стакан рукой.

— Не надо мне твоих лекарств.

— Экая терпелая! — рассердилась Марья. — Глядь-ка, ничего ее не берет. Я всю ночьку не вздремнула, а она как медведь храпела. Вон тебя куда — на войну с немцев шкуру драть!

— И пойду. Думаешь, не пойду? — серьезно, строго сказала Олимпиада.

Марья испугалась.

— Попугила я, Липа. Вишь беда чистая, так дивно горичцвет по жилам побежал! А у тебя, Варя?

— Не берет он меня. Дай руку, мама. Слышишь, как стучит сердце — боюсь, выскочит. Я не все еще рассказала... Проснулась, слышу в ворота брякает кто-то. Дюжая рука брякает, мужская. Слышу, и голос мужской. Да не чужой, а Кузьмы. «Открой, Варенька, открой!» Вскочила я с кровати вот так босая да и побежала открывать. Открыла — никого. Может с Кузьмой что...

— Не каркай, беспутная, не кличь беды, Тужность, она через моря и горы перекидывается.

— Правда?

— Еще как. Перекидывается! Когда мой покойный Иван вернулся с германской, мы с ним разговорились, когда и как он тужил на войне — все концы сходились на моей тужности. А когда я веселилась тут, веселился и он на войне. Кузьма весь в отца вышел: душа у него такая же — все слышит, обо всем догадывается! Право! Ну, ты, Варька, на печи досыпать станешь, аль на кровать пойдешь?

— Я тут с Липой повечерую, — ответила Варвара.

Олимпиада бросила на печь две подушки, дерюгу, стеганое одеяло, прильнула к Варваре.

Густо вызвездило. Вокруг луны широко разалася молочная луна света. Марья сидела у окна, положив локоть на ладонь, подперев другой ладонью подбородок с висящей кожей, вглядывалась в дорогу, по которой никто не ехал и не шел.

Вдали на крутом спуске Оленьих гор послышался робкий, тоскливый звон колокольчика почтовых саяей. Прозвенов по деревне, он скоро затих в тайге.

Варвара притихла, но думать о Кузьме не перестала. Свет месяца щедро струился в избу сквозь ясные, непромерзшие окна. Чистый, без единото пятнышка, первозданный снег покрывал поля. Нет ни оврагов, ни бугорков, ни бурьянной целины, ни озер, ни черных кудрявых пашен. Тихо в долине, а там наверху, над горами, бушуют ураганы, не позволяя единой снежинке задержаться на каменных утесах. Черные, будто выжженные из дерева, выделяются горы на белом просторе.

XXXV

Волна наступления докатилась до мшистой, сочащейся водой земли, до поры до времени остановилась.

Поздний майский день похож на октябрьский: из серых, низких облаков льется и льется дождь. У амбразур сидят и лежат пулеметчики, стрелки, бронбойщики. Неподвижные, молчаливые, в се-



рых шинелях, мокрые, они сливаются с бурозеленой весенней землей. И так же, как земля, они бесконечно терпеливы: с самого утра стерегут передний край противника — не покажется ли над бруствером рогатая голова немца? Не поползет ли поднощик пиши по болотной тропинке? Не появится ли где новый куст? Не вырвется ли из лесу на бревенчатую дорожку танк? Тишина. Слышно, как шумит в кустарнике густой весенний дождь.

Чуть где послышится шорох, закачается ветка — пулеметчик Бороздов сейчас же прочесывает подозрительное место длинной, брющей очередью. Когда он стреляет, его зубы крепко сжаты, а вокруг черных глаз разбегаются крупные, злые морщины. Он прекращает стрельбу и жадно, затаив дыхание, прислушивается — не заскулит ли в последний раз подстреленный немец? Нет, сегодня тишина. Бороздов хмурится и, прильнув к пулемету, снова погружается в наблюдение. Мелкий вьедливый дождь струится по его зеленой каске. Шинель, щедро пропитанная влагой, уже не принимает ее — вода стекает на дно окопа. Большой, стиснутый рыжыми слезящимися стенками окопа, Бороздов не замечает своего неудобного положения. Кажется, он никогда в своей жизни ничего другого не делал, как только подстерегал немцев из своего гнезда охотника.

Яростный говор «Максима», и вслед за тем — радостный крик Бороздова.

— Есть!... — он отрывается от пулемета, вытирает мокрый лоб. Теперь видно, что это вовсе не угрюмый, вовсе не злой человек. Он широко, по-детски улыбается, достает из нагрудного кармана шинели книжечку в коленкоровом переплете и, сложив в карандаш, ставит толстую жирную палочку, а в кружочке — число, месяц и год, когда убил очередного немца.

Бородатый Иван Горобец с искусством, известным только бывалым солдатам, оплетает рыхлае стенки окопа плетнем из свежих, размяченных соком весны прутьев. Оплетает не как-нибудь, не на день, не на два, а надолго, добротнo, любовно, красивым узором, будто собирается здесь, в окопе, вековать. Дождь насквозь промочил его черную ватную куртку, и она блестит, как кожа тюленя. Неподалеку от Горобца Кузьма выкапывает водосточную канаву и откачивает воду. Уже давно скрытый от пуль врага, в длинной просторной шинели, в шапке, навиннутой на самые глаза, по колена в грязи, он все глубже и глубже, с действенностью человека, который ищет себе спасение в земле, с терпением крота вгрызается в мягкий, водянистый грунт. Разогнувшись, он рукавом мокрой шинели вытирает лицо и с обычным своим неутомленным спокойствием оглядывает окоп — все ли в нем отде-

лано так, как надо? Дождь не перестает. Журчит желтый, мутный ручеек. Каской, приделанной к палке, Хлебушкин черпает воду и выливает ее за бруствер. Каска в нескольких местах прострелена. Хлебушкин работает беспешотно, но вода не убывает. Он терпеливо черпает и черпает. Одно движение похоже на другое. Время от времени немцы упражняются в стрельбе по мелькающей каске. Из сотни разрывных пуль одна пробила черпак. Хлебушкин заткнул пробойку тряпочкой и снова принялся за свое однообразное дело.

Закончив отделку окопа, мокрые, усталые бойцы сошлись у центральной стрелковой ячейки.

— Эх, закуришь бы, — вздохнул Иван Горобец. — Тряси карманы, братки.

Наскребли щепотку сырого самосада. Горькая душистая дыгарка переходила от одного к другому. Курили с наслаждением, молча. Мокрые, измазанные болотной землей лица солдат были счастливы. Привлеченный табачным дымом, прибежал из дальнего угла окопа Хлебушкин.

— Дружки, где же ваша повесть — дайте Кузьме Иванычу приложиться! — Он дрожащими губами схватил выкуренную почти до корня дыгарку.

Над окопом просвистели пули и прожужжали осколками разорвавшихся невдалеке мин. Дождь утих. Из середины грязно-серых облаков постепенно вылушилось чистое, теплое солнце. Хлебушкин торопливо разулся, повесил сушить на плетень портянки: «пушай маленько проявятся на солнышке». Легкий дымок закурился над солдатами — высыхали шинели.

Над окопами низко повис неутомный песенник — жаворонок. Бойцы, щурясь на яркое солнце, с просветленными улыбающимися лицами смотрели в синее небо. Хлебушкин, растирая опухшие от болотной жизни ноги, усмехнулся в свои коротенькие, недавно отпущенные усики.

— Мудрая птица, душевна!.. Глядите, немецкий окоп рядом, рукой подать, а жаворонок туда не летит. Все над русскими вьется, русских своей песней тешит.

— Братцы, шо я бачу, шо я вижу, если б вы знали!.. — воскликнул неутомный весельчак Воронько.

Он прошел огонь многих фронтов, бесчетное количество раз раненый, остался красивым, живым, несмотря на свои тридцать пять лет, неустанно искал всюду и везде радостей жизни. Все в окопе насторожились. Кое-кто заранее заулыбался. Все ждали чего-нибудь смешного. Наблюдая через перископ, спрятанный в ветвях кустарника, Воронько сказал:

— Братцы, я вижу ландыши! Чтоб я с места не встал — пленные ландыши! Чуть

стемнеет, пополу освобождают. Як шо убьют, так вы, братцы, пропишите на Украину, шо Воронько загинул, вызволяючи из немецкой неволи весенние ландыши.

Немцы, будто услышав слова Воронько, открыли бешеный огонь.

— Дзассохов пожаловал! — сказал Хлебушкин.

В самом деле, в окоп вполз с термосом на спине, простреленным во многих местах и заделанным затычками, старшина Дзассохов, прыжный и мокрый, с протертыми коленями и локтями.

— Здорово, джигиты! Каши горячий я вам принес — распосыбайся!

— Письма давай, письма! — раздались голоса.

Дзассохов, сопровождая каждое письмо веселой прибауткой, роздал корреспонденцию. Счастливишки разошлись по окопным уголкам. До самого вечера каждый носил тайну письма в себе. Вечером, после ужина, в свежей сырой землянке, около жарко пылавшей печурки сидели свободные от ночной службы бойцы. Вслух прочитали свои письма Бороздов, Пуржаев, Романидзе. Дошла очередь до Хлебушкина.

Лужаво шурясь, Кузьма Хлебушкин поднес тетрадочный листок поближе к огню. Не поднимая на товарищей глаз, начал читать.

«Дорогой мой Кузьма, муж мой сердечный, не гневайся за то, что не угодила я твоей радости — родила тебе не сына, а дочь. Уж как я старалась угодить, миленький! Мать твоя по старому, обычаю советовала мне купаться в отваре тех цветов, какие мужское прозвание имеют, и каждую зорюшку на крыльцо выбегать, под ущербный свет весеннего месяца. Погоревала я капельку, а теперь привыкла и радуюсь нашей девочке. Если бы ты ее только видел! Кудрявая она, как барашек, ясноглазая и тихая-тихая, вся в тебя. Живет она уже два дня безо всякого имени. Кормлю я ее, голубоньку, убаюкиваю, песни пою, а по имени не называю. Напиши ты мне, как назвать нашу девочку. Выбери имя себе по душе, а мне понравится всякое, какое ты придумаешь. Только не томи, пиши поскорее. Сообщаю тебе, Кузя, Серафима Рублева получила письмо от Алешки. Он жив и здоров, воюет, был у него какой-то тяжкий проступок, за что он чуть не лишился жизни. Раненый попал в госпиталь. После выздоровления он участвовал в тяжелых боях, немецкой кровью искупил свой грех, получил медаль «За отвагу». Шлет он тебе самую высокую благодарность и клянется, что во век не забудет тебя. Напиши, родной Кузя, за что он тебя благодарит? Серафима расцвела, работает за троих — не налюбуемся ею. Твоя жена (Варвара».

Кузьма Хлебушкин бережно вложил письмо в красноармейскую книжку, виновато и смущенно улыбаясь.

— Вот, братцы, какая задача: думаю, думаю и все не придумаю, как назвать, чтоб по душе было имя. Давайте вместе порешим, а?

Жаркое пламя весело тудело в раскаленной докрасна печурке, ярко освещая тесную землянку, все ее черные углы и лежащих на свежем ельнике бойцов в полном обмундировании, в обнимку с автоматами. Шумел белый жестяной чайник. Терпко пахло хвоей. Бойцы с просветленными и чуть лужавыми улыбами молча смотрели то на огонь, то на отца безымянной дочери и не торопились подсказать ему имя. Характер Хлебушкина всем известен. Кто первейший человек на всякие выдумки, басни? Хлебушкин. И если он не может придумать имя собственной дочери, то кто же другой способен на это!

Иван Горобец ласково положил руку на колене Хлебушкина и, подержав ее так, молча, будто дожидаясь, пока ток из его сердца перельется в сердце товарища, сказал:

— Назови ты ее, Кузя, самым святым на нашей советской земле именем. Ну, а какое у нас сейчас самое святое имя, сам знаешь.

— Победа! — подсказал Яша Радес.

Иван Горобец кивнул головой.

— Вот так и назови — Виктория. Помнишь, мы вчера книгу про Суворова читали — любил Суворов это имя. Ты вроде памятник в собственном доме воздвигнешь, Глянешь на дочь — и душа возрадуется. Победа! Виктория!

Хлебушкин, ухмыляясь, сдвинул шапку на лоб, почесал затылок.

— Имя хорошее, верно, только не для живых людей, а для памятников. Победа Кузьминична, Виктория Кузьминична. Куда это годится?

Все засмеялись.

— Мне по душе какое-нибудь простое имя, для языка легкое, знакомое, что бы оно...

На переднем крае послышалась частая ружейная и пулеметная перестрелка. Бойцы вскопчили, бросались к выходу. Тяжело дыша, покрытый с ног до головы жидкой желтой грязью, с репьями в курчавой голове, порог землянки переступил Воронько.

— Все в порядке, успокойтесь! — и Воронько сбросил с плеча связанного по рукам и ногам немца, распутал веревку.

Это был щупленький, белесый фриц с глубокой бескровной полоской на переносице — многолетний след очков. Он лежал на земле и, как кукла, заученно, однообразно-заискивающе улыбался.

Бойцы с приевшимся любознательством, презрительно и, как водится, роняя креп-

ко послоненные словечки, рассматривали пленного.

На переднем крае тем временем поднялся переполох. Пулеметная и ружейная стрельба усилилась. Землянка сотрясалась от рвущихся неподалеку немецких снарядов.

С неожиданного и негаданного конца взревела огненная буря «катюш». Десятки мин, распиливая воздух, словно гигантские огненные капли полетели на немцев. Сколько уж раз видели и слышали бойцы чудесную музыку «катюш», не вытерпели, чтоб не полюбоваться ею и теперь. Открыв дверь землянки, они с радостными, восхищенными улыбками провожали видимые в ночном небе, будто наполненные солнечным светом огромные мины.

— О, майн готт! Майн готт! — забормотал немец, — «Катюша!» «Катюша!»

Лицо его почернело, глаза почти вываливались из орбит, как у доклой рыбы.

Поняв причину его припадка, бойцы расхохотались. Хлебушкин с лукавым добродушием сказал:

— Видно, здорово «приласкала» его когда-нибудь «катюша» — по гроб жизни будет помнить.

Над передним краем установилась тишина. Воронько встряхнул пленного за шиворот, чем привел его несколько в чувство.

— Ну, завоеватель мира, пойдем анкету зашланять.

Воронько вытолкал немца, обернулся на пороге землянки, достал из нагрудного кармана чуть привявший ландыш, понюхал, подмигнул:

— Все-таки вызволил!

Улыбаясь, провожаемый улыбками, вышел.

— Вот, Кузьма Иванович, — сказал Горобец, — и самое земное и самое святое имя твоей дочери нашлось — Катюша! Лучше, братец ты мой, во век не придумаешь. Катюша! Катюша!

Кроме радости, на лице у всех бойцов было удивление — как это простое имя, самое любимое на фронте, сразу, никому не пришло в голову.

Хлебушкин свернул толстую цыгарку, долго и жадно раскуривал ее.

— Верно, товарищи, лучше этого имени, пожалуй, вовек не придумаешь. Много, братцы, скрыто для нас в этом имени Катюша!

Хлебушкин задумчиво прижмурил глаза, словно разом вспомнил все поля прошедших боев и увидел поля будущих битв.

— Ну, а чем твоя новорожденная Катюша прославится? — с лукавинкой спросил Иван Горобец.

Хлебушкин открыл глаза, и в них вспыхнула отвага мечтателя.

— Моя? Вернусь, вот, с фронта, так я ей сорок дней и сорок ночей буду рассказывать про радость и счастье людей, каких мы освобождаем от немецкой неволи. Наслушается она, подрастет и в девичьи, задумчивых песнях всю красоту счастья изольет. Вот этим и прославится. Может еще и вам, братцы, песен моей Катюши доведется послушать. Кто жак, а я верю и в это.

Хлебушкин вновь, плотно прижмутив глаза, замолчал. В свете жаркого пламени его широкое лицо было светлорозовым, будто подоженным изнутри.

*Северный Урал,  
Действующая Армия, 1942—44 г.*

# РУССКИЙ СЕВЕР

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

★

## 1. КРУЖЕВА

Я не знаю — она жива  
Или в северный ветер ушла,  
Та искусница, что кружева  
Удивительные плела,  
В Кружевецком сельсовете  
Над тишайшей рекою Нить...  
Кружева не такие, как эти,  
А какие — не объяснить.

Я пришел в Кружевной союз,  
Попросил показать альбом,  
Уверял я, что разберусь  
Без труда в узоре любом.  
Мне показывали альбом —  
Он велик, в нем страницы горбом,  
И, как древних сказаний слова,  
По страницам бегут кружева.  
Разгадал я узор сполох,  
Разгадал серебряный мох,  
Разгадал горностаевый мех,  
Но узоров не встретил тех,  
Что когда-то видал в сельсовете  
Над тишайшей рекою Нить...  
Кружева не такие, как эти,  
А какие — не объяснить.

Я моторную лодку беру,  
Отправляюсь я в путь поутру  
Ниже, ниже по темной реке...  
Сельсовет вижу я вдалеке,  
Не умеют нигде на свете  
Эти древние тайны хранить,  
Как хранят их здесь, в сельсовете,  
Над тишайшей рекою Нить!

Славен древний северный лес,  
Озаренный майским огнем!  
Белый свиток льняных чудес  
Мы медлительно развернем.

Столько кружева здесь сплели,  
Что обтянешь вокруг Земли —  
Опояшешь весь шар Земной.  
А концы меж землей и Луной  
Понесутся, мерцая вдали.  
Славен промысел кружевной!

Только эти ли кружева?  
Мастерица!  
Она жива?  
Да, жива!  
И выходит она,  
Свитой девушек окружена.  
Говорит она:  
— Кружева мои  
Те же самые, те же самые,  
Что и девушки, и молодухи!  
Не склевали наш лен воробушки,  
Не пожрали наш лен черны вороны,  
Разлетелись они во все стороны.  
Живы, цветики, вы льняные!  
Где ж вы, братья мои родные?  
Встаньте дети на рассвете  
Веселиться, брагу пить  
В Кружевецком сельсовете.  
Над рекой глубокой Нить.

— Почему ж твой голос гневен?  
Потому, что я жива!  
Я заморских королеву  
Одевала в кружева.  
Вот он, свиток мой льняной!  
Я из сумрака лесного,  
Молода, встаю весной.  
Я иду!  
Я на рассвете!  
Встретьте девицу-красу  
В Кружевецком сельсовете,  
В древнем северном лесу!

★

## II. ДИВНАЯ СТРАНА

Кто ответит — где она?  
 Затопило ее море?  
 Под землей погребена?  
 Ураганом сметена?  
 Кто ответит — где она,  
 Баснословная страна — старых сказок Лукоморье?  
 Это я отвечу вам!  
 Существует Лукоморье,  
 Побывал мой пращур там, где лукой заходят в море  
 Горы темные. У скал, где студеный вал плескал,  
 Лукоморье он искал.

Волшебную эту местность,  
 Страну великих сокровищ,  
 Где безмерна людская честность,  
 Но немало див и чудовищ.

Здравствуй, Северная Русь!  
 Ты, Югра, соседка, здравствуй!  
 Сказка здесь над былью властуй — различить вас не берусь!  
 Ветер северный мопуч, гонит тучи снеговые,  
 У них выи меховые. Белки валяются живые,  
 Соболя летят седые из косматых этих туч,  
 Прямо в тундру, за Урал. Там мой пращур их и брал.

Мол, к нашим дырявым овчинам  
 Пришьем драгоценны заплатки  
 Да сбудем заморским кунчинам  
 Мы красного меха в достатке!

Что мой пращур?  
 Гольтьба!  
 Он в лохмотьях шел тайгою.  
 Но свела его судьба с мудрой бабою-ягой,  
 То-есть с женщиной в яге — в теплой северной одежде,  
 (Я о встрече той в тайге вспоминаю и в надежде.  
 Что этнографы прочтут, и обдумать им придется  
 Все изложенное тут.. Шуба женская зовется  
 Там, на севере, ягой. Знай, этнограф дорогой!)  
 Баба-яга сердита.  
 «Ну, — говорит, — погоди ты!  
 Зря, — говорит, — не броди ты —  
 Женю я тебя на внучке.  
 Возьмет в золотые ручки!»

Верно, пращур?  
 Было так?  
 Золотым копьём блистая,  
 Поджидала вас, бродяг,  
 Дева-Идол золотая,  
 Сторожила берега Мангезеи и Обдорья,

Непреступна и строга, охраняла Лукоморье.  
Злата шкура на плечах,  
Золотой огонь в очах,  
Грейся, пращур, в тех лучах.

«Ах, гостеприимна!  
В чуме вот только дымно!»  
В губы не целовала,  
Мерзлую рыбу давала..  
О чем она толковала?  
— Пусть бьются князья с князьями —  
Народы будут друзьями!

Ты остался, пращур, там?  
Венчан снежными венцами?  
Ложе устлано песцами?  
Нет!

К волшебным воротам  
За тобою по пятам  
Шел подъячий со стрельцами.

Со стрельцами да с писцами, шли не с чистыми сердцами  
К Лукоморским воротам,  
И закрылись ворота,  
И в туман укрылись горы,  
Схоронилась в обзоры  
Дева-Идол золота.

И волны гремели на взморье,  
И ветры над Камнем шумели.  
Исчезло, ушло Лукоморье,  
Хранить вы его не сумели!  
Лукоморье!  
Где оно?

Не участвую я в споре  
Тех ученых, что давно потеряли Лукоморье  
На страницах старых книг, в незаписанном фольклоре.  
Знаю я: где север дик, где сполоха ал язык —  
Там и будет Лукоморье,  
Там, у дальних берегов,  
Где гремят морские воды,  
Где восстали из снегов  
Возрожденного народа —  
Лукоморье там мое!  
Там стоит, востократ богата,  
Опираясь на копьё,  
А, быть может, на ружье.  
Молодая Дева-Злата.  
Я не знаю — кто она, —  
Инженер или пастушка, —  
Но далекая избушка,  
Что за елками видна,  
Снова сказками полна.  
Здравствуй, дивная страна!

## III. ВОЛОГДА

На заре розовела от холода  
Крутобокая белая Вологда,  
Гулом колокола веселого  
Уверяла белая Вологда:

— Сладок запах ржаных краях!

Сладок запах ржаных краях,  
Точно ягодным соком полных,  
И у севера есть свой юг —  
Стережет границу подсолнух.

Я согласен, белая Вологда!  
Здесь ни холода, и ни голода,  
И не зря в твой северный терем  
Приезжал скорбеть по потерям  
Грозный царь. И на белые стены  
Восходил он оплакать измены,  
И отсюда в град свой стольный  
Возвращался он смиренный, довольный,  
Вспоминая твой глас колокольный...

Сладок запах ржаных краях!

И не зря по реке Золотухе  
Петухи плывут краснобрюхи,  
Кукареча, что гости незваны —  
Тати, вору, цари самозванны,

Да приبلудные чудные паны,  
Да таинственные монахи  
На мостов скрипучие плахи  
Не решались вползти и на брюхе —  
Устрашались Золотухи!

И не зря по речным берегам,  
Там, где Кремль громоздится в тумане,  
Бред татарский царек Алагам,  
Отказавшийся от Казани,  
Бред он тут, повторяя вслух:

— Сладок запах ржаных краях!

То-то, Вологда!  
Смейся, как смолода!  
Тело колокола не расколоть.  
Синеглазый лен,  
Зерен золото.  
И пахала ты,  
И боронила ты,  
И хвалила ты,  
И бранила ты..  
Сколько жизней захоронила ты,  
Сколько жизней и сохранила ты.  
Много зерен здесь перемолото:  
Так-то, Вологда,  
Белая Вологда!

# ДАВИД-СТРОИТЕЛЬ

*Исторический роман\**

КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА

★

9

## ЧЕРНОКНИЖНИКИ

«Пока не увижу своими глазами — не поверю».

*Баграт IV.*

В страстной четверг произошло землетрясение.

Протодиакон на амвоне выронил из рук евангелие, присланное из Иерусалима матерью Баграта IV. Книга, заключенная в кованый золотом шереplet, упала на пол, распалась надвое.

Тревожные перешептывания и разговоры вызвало это происшествие в Кутаиси и в Гегути.

На тысячу ладов толковали его попы и монахи. Одни говорили, что надвигается раздор между отцом и сыном, что увенчается царским венцом царевич Давид и отторгнет он Тао и Картли<sup>1</sup> от отцовских владений. Другие полагали: объявит себя грузинским царем эристав Липарит и в день пасхи будет помазан во Мцхете.

Царь Георгий был суеверен. Испугался он, вспомнив ссору с архиепископом кутаисским, — уж не проклял ли царя рассерженный архипастырь?

Странные слухи ползли в этот год по Грузии и по Византии. Тысячами бродили по дорогам предсказатели, ведуны и монахи, шептали: потоп, что назначен был богом на тысячный год, перенесен богом на тысячу-сотый. С быстротою молнии облетели монастыри и приходы грузинского царства вести, привезенные мо-

нахом Козманом из Византии. Какой-то греческий инок в Константинополе поклоняется псу, как богу; мать Алексея Комнена, Анна Далассина, примкнула к этой «собачьей секте».

Победа над половцами была обещана наперед предсказателем-цыганом. Монах Козман привез в Триалети черную книгу, озаглавленную: «Знамения господни во образе землетрясений».

В страстную пятницу остановился в роще, вблизи Гегути, табор, душ в сто, кочевого племени «Ацынганы». Имя это пришло в Грузию вместе с табором из Византии. Племя цыган вышло из Индии, появилось сначала в египетских землях и там разделилось: одна часть перекочевала в Иран, постояла с год в Исфгани, потом поднялась вдоль побережья Каспийского моря и проникла в Кахети. Другая часть, двигаясь из Константинополя через Тао-Кларджети, достигла в конце концов Гегути.

Те, что кочевали по Кахети, не восприняли в Иране фарсийского языка, речи их не разумел никто. Те, что попали в Имерети, говорили по-гречески.

Были цыганы черны лицом, отпущками неимоверно длинные ногти. Дрожью и изумлением наполнял суеверных людей их облик. Одни принимали их за дьяволов, другие говорили, что цыганы хотя и люди, но пришли с рубежа Темного Царства, путь их лежал через преисподнюю, и там опалили они себе бороды и волосы адским огнем.

Махара видел цыган не раз — в Багдаде, в Константинополе, в дунайских землях — и подтверждал: цыганы — люди, занимаются чернокнижием, а то и крадут, что подвернется.

И еще слышал Махара: когда осадили сарацины город Перангу, нагадала одна цыганка начальнику крепости привести двенадцать беременных женщин, ме-

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир», № 10.

<sup>1</sup> Картли — самая большая провинция Грузии, простиралась в X—XI в. от Кахетии до Карса, в нее входили эриставство Джавахети, Самцхе и Тао-Кларджети.



тать между ними жребий и ту, которую укажет судьба, бросить в кипящую воду, — в то же мгновение враг обратится вспять. По совету цыганки сварили беременную женщину в котле, но сарацаны все же взяли город и истребили жителей.

С утра приставал Махара к царевичу и Нианиа, тянул их на берег Риона, к цыганам гадать о будущем.

Очень хотелось ему узнать, что скажут ведуны наследнику грузинского престола.

— А что они могут знать, твои цыганки? — спросил старика царевич.

— Они открыли сивиллины книги для первого мужа царицы Мариам, Михаила VII Дуки, и предсказали ему за два года, что свергнет его с престола Никифор Ботаниат.

Улыбнулся царевич, ничего не ответил.

— Что ж, всякое бывает, мой Махара, — сказал Нианиа, — говорят, однажды армянский поп в сердцах отшвырнул от себя ярмо, попал в зайца, бежавшего мимо, и убил его. Эти цыганки — большие пройдохи. Как только раскинут где-нибудь свой табор, тотчас порасспросят в округе, кто чем жив, у кого какая печаль, — и давай гадать!

Все же хотелось и Нианиа пойти к цыганам ради потехи, но не согласился царевич, и оба остались во дворце. А Махара уговорил двух монахов и отправился с ними.

С утра великое множество людей осаждало цыганский табор. Человек двадцать вооруженных цыган стояло у входа в шатер, все были одеты в пестрые лосмоты.

Лошади с ободранными спинами щипали на привязи траву.

Цыгане были черны лицом, белые зубы их сверкали, длинные ногти были выкрашены жюю в красный цвет, казалось, только что вытащили они пальцы из крови.

Одни лишь мужчины умели говорить по-гречески, женщины и дети лопотали что-то на своем «ацынганском» языке, нагоняя пущий страх на тех, кто считал их приспешниками нечестного.

Люди нетерпеливо волновались. «Начинайте!» — кричали они цыганам по-грузински.

Цыгане не понимали, чего хотят от них. Вышел монах Укруай, повторил им по-гречески.

Тогда цыгане вытащили большие песты, гладкие, как корабельные матчи, воткнули песты в землю, а веревки, привязанные к верхним концам пестов, прикрепляли к копьям, так что ни один из пестов не мог отклониться в сторону. Между пестами натянули канат.

Худощавый, крючконосый цыган взо-

брался по песту, встал на канат, снял с плеча лук и закричал что-то по-цыгански. Из шатра вышла женщина, поставила себе на голову яйцо. Крючконосый метнул стрелу, разнес яйцо на куски. Потом обвил ногами канат, кружился, стрелял из лука в разные стороны, кричал, хохотал без устали.

Другой пустил вскачь коня, потянулся за ним с хлыстом, ухватился за хвост и вскочил коню на спину.

Третий цыган поставил себе на голову копые длиною в десять локтей, с привязанной к острию бечевой. Мальчонка лет семи ухватился за бечеву, полез, стараясь что было силы, и добрался до вершины копыя.

Полунагие, с оголенными грудями цыганки сидели перед шатрами, объяснялись знаками с женщинами, что толпились вокруг. Средства от суставной ломоты, от кишечной слабости, от корчей продавали цыганки женщинам, каждое снадобье — за одно яйцо. Вокруг беззубой, полуслепой старухи сидели бесплодные женщины. Тут же пылал огонь, кипели глиняные горшки с разными смесями, стоял лекарственный запах. В маленьких бочонках извивались сотни пиявок.

Ломая греческую речь, цыганка предлагала женщинам траву-волчанку, волчий помет, смешанный с диким медом, толченую змеиную кожу, лягушечьи внутренности.

Тут же поблизости женщина с нарумяненными щеками объясняла разные приметы, связанные с зудом. Старый монах служил толмачом.

— Зуд в пальце правой руки — к победе над врагом; зачесется пупок у женщины — значит, родится у нее сын; коли чешется подбородок у старухи — к веселью.

Мужчинам, утратившим мужскую силу, давал советы старый цыган. Раздавал им семена нарцисса, советовал замесить в тесте лягушечью кровь с бычьей желчью и класть это снадобье себе на уд.

Низенького роста цыган собирал в шапку яйца, лопотал по-гречески:

— Если схватишь вора или лазутчика и не добьешься от него признания, надобно истолочь язычки головастиков, смешать их с заячьим пометом, дать проглотить преступнику — и тот откроется мигом.

Улыбнулся Махара: подросел бы вовремя цыган со своею наукой, не пришлось бы кричать под кнутом липаритовым азнаурам.

Чернобородый цыган заставлял плясать облезлого медведя; ведро с рукоятью висело на поясе у цыгана, в ведре плескалась мутная вода. Девчонка плясала, била в бубен, звенела колокольцами, потом подбежала к медведю, выдернула у него оставшиеся шерстя-

ки с хребта, кинула их в ведро, приговаривая какие-то заговоры, потом выбрала волоски из воды и раздала любопытным — повесить в ладонке на груди, как талисман.

Курчавый, толстогубый, с глазами на выкате цыган сидел, скрестив ноги, на земле. У его ног на песке была начерчена громадная рука. Согнувши пальцы своей правой руки, он поднимал ее вверх. Сперва выпрямляя указательный палец, говорил по-гречески собравшимся около него юношам:

— Это — Юпитер.

Потом показывал средний палец:

— Это — Сатурн.

Безымянный палец назвал он Солнцем, Мизинцу дал имя Меркурий.

Этого цыгана взяла на заметку Махара. Кое-что и сам разумел он в астрологии и теперь решил, улучив минуту, поговорить с цыганом наедине.

★

Как только вернулись от вечерни царевич и Нианиа, увиделись они в своих покоях — собираясь на утро в Кутаиси, хотели пораньше лечь спать.

Взмолился другу детства Нианиа: как-нибудь избавить его завтра от встречи с архиепископом кутаисским. Не любил архипастырь Нианиа Бакуриани. Не только зверей и птиц умел передразнивать Нианиа — в точности мог он воспроизвести голос любого человека.

Вспомнилась друзьям потеха с ряжеными, что была устроена десять лет назад в Гегутском дворце. Большую тышку взял тогда Нианиа, придал ей форму епископской митры, накрылся ризой, взял в руку евангелие и принялся рассказывать по дворцу, читая голосом кутаисского архиепископа. И как раз в это мгновение открыл пресвященный двери палаты.

— Какое кощунство! — вскричал разгневанный архиепископ, повернулся, пошел к царю Георгию и потребовал немедленно удалить Нианиа Бакуриани, дабы не вселял он неверия в душу царевича.

Нианиа и сейчас, лежа на постели, напевал голосом кутаисского архиепископа: — Святой боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!

Смеялся царевич, вспоминая детство, и вдруг увидел, что к нему в покои вошел кто-то чернолицый, огромного роста.

Изумился царевич: каким образом, митровов стражу и мандатуров, проник незамеченным во дворец этот человек? На чистом греческом языке заговорил непрощенный гость:

— Кошка — даже вооруженная ката-

пультый — может ли причинить вред львам?

И, распростершись на полу, воздал обоим почет, потом встал на колени, сказал:

— Из вас двоих один — царь, другой — его вази́р. Протяните мне правые руки, и по когтям я узнаю льва.

Улыбнулись оба. Для забавы протянули ладони. Незнакомец попросил позвать людей со свечальниками. Когда трое слуг осветили покои, он погладил левой рукой протянутые ладони, потом поклонился и произнес:

— Полихронион<sup>1</sup>!

Улыбаясь, сказал царевичу Нианиа:

— Уж не цыган ли этот человек?

И по одному этому слову понял смысл его речи, ответил незнакомец:

— Нет, господин, я не цыган. В Кахре усыновил меня цыганский червокшижник, и я остался в таборе. Сам же я — египтянин.

Затем он обратился к Давиду с хвалой, которую воздают кесарям, назвал его бази́левсом<sup>2</sup> и вновь смиренно просил протянуть обе ладони.

Долго рассматривал руки царевича курчавый арап, вглядываясь в линии и в бугры, бормотал что-то на непонятном языке, словно повторял молитву. Потом попросил придвинуть поближе свет. Над самой его головой встали люди со свечальниками.

Еще и еще глядел он в ладони царевича, и сказал Нианиа:

— Правая ладонь возвещает долгую жизнь, а левая — изобилие и славу.

Оперся арап на одно колено, взял царевича правой рукой за запястье, а шершавою левой рукой погладил ему нежно ладонь, вперил в нее выкатанные глаза и, наконец, сказал:

— Жизненные знаки — могучи, голынные — тверды, сердечные... — поколебался тут арап и пробормотал, как бы нехотя: — шатки, линия счастья... — опять умолк, но ненадолго, и снова пробормотал, — предвещает опасности. И но надо сказать: иного наследника счастливая звезда возводит на готовый престол славы и величия, еще предками воздвигнута ему опора, тебе же, о бази́левс, предстоит закалиться в пламени невзгод, ты — сталь, которой сарацины придают крепость на морозе, тебе, возросшему в бурях, не страшны тревожения мира сего. Многочисленнее морского песка твои враги, о бази́левс, они долгорукы и черноволосы, только у одного из них медные волосы и борода; замки его неприслушны, они отмыкаются единым ключом, и ключ

<sup>1</sup> Полихронион — многая лета (по-гречески).

<sup>2</sup> Бази́левс — царь (по-гречески).

этот хранит прекраснейшая из дев. Если сумеешь склонить к себе сердце девы, то и замки отомкнутся тебе без сопротивления.

Всматриваясь в ладонь, долго молчал таинственный гость, потом, подняв голову, сказал:

— Вот опасная линия,—и опять, взглянув на Нианиа, обратился к нему: — Стрела и клинок врага бессильны против царя; только женщины и коня должен он остерегаться, в них таится опасность.

— А что говорят брачные линии? — спросил Нианиа.

— Женитьба — темна. И здесь тоже таится опасности.

Отнял руку от прорицателя Давид, сказал Нианиа с улыбкой:

— Мне больше по душе слова моего деда: «Пока не увижу, своими глазами, не поверю».

Чернокнижник поднялся с колен и, пожелав хозяину доброй ночи, неслышно исчез, пятясь задом до самых дверей.

Столь же внезапен был его уход, как и появление, даже не успел одарить его царевич. Поднялся, пошел вдолгую, но незнакомец успел уже выйти наружу и слился с тенями колонн в проходе.

За дверьми, затаив дыхание, стоял Махара.

— Кто это был, Махара?

— Гость вечерний, — ответил тот, шагнул через порог, и вздохнул. Подсел к Нианиа и сказал:

— Во дворце Малик-шаха, в Исфгани, цыганы гадали о будущем. Этот, курчавый, сказал: «Не сесть шести на одном». Малик-шах проник в тайный смысл гаданья: шесть лет исполнялось шахову внуку, а престол халифа — один во всем мире. Разгневавшись, султан изгнал цыган из Исфгани.

Опустив голову, сидел Махара.

Царевич спросил его, почему он грустит.

— Не нравится мне этот человек, — ответил Махара.

— Почему? — спросил Нианиа.

— Волосы у него чернее вороньего крыла и сам он арап.

— Пусть и арап, так что же? Трех арапов держал у себя во дворце Баграт куроцалат, — сказал Давид.

— Арапы — сыны Дявола и Евы.

— Зачем же ты привел его во дворец, коли боишься?

— Привязался проклятый: покажи да покажи царевича!

Махара поднялся с места.

— Эх, кто знает, быть может, все, к чему мы стремимся, окажется всего только дьявольским наводнением?!

И сказав это, вышел из покоя.

## ПОВЕРЖЕННЫЙ ДВОРЕЦ

«...О Брама, правитель вселенной.  
Ранее ночи пришла эта ночь».

В Гегутском дворце шли большие приготовления к пасхе.

Прибывали с дарами посланцы из Бедии, из Чкондиди, из Гелати, Адхвари и Таоскари. Закололи множество скота. Но царицы Мариам и византийских гостей все еще не было.

Царь Георгий терялся в дотадка; вероятно, думал он, пронесся и по Черному морю тот вихрь, что бушевал на прошлой неделе в Грузии.

В страстную пятницу не присутствовал царь на торжественной службе в Кутаиси, не был на выносе плащаницы, не слушал вечерни в храме Баграта. В страстную субботу до самого обеда ждали в Гегути византийских гостей. А после царь с семьей и духовенством отправились в Кутаиси.

Нианиа Бакуриани и азнауру Моркневели пожаловал царевич пару чистокровных жеребцов, сам же приказал оседлать Куджая, что звался ранее Турком.

Как только выехал на дорогу царский поезд, был он встречен Шергилом Липариани и Чкондидели вместе с мегрельскими азнаурами.

В день воскресения христового должен был служить в храме Баграта архиерейской кутаисский с девятью епископами.

Махара, воспитанный при дворе византийских кесарей, любил пышную пасхальную службу: разряженных епископов в омофорах из виссона, пасхальную заутреню и крестный ход вокруг церкви. Очень хотелось ему сопровождать в Кутаиси царя Георгия. Но не согласился Георгий взять с собою Махару.

— Нельзя тебе отлучаться из дворца! — говорил он. — Кто же в случае внезапного приезда гостей будет хозяином в Гегути?

Было приятно Махаре, что возложили на него такую почетную обязанность. Но, когда ветерок донес до него церковный благовест, проникла в сердце нежданная печаль; вспомнились давние времена, счастливые дни христовы воскресенья и особенно один из них, проведенный в Константинополе, при императорском дворе.

В ту ночь прождали немало в Магнавском дворце<sup>1</sup> выхода Романа Диогена и Евдокии. Взволновался иберийский рыцарь, когда увидел императрицу: рубины сверкали на ее лоори; куропа-

<sup>1</sup> Известный дворец византийского императора в Константинополе.

латы и домашники простерлись ниц на мраморном полу.

— Полихронийон, — возгласила кесарю и его супруге.

Потом началось церемониальное шествие синклита из Халкидона к собору святой Софии.

В толпе рыцарей, одетых в золоточные скарамани, стоял закованный в золоченные доспехи Махара и украдкой любовался на благочестиво простертые к небу прекрасные руки Евдокии, еще прошлой ночью в любовной неге обвивавшиеся вокруг его шеи на золотом ложе гинекеи.

А жоры пели: «Суп crucifixus est sepultus et terredie de resurrexit»<sup>1</sup>.

Это была последняя, счастливая паша в бурной жизни Махары. А потом... Потом гневом обрушился небосвод на его многострадальную голову...

Шел по липовой аллее Махара, доносилось до него с берегов Риона кваканье лягушек, протяжное и однообразное — душа его переполнилась тоской до краев. Тени гигантских дубов легли вокруг замка. Дымчатые тучи спешили к западу. Показалось ему невозможным провести паскальную ночь в Гегули одиноким среди дворцовой челяди. Сообразил: под утро нечего ждать приезда гостей. Можно еще поспеть в Кутаиси к заутрене.

«Возьму лошадь», — подумал он.

Конюшни стояли за оградой замка. У ворот напала на Махара падающая. Скорчилось беспомощное тело, запутался шаг, веретеном закружила его странная сила и потянула упасть на землю. Главный смотритель царских табунов случился рядом. Лишь за день до того был он переведен сюда из Карталинии, не знал Махары и никогда не видал больного падаучей болезнью.

Поднял крик смотритель.

Сбежались люди, связали руки припадочному, оттерли виски, порызгали студеной водой. Быстро пришел в себя Махара. Забыл о поездке в Кутаиси, вернулся во дворец.

Потом он опять, как обычно, бегал за мандатурами.

— Что ты ходишь с метлой — метла не будет места одна, без человека, — кричал он начальнику дворцовой челяди.

— Эй, ты, головастик, полно болтать языком, пошевели немного руками, — сердился он на начальника кухни.

Пуще чумы ненавидели Махару мандатуры, зато был он любим холопами и рабами. Рожденный женщиной из народа, был он полон жалости к людям простого звания. Жалея рабов, трудивших-

ся в хлебопекарне, на кухне, на скотном дворе, часто беседовал с ними, баллагурил зашпосто.

И теперь перекинулся шуткой с мясником, перепачканным кровью:

— На султана Алып-Арслана стал ты похож, Хвтисавар.

Мясник улыбнулся, ничего не поняв.

— Когда овладел Алып-Арслан городом Аниси, приказал он убить десять тысяч армян, наполнил бассейн христианской кровью и выкушался в ней с наслаждением.

— Хорошо, что похож я на султана, а не на раба! — шробормотал Хвтисавар, отпущенный раб.

После оскпления не прикасался Махара к мясу и теперь рассматривал с отвращением освежаванные олени туши, выпотрошенных телят и разделанных коз, развешенных на крючьях. Слово подчиненное после стирки белье, лиловело мясо убитых животных. Длинные ряды лежали на полках коровьи, бараньи, бычьи головы. Невысказанная тоска таилась в померкшем взоре оставшихся открытыми глаз.

— Экой кровопийца — человек. Убили столько скота, а завтра съдут вокруг стола люди, именующие себя христианами, и поглотят все эти туши.

— И как еще поглотят! Косточки огложет дворцовая челядь.

Во дворе, вокруг рассыпанного для приманки зерна кудахтали сотни кур. Поварята хватили птиц, отрывали им головы, бросали в сторону трепещущие тела. Живые птицы набрасывались на зерно, словно чувствуя, что едят в последний раз. Обезглавленные куры плясали на песке, а петухи, вытягивая шею, распаленные страстью, устремлялись к самкам.

Птичники бесстыдно хохотали, похабничали так, чтобы слышно было Махаре, потому что знали: любит скопец сквернословие.

С птичьего двора направился Махара к хлебопекарне. Вдруг увидел: незнакомый всадник подкакал к входной крепостной башне. «Посланец от Чкондидели», — подумал Махара.

Весь покрытый пылью, утирая рукавом пот со лба, стоял под липой гонец. Смотритель замка, уткнувшись носом в исписанный греческими буквами пергамент, с трудом разбирал послание. Извещал главный писмоводитель царицы Мариам: в Трапезунде долго ожидали корабли царицы юго-западного ветра. С великими трудами добрались до Хупты<sup>1</sup>, царица чрезвычайно утомлена. После фоминой собирается выехать из

<sup>1</sup> Когда распятый был погребен и на третий день воскрес.

<sup>1</sup> Хупта — город на берегу Черного моря вблизи Батуми.

Хупты в Тегутский дворец. Поздравляет с праздником братьев и невестку. Шлет поцелуй царевичу Давиду, но терпит ее увидеть молодую сушруту<sup>1</sup> его, которую хвалили ей без меры мхцетские монахи.

Не понравилось Махаре это известие. Вот придет Мариам, и ободрятся сторонники Русудан в Гегутском дворце. Проклинал мхцетских монахов, что ходили в Иерусалим ко пробу господню.

— Недаром предупредил я начальника кухни, чтобы не забивал столько скота. Тремстам азнаурам и девяти епископам осилить ли столько яств?

— Но ведь придет еще Липартиани с азнаурами и урблисский архиепископ со свитой!

До позднего вечера ходил Махара следом за главным стольником, начальником челяди и начальником кухни, не давал покоя мандатурам:

— Пошевеливайтесь! На рассвете вернется государь. Стол должен быть накрыт!

★

Во дворце засветили свечи в золотых канделябрах. Когда закончились все приготовления и мандатуры с прислужниками прилегли, чтобы освежиться коротким сном, Махара обошел еще раз погреб, пекарни и кухни. Повалившись навзничь прямо на землю, отдыхали люди. Вокруг зажженных под дубами костров сидели сонные поварята и лениво крутили вертела с продетыми через них цельными тушами. Трещал жир, капавший на раскаленные угли, парни рвали подгоревшее мясо, жевали в темноте во все челюсти.

Приметил Махара поваренка, который закивал себе в рот пороссятью ногу.

— Что, уже разговелся, Гио? — окликнул он слугу.

Парень еле успел отбросить в сторону кость и смущенно молчал.

— Уж не проглотил ли ты и язык, Гио? — спросил Махара.

— Бес вселился в него, оттого и отнялся язык, — пошутил Хвтисавар.

— Не смущайся, сынок, — успокоил Махара слугу, — не входящее в уста оскверняет человека, но исходящее из уст.

Наконец почувствовал усталость и сам Махара. Решил ненадолго прилечь в багратовой палате.

По углам сияли зажженные канделябры, масляные лампы теплелись перед образами.

Махара лежал на спине, смотрел на Баграта IV, изображенного на фреске южной стены.

Царь был написан сидящим на коне и облаченным в золотые доспехи. Мастер-

ской рукой нарисовал живописец дарского жеребца Куджая. Махара помнил, как писалась эта фреска, — помнил так ясно, словно это было вчера.

Мерцавший на стене образ отца наполнил теплой душой одинокого Махары.

Столько жизни вложил художник в картину, что зрителя тянуло заговорить с нею. В ярком пламени свечей сияли салмасуровые латы<sup>1</sup> всадника, красные его сапоги и тонкие кружева, окаймлявшие белую шелковую хламиду. А Куджай, с развевающейся на ветру гривой и расширенными ноздрями, вытягивая шею, глядел умными, большими глазами на воздвигнутую над скалой крепость, словно ржал, порываясь в битву.

Махара повернулся лицом к стене, задремал, но и сквозь дрему думал о запустевших делах Гегутского дворца.

Не преминут воспользоваться этой путинцей враги Багратионов!

Вспомнились Махаре показания триалетских азнауров. Если доселе знали в Гегути лишь то, что могло подслушать ухо лазутчика, то теперь в руках у царя были неопровержимые доказательства. Липарит хотел коварно убить царевича и Чкондидели, заманив их к себе в гости. Никому не простила бы подобной дерзости Баграт курошпат.

Жестоко поступил он с изменником Липаритом Третьим: взял крепость Лобани, принудил эристава бежать и в тот же день обесчестил сушруту Липарита, Мзиствал.

Гнев обуял Махару. Твердо решил он: сейчас же после фомингой недели посоветовать царевичу осадить Кладкари, ослепить Липарита, посадить Рати на кол, постричь Русудан в монахини и жениться на Дедисимеди.

Лишь таким путем можно было положить конец нескончаемой войне с домом Орбелиани. Махара верил прорицателям и ведунам. Вспомнилось ему предсказанье курчавого арапа.

Овладев триалетскими крепостями, покорил бы царевич и правый берег Куры, а тогда и Кахети подчинилась бы грузинскому престолу, тбилисский амир оказался бы замкнутым в кольце, и исполнилась бы давнишняя мечта Багратионов.

Постельничий монах Укруай, позванная кадьльницей, курил благовониями в покоях царевича, запах алоэ донесся до Махары. Он встал с ложа.

Тускло светила луна сквозь песочно-серую кисею облаков. Сталью отливала листья плауща, всползшего по стене до самого окна палаты. Из башни несло

<sup>1</sup> Салмасуровые латы делались в Иране.

многоголосое пение воинов, слуг и прочих замковых людей:

«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...»

Махара вздрогнул и почувствовал озлоб. Он снова прилег.

Вспомнил свое счастливое детство, что протекало в Гегутском дворце. Он лежал ничком, с мокрыми от слез глазами, и тихим голосом подпевал хору.

Дворцовый священник читал громким голосом:

— «Вначале бе слово, и слово бе к богу и бог бе слово... вся тем быша, и без него ничтоже бысть, еже бысть».

Около шестидесяти раз уже слышал Махара в пасхальную ночь этот стих, и только теперь дошел он до его сознания.

Задумался Махара:

«Неужели и в самом деле вначале было слово?»

Всю жизнь верил он, что вначале был меч. Мечу пожертвовал он и юность свою, и мужество свое.

Почувствовал странную дрожь, подумал: уж не вернулась ли падающая?

И вдруг под ним заколебалось ложе. Качнулась стоявшая напротив свечница. Замигали в стенных нишах горящие свечи. Послышалось жалобное повизгивание волчат. Во дворе замка завывала собака. И, словно ждали знака, тотчас же присоединились к ней еще несколько песьих голосов.

Махара встал, выглянул из окна.

Таинственно шептала в плюще черная ночь, окружавшая замок. Больше не видно было луны. Издалека доносилось кваканье лягушек.

«Почудилось!» — подумал Махара.

В покоях царевича монах лобзятивал кадилъницей.

И вдруг сотряслась вся палата. Едва успел вскочить на ноги старый воин, как услышал вопли монаха.

— Укруай! Гей, Укруай! — крикнул он громким голосом, чтобы ободрить монаха. И вбежал в покои царевича: распротершись ниц на кирпичном полу, вопил Укруай.

Махара поднял его, взял факел из ниши и сунул монаху в дрожачие руки.

Послышался леденящий сердце гул. Со стенных полок попадали на пол шеломы, покатились у его ног, словно отсеченные головы. Образа сорвались со стен, полетели на кирпичный пол, ломаясь на куски.

— Вставай! — крикнул Махара монаху, снова упавшему на пол с факелом в руках, и пошел впереди него, направляясь к багратовой палате.

Шагнув через порог, внезапно услышал он лошадиное ржанье. Он вляделся в по-

лумрак. Снова раздалось ржанье — не умирающего, а идущего в поход боевого коня. Изумился Махара. Конюшники были по ту сторону ограда, как могло донестись оттуда лошадиное ржанье?

Капли пота выступили на висках у неустрашимого воина. Тело его дрожало, подкашивались колени.

— Гей! — закричал Махара.

Повскакала на ноги сонная челядь. Утомившиеся бегом за день, люди даже не почувствовали землетрясения.

Узнав от Махары, что заржала во дворце боевая лошадь царя Баграта, люди обезумели от страха.

Сталкиваясь друг с другом, бежали они по обломкам икон и битой посуды к выходам во двор.

Слабое сияние растеклось по небу.

Опять послышался ужасный гул из недр земли. Южная башня качнулась, расселась подобно старому грибу, и оттуда донеслись крики людей. Из других башен стали выбегать воины.

Затрубили рота, забили бубны. Без толку суетились начальник крепости, смотритель дворца и мандатуры. Метался и ревел в загонах и хлевах скот, жалобно ныли волчата, ветер доносил из конюшен тревожное ржанье коней.

Когда, наконец, воцарилась тишина, Махара в сопровождении воинов вошел во дворец.

Обратились вспять воины, устранив слез Махары:

— Заржала боевая лошадь Баграта куропалата, написанная на стене двадцать лет тому назад.

★

Рано утром отряд всадников, одетых в доспехи, подъехал к замку Гегути. Махара принял их за царский поезд. Оказалось, то были кахетинские азнауры Барам Аришиани и Кавтар Барамисдзе.

Еще не успели разместили их лошадей по стойлам, как прибыли в замок эристав Тухарисский Бешкен Джакели и Гуарам, владетель Бечиспике, с малой свитой азнауров.

11

## ЕЩЕ ОДНО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

...«И обратил господь к земле гневное око, и распались в прах высокие горы и твердейшие скалы, рухнули грады и веси, храмы поверглись наземь, а дома поглотила бездна, и стали они могилами жителей их».

*Хроника Давида Строителя.*

Черным днем был день пасхи 1089 года. Возвратившийся из Кутанси после за-

утрени царь нашел в Гегути до сотни трупов воинов и служителей.

Синевою покрылось лицо Георгия, прогудившегося при переправе через разлив Риона.

Царь уединился в своей опочивальне. Царица Елена простерлась ниц перед образом богородицы, молилась о спасении христиан.

Во дворце царил перешолох. Никто не знал что предпринять, ибо землетрясение продолжалось и в этот день.

Первый вазир приказал поставить в дворцовой часовне гроба с людьми, погибшими от землетрясения. Священник служил панихиды за упокой их душ.

У Махара, не спавшего вторую ночь, слезались глаза и дрожала нижняя челюсть. Изволнованный, говорил он царевичу и Ниания:

— Что я вам говорил? Тот арап был сатана.

— Сатана? — встревожился Антоний, кутаисский архиепископ.

Все это время архиепископа преследовали дьявольские видения: всенародно рассказывал он, будто в страстную пятницу двое нечистых подошли к воротам Гегутского замка, босые, одетые в чохы простолодинов, вели они за собою осла, нагруженного человеческими костями. При виде креста, которым осенили их люди из замка, сминули окаянные.

— И у меня бывал арап, предсказал, что ждет меня возвышение. Так, значит, это был сатана? Тыфу! — говорил встревоженный Антоний.

— Смотри какое возвышение, владыко, попать на дыбу — это значит тоже возвыситься!

Архиепископ кутаисский тайно боролся с абхазским католиком Евстратием. Был он духовником царя, но хотелось ему завладеть и патриаршим престолом.

Много раз Антоний проклинал Евстратия, но без всякого для него вреда, ныне молился: «Боже, прими душу впавшего в дряхлость».

Слова чернокишника весьма обрадовали его. Решил он, что после пасхи отдаст богу душу Евстратий. Ужаснулся архиепископ, услышав, что прорицатель был сатаной.

Царя Георгия трепала лихорадка. Епископы и мандатуры собрались в царских покоях. Махара рассказывал, как заржал во дворце боевой конь Баграта куропалата. Знамением рока показалось царю это необычайное явление.

— За грехи наши спрашивает с нас господь, ибо стали мы подобны жителям Содомы и Гоморры. А эту лошадь я примечал с давних пор. В годы сельджуцкого нашествия блаженной памяти мать моя осталась одна в Гегути... Я был

тогда в Квелисцихе и Куджай был со мною, и вот тогда тоже заржало изображение Куджай на стене. Не один молебен отслужила покойная матушка.

Царевич и Ниания сидели тут же, в царских покоях. Смешным казалось им это суеверие — по ночам читали они Аристотеля, — но удерживали оба улыбку.

Вошел Чкондидели, молча присел в углу, перебирая четки беспоконными пальцами, бледный, изменившийся в лице.

— И мне показалось недобрый знамением предсмертное ржание Куджай в Цагвалистави, — вставила робкое слово царица Елена.

— Через звезды и через животных извещает нас судьба о надвигающихся бедствиях, — говорил Махара, — но мы, люди, глухи к знамениям высшего промысла.

Царь Георгий вздохнул, посмотрел на струившийся через окно сумеречный свет.

Молчали старейшины и мандатуры. Никто не мог найти слов утешения.

Тогда поднял голову первый вазир, окинул взглядом царя Георгия и сказал спокойно:

— Лишь через ангелов возвещает господь волю свою, а не через животных и не через светила.

— Отцы наши согрешили, а мы испукаем их грехи, — вздохнула кутаисский архиепископ и заморгал рыжими ресницами.

В душе разуме! он Баграта куропалата — охотника до распутных женщин, Георгия Второго, который не запрещал своим егерям охотиться в священной роще, и католика Евстратия, — его поместил Антоний в число грешников потому, что тот разрешал себе есть икру в постные дни; в свое оправдание католикос утверждал, что законоположники христианства не могли налагать запрет на икру, поскольку ее не употребляли во времена Иисуса Христа.

Под конец испугался пресвященный, как бы не проник в его тайные мысли Георгий, и прибавил:

— Вот почему не видно конца и своеволию эриставов, государь. Третьего дня прибыл ко мне от Кириона манглиского монах, по имени Кутала. Извещает Кирион: эристав Липарит острит свой меч против нас.

Махара ухватился за эти слова и рассказал о показаниях триалетских азнауров.

Возмущались какетинские азнауры Барам Аришиани и Кавтар Барамисдзе, архиепископ бедийский, Шергил Липартиани и владетель Бечисцихе Гуарам.

Георгий Чкондидели помолчал немного, потом сказал, склонив голову:

— Это все и многое другое, государь, следует, по-моему, доложить Совету старейшин. Кроме того, государь, вернулись из Исфгани посланные нами доверенные люди...

Не понравилось царю, что зашла речь о Совете старейшин.

Общему возмущению способствовало еще одно известие. Кахетинский царь Ахсартан, оказывается, отправился ко двору султана Малик-шаха, а племянник его Квирике с эриставом Дзаганом отняли замки у верных царю азнауров Барама Аришвани и Кавтара Барамисдзе — за то, что те оказали помощь Георгию под Вежины.

В эту минуту вошел в опочивальню старший дворецкий, воздал почести царю и доложил:

— Липарит Орбелиани с азнаурами прибыл пред царские очи. Просит приёма эристав.

— Вот и еще одно странное явление, — хотел было сказать Георгий, но сдержался, взглянув на первого вазира — на его лице он прочел согласие.

Наконец повернулся к дворецкому:

— Прикажи ввести эристава.

Давид омрачился, взглянул на Чкондидели, словно окаменевшего в своем заляпкованном кресле, встал и покинул палату.

Чкондидели присел у царского изголовья, вполголоса поговорил с царем, котом, сославшись на дела, попросил позволения удалиться.

Страх овладел кутаисским архиепископом. Несмотря на свое богатейское сложение, был Антоний ослороженнейшим из смертных. Поглаживая рукою бороду, думал он с трепетом: «Хуже, чем со сванским эриставом Вешагом поступит сейчас государь с Липаритом Орбелиани».

Махара подошел к Георгию, приблизил губы к самому уху царя и прошептал:

— Да как же посмел Липарит показаться при царском дворе?

Полузакрыв свои большие печальные глаза, царь Георгий поднес указательный палец к губам, приказывая своему сводному брату молчать.

Епископы и сановники приготовились к несприятной встрече.

Когда Липарит Орбелиани вошел в палату, в ней воцарилось неловкое молчание.

Статного Липарита сопровождали три азнаура, высокие и стройные, как триалетские сосны. Низкорослый, тщедушный манглисский архиепископ Кирион был среди них, словно колышек подкустом кишинеца. Скрестив на груди руки, выступал за ними, сутулясь, монах Козман. На худом, как скелет, долговязом

иноке, словно чужая, болталась изрядно потертая ряса.

Липарит вошел без меча; меч и щит нес за ним оруженосец. У поясов триалетских азнауров висели пустые ножны.

— Христос воскрес! — сказал эристав и улыбнулся царю, подошел к нему быстрым шагом, преклонил колено, поцеловал протянутую руку.

— Воистину воскрес! — ответил Георгий и поцеловал эристава в бороду.

— Воистину, воистину, воистину! — повторили придворные.

Почтительно и ласково справился гость о здоровье царя и его семьи. Георгий сделал знак дворецкому, и тот придвинул Липариту окованное золотом кресло. Азнауры молча выстроились за спиной своего эристава.

Кавтар Барамисдзе, совсем юный азнаур, никогда еще не видал Липарита Орбелиани. Изумленно взирал он на триалетского эристава, с которым, казалось, не в силах было сладить старость. Необычайным благородством светилась его еще совершенно гладкое лицо, с закругленной бородой, края которой завивались, словно украшенные резьбой.

— Хотелось нам попасть к заутрене в Кутаиси, — сказал Липарит, — да застигло нас в великий четверг половодье на Куре, перед самым мцхетским мостом. Во весь опор скакали мы вдоль реки — вверх по течению, и лишь около полуночи, у самого Тасискари, удалось нам переправиться вброд.

И Орбелиани перешел к рассказу о землетрясении.

— Крепость Скандарушка перед моими глазами, — сказал он.

Пока Липарит рассказывал царю о половодье на Куре и о землетрясении, царевич с первым вазиром вел беседу в покоех своих.

Чкондидели. Я вижу, царевич, ты удивлен приездом Орбелиани?

Царевич (помолчал). Эристав триалетский — человек, от которого можно ожидать всего, господин мой первый вазир!

Чкондидели. Ты хотел сказать — и хорошего, и дурного, не правда ли?

Царевич. Насчет хорошего не скажу ничего.

Чкондидели. Мудрость состоит в том, чтобы не толкать человека ко злу, но пытаться склонить его на добрые дела.

Царевич. Должен признаться тебе, что непонятна мне тайная причина этого приезда.

Чкондидели. Липарит подослал великим постом ко мне в Чкондиди монаха Козмана, просил: пусть примет его государь, и он искупит свои прегрешения.



Царевич. Хорошо, если эристав чувствует угрызения совести! Но признает ли он свою вину?

Чкондидели. Одну только вину признает за собой эристав, что не смог он обуздать сына своего Рати. Не спрсясь отца, своевольно Рати стал на сторону Ахсарташа и Квирикхе, а сам Липарит будто бы ждал нас с войском в Триалети, и только болезнь помешала ему присоединиться к царским полкам. Остальное, по его словам, — выдумки доносчиков.

Царевич минуту подумал, поднял голову и спросил:

— А что говорит управляющий Липарита Зосим?

— Зосим побывал у меня на страстной неделе. «С приездом царевича в Калдекари, — сказал он, — изменилось настроение эристава. После бегства из Руставской крепости Рати приступил к отступу, настойчиво просил дать ему войско, чтобы зайти царевичу в тыл».

— И что же? — спросил царевич.

— Не пожелал Липарит. И еще говорил Зосим: «с упованием ожидает приезда царицы Мариам эристав триалетский, не потерял он еще надежды породниться с царским домом».

— Породниться?

— Не скрыл и того Зосим, — продолжал Чкондидели, — что дурные вести придут к эриставу из Исфагани. Наши сведения сходятся с рассказом Зосима. Тюркан-Хатун оспаривает исфаганский престол у Баркиарока.

Оба помолчали. Услышав шаги Махары, первый вазир взглянул на царевича и сказал почти шопотом:

— Но все же не это самое важное для нас, царевич. Доверенные люди сообщают из Исфагани: перешел в магомелову веру царь кахетинский Ахсартан, изъявил покорность Малик-шаху, и султан прислал свою рать в Кахети. Эти-то полки и помогли Ахсартану отнять замки у Барамисдзе и Аришпиани. Царевич даже не изменился в лице, словно ждал он и этого; сказал спокойно:

— Теперь мне все понятно!

Чкондидели встал.

— Вот последствия вежинской неудачи! Еще в прошлом году доносили лазутчики из Кахети: нового нападения ждал, оказывается, Ахсартан, — говорил он: «царевич не простит нам своего позора». А теперь, думается мне, если и триалетский эристав пойдет по протоптанному Ахсартаном пути, то весь правый берег Куры может уйти из наших рук.

В тот вечер знобило царя Георгия и он слег в постель в жестокой лихорадке. Прохладные примочки, одну за дру-

гой, прикладывала ему царица Елена. Когда понижился жар, пожелал царь уединиться с эриставом Орбелиани. Долго беседовали они наедине. Даже факельщики были отпущены из царских покоев.

После полуночи велел Георгий позвать царевича. Давид не хотел присутствовать при беседе, но уступил настояниям царицы Елены и Чкондидели.

Когда царевича ввели в опочивальню Георгия, Липарит вскочил с места, улыбнулся, блеснув своими желтоватыми зубами, подождал, пока царевич опустился в кресло, и лишь после того сказал:

— Поверьте совести моей, государь, и ты, царевич, доносчики, клеветники мутят нашу страну, я бессилен бороться с ними. Когда я был еще отроком, я бывало, вооружался дедовским мечом, воображал, что выступаю в поход, и шел воевать с крапивою, разил ее беспощадно клинком, но все же кусала она мне икры, проклятая. Согласитесь, что ныне уже не подобает мне сражаться с крапивою!

Молча рассматривал царевич Липарита, глядел в его большие глаза. Оттенные светлыми ресницами, блестяли они, как драгоценные камни в золотой оправе.

Вспомнились царевичу очи Дедисимели.

Странную близость ощутил он к коварному эриставу, словно был роднею Орбелиани, и заговорил в нем голос крови.

Царевич размышлял над тем удивительным чувством, которому часто предшествует вражда и которое, после вражды, еще слаще, чем после дружбы.

Спокойно, невозмутимо вел беседу Липарит; приятный грудной голос был у эристава, пьянящий, как гашиш. Этим сладостным голосом уничтожал он «презренных людшек, добровольных лазутчиков и шпионов».

Царь догадался: Липарит осторожно намекал на Чкондидели. Георгий и сам не любил доносчиков, хотя знал: по всему государству, во владения тбилисского амира и в соседние мусульманские страны — повсюду первый вазир разослал от его имени лазутчиков.

Лазутчики эти были по большей части монахи, переодетые в мирское платье, и ездили они, выдавая себя за торговцев рыбою и вином. Добытые ими сведения тщательно сличал и составлял первый вазир.

— В моем эриставстве, государь, до сих пор обходился я без лазутчиков, — продолжал Липарит, — ибо знаю: если заведу шпиона, друзья и сторонники мои никогда не пожелают подкупить его, полагаясь и без того на верность мож-

м благородство; враги же мои подкупами и хлебосольством легко переменяют лазутчика на свою сторону. И будут лазутчики хвалить мне врагов и чернить друзей, так что подковец покинут между друзьями и останусь я окруженный одними врагами.

Липарит Орбелиани остановился, отыскав взглядом глаза царя — почувствовал, что слова его проникли ему в душу, и он добавил невзначай:

— Известны тебе, государь, слова мудреца: злые речи подобны стрелам, — если даже пускать их из лука не целясь, все же одна из тысячи да попадет в мишень. Жизнь наша — и это, конечно, известно тебе, государь, — устроена так, что даже самая нелепая клевета все же оставляет после себя маленькое пятнышко.

Разговором о лазутчиках Липарит снова отвратил от себя царевича. Царь же Георгий был вспыльчив, но простодушен, как дитя. В эту минуту он верил, что и в самом деле лишь лазутчики мешают ему установить добрые отношения с Орбелиани.

Но царевич прекрасно знал, что Липарит лгал.

Монах Козман был главным лазутчиком Липарита. Время от времени исчезал он из триалетского эриставства. То он был в Исфагани, то ездил в Иерусалим, то появлялся в Константинополе. Он привозил в замок Орбелиани кирманские сукна и багдадские ткани, из Византии — золото и серебро, из Иерусалима — кресты и иконы, святые мощи, и отовсюду — сплетни.

Козман сопровождал Липарита в походах. Он был постельничьим эристава, хранителем его шагра и осведомителем.

Не забыл и того царевич, что Козман ездил сватом в прошлом году в Исфгань; ему было поручено устроить женитьбу Баркиарока на Дедисимеди. И потому обрадовался, увидев ныне Козмана здесь, в Гегути.

12

**«ЛВА, КОТЯ БЫ КРИВОГО, КТО ПОСМЕЕТ НАЗВАТЬ КОСЫМ?»**

«Мудрость вазира обнаруживается лишь тогда, когда нужно исправить потерянное дело, а умение врача — когда нужно спасти умирающего больного. Если все будет идти благополучно, то каждый сможет сойти за мудреца.»

*Индусское поучение.*

На следующий день, в понедельник, по обычаю уселся Чкондидели «за дверью милости и суда», окруженный письмоводителями опочивальни, а письмоводителей арсенала выслаал к тол-

пившимся во дворе замка жалобщикам, просителям, к разоренным землетрясением и ожидающим подачек сиротам и вдовам.

Множество людей осталось без крова. До полуночи распределял Чкондидели пособия, черпая из благотворительной казны царицы, царя и царевича.

После обеда Чкондидели с царевичем, взяв с собой небольшую свиту, выехали осмотреть разрушения, произведенные землетрясением в городе Кутаиси и окрестных селах.

Единственно лишь царский дворец невредим в Кутаиси.

Узнав о проезде царевича, собирались на перепутьях жители; плачущие женщины изливали свое горе юному властелину.

Казначей раздавали милостыню, дворцовые письмоводители переписывали разрушенные замки, храмы и монастыри.

Лишь через три дня вернулись путники в Гегути. Царь Георгий все еще недомогал.

В тот же день вошел к царю с предложением Чкондидели: созвать Совет старейшин. Георгий попрежнему упрямо молчал.

После вежинской осады царь избегал созывать Совет старейшин, все надеялся сызнова собрать войска, утвердить за собою Кахети, а потом приняться за эристава Липарита. Лишь победоносным хотел он предстать перед Советом старейшин.

Многое успело измениться после того, но не отступал от своей мысли царь.

К вечеру прискакали гонцы из Абхазии, из Мегрелии, из Самцхе. Эриставы и хевиставы слали вести о разрушении городов, крепостей и храмов.

Землетрясение повредило крепости Артануджи, Квели, Цеда, Циркваали, Цунда, Кумурлуси, храмы в Ошки и в Бана, монастыри Имерхевский, Мгелцхский, Нулийский, Сакартле и Оби, а также башни замка Каберни. Многие деревни вместе со всеми их обитателями были уничтожены оползнями и обвалами.

В час пасхального богослужения обрушилась крепость Тмог — эристава Кахаберисдзе вместе с его семьей.

Сраженный горем царь пригласил к себе первого вазира и повелел созвать Совет старейшин.

★

Чкондидели утомился, долго не слезая с седла. И все же беспокойно ворочался он в постели, сон не смыкал его глаз. Приказал загасить свечи в канделябрах, отпустить факельщиков — и показали ему невнятные обступившие его потемки.

Бессонной ночью обдумывал он все, что нужно было доложить Совету старейшин.

Видел ясно: на краю гибели стоит грузинское царство. И никакие обсуждения в Совете старейшин не могли уже помочь делу, не советы были нужны теперь, а решительные действия.

Огорчила Чкондидели болезнь Георгия. Был бы здоров царь, он сам предстал бы перед повелителем и просил его смиренно: уступить дорогу юному царевичу.

На Совете старейшин, — надеялся он, — будет легче сказать об этом.

Если до сих пор казалось первому вазиру, что рано еще царевичу венчаться на царство, то теперь он убедился, что в этом единственный путь к спасению.

Стараниями своих доверенных людей был прекрасно осведомлен Чкондидели обо всем, что творилось и за пределами грузинского царства.

Словно грозное море наступала на Грузию раскинувшаяся от стен Китая и до самого Египта держава сельджукидов.

★

Три брата были основоположниками империи сельджукидов, три родоначальника туркоманского племени: Тогрул-бек, Чакыр-бек и Пайту.

Пастушьям племенам, знаменитым своими овечьими отарами, и разбойничьей повадкой, тесны стали пастбища вокруг Бужары.

Тогрул-бек, Чакыр-бек и Пайту послали письмом наместнику хорасанскому, вазиру Газневидов Абу-Бади-Суру бен Аль-Мутазу, просили его представительство перед повелителем Ирана Масудом бен-Мухаммедом, дабы этот последний позволил сельджукам перепнуть свои стада на иранские пастбища.

Но представительство вазира не увенчалось успехом. Повелитель Ирана прекрасно знал грабителей-кочевников и не дал своего соизволения. А тем временем предводительствуемые Тогрул-беком, Чакыр-беком и Пайту туркоманы, не дожидаясь согласия Масуда, наводнили со своими чадами и домочадцами иранские пастбища.

Великого вазира своего Хаджиб-Зубата выслал против них повелитель Ирана, приказав изгнать разбойничье племя; но Чакыр-бек разбил Хаджиба с его ратью. Тогда уступил Масуд — отдал пастбища сельджукам, но с условием, чтобы прекратили они грабежи. В ответ на это Тогрул-бек завладел городом Мервом и заставил муллу вознести ему хутбу — хвалу перед Аллахом.

Наконец сам иранский государь вы-

ступил в поход со своею ратью, но и его разбили Тогрул-бек, Чакыр-бек и Пайту. Сельджукские орды вторглись в провинции иранско-багдадского халифата и взяли один за другим города Исфгань, Хамадан и Адарбаган. Вскоре и в армянскую провинцию Вацпуракан вступил с многочисленным войском Тогрул-бек. Это было в 1048 году.

Тогдашний кесарь Византии Исаак Комнен выслал против Тогрул-бека своих полководцев Кевкамена Катаклона и Арона Веста, повелев не вступать в сражение до прибытия Лишарита III Орбелиани с грузинскими полками.

Арон и Катаклон потерпели поражение от сельджукидов. Липарит III попал в плен к Тогрул-беку.

В завоевательных войнах против Ирана и Византии прославился сын Чакыр-бека Альп-Арслан.

Он продолжал дело, начатое его отцом и дядьями. Жестокое поражение нанес он у Манцикерта византийскому императору Роману Диогену и взял самого кесаря в плен. Помощником Альп-Арслана в государственных делах был выскоученный вази́р Низам аль-Мульк. С помощью бесчисленных лазутчиков и карательных войск Низам аль-Мульк подавлял непрерывающиеся восстания и раскрывал бесчисленные заговоры. Жертвою одного из таких заговоров стал сам Альп-Арслан.

Низам аль-Мульк возвел на престол сына Альп-Арслана, Малик-шаха. Восстали амиры, после борьбы захватили дядю Малик-шаха, Кавурда, брату же султана Текешу выкололи глаза. Тогда Низам аль-Мульк отвез Малик-шаха в Багдад, дабы испросить помазание на престол у халифа аль-Каима.

Вскоре скончался халиф аль-Каим, и другой халиф — Моктали взшел на престол. По совету Низама Малик-шах выдал дочь свою замуж за нового халифа, и этот брак стал источником новой распри.

Малик-шах доверял борьбу с Византией брату своему Солиману, султану Никеи, и сыну его Килирдж-Арслану. Алексей Комнен платил 300 000 золотых динариев ежегодной дани султану.

По совету Низама аль-Мулька, часть огромной рати своей султан Малик-шах распустил ради уменьшения трат. Оставшиеся без дела воины искали покровительства у амиров и малых султанов. Новая волна восстаний пронеслась по владениям султана.

Был уже стар Малик-шах, но все же сражался с ожесточением. Неутомимо трудился первый вази́р султана Низам аль-Мульк, человек выскоученный и испытанный в ратных делах.

Сельджукиды отняли престол и цар-

ство у иранской династии Газневидов, оторвали Сирию и Малую Азию от византийских владений, завладели Аниси, Карсом и Олтиси — городами грузинских царей, — и все же владения султана кишели голодными шайками. Истеющая покоренные земли, не умели сельджуки заниматься ни земледелием, ни торговлей.

Когда не стало хватать сельджукам добычи, амиры потребовали новых войн. Малик-шах потянулся к халифскому престолу.

Георгий Чкондидели только что получил известие от лазутчика из Исфaghани. Сообщал армянский купец Аршаруни: багдадский халиф развелся с дочерью султана Малик-шаха, отослал к нему обратно бывшую свою супругу и сына Джаффара.

Тем временем восстали против султана амиры Бухары, Самарканда и Капшгара.

Знал Чкондидели и то, что вновь покорил султан эти земли, оросил их кровавым дождем после победы, а амиров приказал удавить тегивами их же собственных луков. Но кроме амиров и младших султанов были и другие враги у Малик-шаха.

Немалую смуту в дела государства внесли женщины — жены амиров и малых султанов.

Сложную паутину интриг раскинули эти женщины во дворцах. Вмешивались они в дела государственного управления, и по своей воле назначали наследников престола.

Первою среди них была Тюрчан-Хатун, женщина из племени половцев.

Чкондидели видел: вернувшийся победителем из Туркестана султан обратится вскоре и к Грузии. Уже имелась предвестия: переход в мусульманство царя кахетинского Ахсартана и прибытие в Кахети сельджуцких войск.

Пропели петухи, в темноте подняли лай собаки.

Чкондидели встал, выглянул в окошко. На черном, как деготь, небе, словно скошенная полоса в поле, лежал светлый пояс, обведенный белесой каймой.

Угнетенному тяжкими мыслями, вазир захотелось обменяться словом со своим воспитанником; он направился к покоям царевича.

Чей-то голос доносился из опочивальни. Подождав немного, приоткрыл дверь первый вазир.

Свечи еще теплились в канделябрах. Махара сидел у изголовья царевича и читал ему:

«Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше? Ибо душа наша унижена до праха, и утроба наша прильнула к земле...

..Препояшь себя по бедру мечом твоим, сильный!..»

Увидев Чкондидели, царевич приподнялся на ложе.

— Не вставай! — попросил его первый вазир.

Осведомился, почему не спится царевичу.

Оказалось, беспокоили царевича те же самые мысли, что не давали спать и первому вазирю.

Чкондидели изобразил на бумаге подобие паука.

— Так, обычно, царевич, покоряют сельджуки покоренные ими земли. Главное войско врывается в столицу, потом его разделяют на четыре части и направляют в удавшиеся окраины, высасывая кровь из страны, как паук из жертвы, запутавшейся в его паутине. Тбилиси в руках у сельджуков. Сейчас они разоряют кахетинское царство. Если удастся им утвердиться в триалетском эриставстве, то, поднимаясь вдоль правого берега Куры, покажут они наконец и к нам сюда, по эту сторону Сурамского хребта.

★

После доклада Чкондидели три дня заседал Совет старейшин.

Гуарам бечисцхский, эристав Липарит, Кирион — архиепископ манглиский, Стефаноз — архиепископ цикаканский, Бешкен Джакели, Нигалиа Бакуриани, архиепископы бедийский и тбетский, а также Шерчил Липартиани — требовали немедленно венчать Давида на царство.

— Царь Георгий уже устал, пора опереться ему на юную десницу царевича. Урбнисский архиепископ колебался:

— Царевич — почти еще отрок, как бы не выказал он излишней пылкости в управлении государством. Нужно помнить: старость с мудростью ходят всегда рука об руку. Сам спаситель наш не смог бы нести свой крест, если бы пришлось ему подниматься на Голгофу шестнадцатилетним юношей.

Эристав Липарит не согласился с архиепископом урбнисским; привел в пример византийских кесарей — иные из них вступали на престол пятнадцатилетними юношами.

— Зачем далеко ходить за примерами, — добавил Орбелиани, — разве не возвели эриставы девятилетним опроком на престол царя Баграта куроपालата?

Поднялся архиепископ Бедиа.

— Не раз сопровождал я на поле битвы покойного Баграта куроपालата и повелителя нашего, царя Георгия, но и меня удивило спокойствие царевича в битве под Рустанви.

Упорно хранил молчание Антоний

кутаисский. Все знали, что не любит он царя Георгия. Ждали, что он-то и потребует отречения царя и венчания Давида на царство. Но Антоний издавна подозрительно относился к царевичу Давиду. Все еще не мог он забыть историю с тыжвенной митрой. Хотя царевич сам и не участвовал в этом кошунстве, все же хохотал он от души, глядя на расшавившегося Нианиа Бакуриани.

Не нравилась Антонию дружба царевича с Нианиа, Незаконным сыном великого domestика Григория Бакуриани был Нианиа. Громко возмущался Антоний: как позволяет себе царевич дружить с сыном наложницы?

Только двое — архиепископы кутаисский и урбинский — воздержались от голосования, когда старейшины постановили венчать Давида на царство.

Определили заранее и титул будущего соправителя Георгия II: «Царь абхазов и грузин, ранов, кахов и армян».

Никто не брался сообщить царю Георгию о принятом решении. Заколебался даже стойкий в любом затруднении первый вазир.

Антоний кутаисский пробормотал про себя:

— Льву, хотя бы кривому, кто посмеет сказать, что он — косой?

Нианиа Бакуриани, услышав шутку Антония, в тот же день передал ее царевичу.

Махара, узнав про нее, улыбнулся и промолчал.

На другой день долго сидел Махара у изголовья больного царя. Наконец, скрестив ноги, присел на ковре перед царским ложем. В руках он держал две косточки для игры: одна была черная, другая — красная.

Подносил их по очереди к губам, шептал что-то, подбрасывал, смотрел, как падали брошенные кости, и чему-то улыбался.

— Чему ты смеешься? — спросил его царь.

Снова улыбнулся Махара.

Георгий повторил свой вопрос.

— Ничего особенного.. Вчера один глупец обмолвился мудрым словом.

— Кто и каким?

— Да вот, Антоний кутаисский сказал вчера: «Льву, хотя бы кривому, кто посмеет сказать, что он — косой?»

— А зачем понадобилась попу эта словица?

— Ты ведь знаешь — крылатое слово быстрее стрелы и смелее мудрого вазира. Вчера старейшины постановили на Совете посадить царевича твоим соправителем, да только никто не осмеливается доложить тебе об этом.

Георгий приказал позвать к себе Давида и первого вазира, расцеловал обо-

их и со слезами на глазах благословил своего первенца.

Удивился Махара: впервые видел слезы на ресницах царя Георгия.

13

## ИМПЕРАТРИЦА МАРИАМ

«Ни одно из созданий Апеллеса на Фидии не сравнится совершенством с императрицею Мариам.

Говорят, что Горгона обращала в камень всех, кто заглядывал ей в лицо; всякий же, кто хоть раз мельком видел Мариам, лишался разума.»

*Анна Комнев.*

Наконец достигла Грузии императрица Мариам. Ее сопровождали двунгарий восточного флота Ласкарис, великий domestик запада Георгий Бакуриани, епископы халкидонский, хиосский и пафлагонский, домоправитель царицы Цинцилук, письмоводители, горничные и прислужницы.

Не только в Грузии — по всему миру славилась неопикуемой красотой царица Мариам. В городах и селах встречали царицу и ее свиту азнауры, духовенство и люди простого звания — бесчисленное множество народа, стекавшего из ущелий.

В императорской карете из слоновой кости ехала царица Мариам, по правую руку от нее сидел епископ халкидонский Епифаний, прозванный «сеньющим» для отличия от тезки его, епископа кесарийского, по левую руку — вдова куропалата — Мелита, жемчужина двора Бухколеон.

Искренне любили в Грузии царицу Мариам — не только за ее красоту, но и как великую милостивицу, покровительницу вдов и сирот. В храмах во время литургии имя ее упоминали сей час же после имени царя Георгия: «Да умножится дни и годы благочестивейшей царицы нашей, августейшей Мариам!»

Великим утешением для народа, разоренного землетрясением и нашествием сельджуков, был также приезд Григория Бакуриани.

Полководец Византийской империи Григорий никогда не забывал своей Грузии. «Domestik Бакуриани передал Георгию Олтиси, Каре и окрестные земли»<sup>1</sup>.

В Орпири встретили гостей: царевич, Нианиа Бакуриани, Липарит Орбелиани, кутаисский и бедийский архиепископы со свитой духовенства, более тысячи рыцарей в доспехах.

<sup>1</sup> «Житие Грузин».

Расцеловала царевича Мариам, обрадовалась, увидев украшенного латами и оружием племянника. Положила ему руку на плечо, оглядела еще раз с ног до головы.

— Как ты напоминаешь мне блаженной памяти отца моего!

И еще раз поцеловала в щеку.

Справилась о царице Елене. А когда упомянула имя Русудан, тень скользнула по лицу Давида.

И это заметила проникательная царица Мариам.

Удивилась и обрадовалась, увидев Лиарита Орбелиани в свите. Сказала:

— Неверные покушаются на вас; любовь к спасителю должна укреплять взаимную любовь между повелителем и слугой.

После того, как в большом шатре царицы отслужили благодарственный молебен по поводу благополучного окончания путешествия, даже дряхлые епископы целовали с вождением прекрасные руки Мариам.

Монах Козман пал перед нею на колени, поцеловал ее красные сапожки. Прелесть Мариам снова пленила тех, кто видел ее десять лет тому назад. Почти не изменилась с тех пор царица — «стройный кипарис», как называли ее в Константинополе.

Мариам была одета в далматик цвета чешуи ящерицы, с рукавами, расшитыми золотом, и в красные императорские сапожки, украшенные сапфирами и рубинами.

Увидев царевича и грузинских рыцарей, императрица тоже пожелала сесть в седло.

Стального цвета кобылу, в латах, подвели царице; ласкательным именем самой Мариам — «Маико» в шутку называл эту лошадь царь Георгий.

С проворством юной девушки вскочила в седло Мариам, уверенною рукою опытного всадника взмахнула хлыстом, пустила в галоп и поскакала на перегонки с царевичем и Липаритом.

Уже в Орпире очаровала она Нианиа Бакуриани. Пылкий Эрот вселился в душу молодого эристава. Беспреданно мечтал он лицезреть царицу, неостановленно следовал за нею и каждый раз, когда горячий его жеребец обгонял «Маико», бросал восхищенный взор на прекрасную амазонку.

Столько радости привезла с собою Мариам, что Давид позабыл на время свою печаль, умноженную бедствиями землетрясения. И с Липаритом беседовала она так же ласково, как и в те годы, когда Дедисимеди еще считалась «прекрасною нареченною царевича».

Имеретинская равнина мало пострадала от землетрясения: виноградники, сады и

поля оставались почти нетронутыми; словно рубины, сверкали в густой листве краснощекие ягоды черешни. Радовали взгляд увешанные плодами ветви алычи. В рощах раздавалось кукование кукушки.

Наслаждалась Мариам, стосковавшаяся по родной природе.

Возле дубовой рощи всадники остановились на привал.

У лошади, на которой ехала Мариам, была маленькая голова, светлая грива, широкая грудь, тонкие бабки и тяжелые копыта.

— Какой породы эта лошадка? — спросила царица.

— Нашей, грузинской.

Мариам потрепала кобылицу за уши, приложила щекой к ее голове.

— А когда назвали ее моим именем? — спросила она Давида.

— В запрошлом году, в день Марии, — ответил царевич.

Мариам погладила голову лошадки и коснулась ее губами.

Нианиа удивился. Царица это заметила.

— Чему ты удивляешься, юноша? Знай, что даже лошадь грузинской породы мне милее греческих куропалатов.

Нианиа пожалел в душе, что он не лошадь.

К эриставу Липариту обратилась Мариам:

— Смотри, Липарит: ни за что не отдавай свою дочь замуж в чужие земли. Возьми, к примеру, меня — я делила престол с двумя императорами Византии, а была бы куда счастливей, если бы покойный отец выдал меня замуж за грузинского сапожника!

Слушая ее слова, царевич тотчас же вспомнил о Баркиароке. Такая же мысль мелькнула и в голове эристава Липарита. Между тем царица снова обратилась к Ниании:

— Мне хвалили твою доблесть мцхетские монахи, направлявшиеся в Иерусалим. Говорят, что ты медвежьим ревом испугал Мухаммеда Аттавиля?

Нианиа покраснел до ушей и ответил:

— Упомяните лучше о доблести царевича, августа, — я же своею небрежностью едва не погубил все войско.

Липарит Орбелиани не любил, когда в его присутствии хвалили чужую доблесть, но, чтобы скрыть свои тайные мысли, сказал:

— Нианиа Бакуриани — доблестный воин.

★

Глаза Мариам не могли насытиться зрелищем сел, раскинутых по лугам, церквей и башен, вздымающихся на гребнях гор.

Каждый пригорок, каждый замок навминал ей времена ее девичества.

С детства баловал Мариам царь Баграт IV куропалат. Еще семилетнею девочкой увез он ее в Византию. В самый день ее приезда скончалась в Константинополе императрица Феодора. И Георгий Мтацминдели<sup>1</sup>, находившийся в ту пору в Константинополе, обронил вещие слова:

— Сегодня ушла одна царица — и пришла другая.

И в самом деле, через десять лет на голове Мариам уже красовалась корона кесарей.

Константинополем овладел мятежник Михаил Дука. Против побежденного под Манцикертом кесаря Романа Диогена послал он domestика Андроника.

Покажи кесаря предводительствовал высокородный армянский азнаур Хачатур. Domestik Андроник разбил кесарево войско, сам Хачатур, чтобы спастись, подарил Андронику бесценное алмазное ожерелье.

Романа Диогена схватили, бросили в темницу и выглади ему глаза. Слепым приволокли его в Константинополь и постригли в монахи в монастыре Пропонтиды — там же, где за два месяца до того приняла схиму его супруга Евдокия.

Двадцатилетним юношей был новый император Михаил Дука, но стариком называли его в народе — не любил он ни войны, ни охоты; женщинам и пирам предпочитал писание бездарных стихов. Вечно копался он в книгах, и не хватало у него характера даже для того, чтобы осадить обнаглевших придворных, которые безнаказанно говорили ему дерзости.

Алмазное ожерелье — выкуп Хачатура — domestик Андроник поднес в дар царице Мариам, когда кесарь Михаил Дука сделал ее своей супругой.

Императрица была так же неопытна в государственных делах, как и ее супруг; империею управляли магистр Иоанн<sup>2</sup>, философ Михаил Пселл и монах Никифор.

Народ терпел притеснения и роптал без надежды. Этим воспользовался вельможка Никифор Ботаниат, сжигаемый тайною страстью к Мариам. С помощью наемной рати сельджуков и варягов начал он борьбу против кесаря. Михаила Дука заручился помощью брата Малджшаха — Солимана, но и того подкулил

многоопытный сановник Никифор Ботаниат.

На помощь Ботаниату поднялись также великий domestик Запада Алексей Комнен и военачальник Григорий Бакуриани.

Мятежники овладели Константинополем и возложили венец византийских кесарей на голову Никифора Ботаниата.

Новый кесарь пожелал вступить в союз с одной из прежних цариц, Евдокию и Мариам применил Ботаниат. В конце концов его выбор остановился на царице Мариам.

Domestik Алексей Комнен пожелал, в свою очередь, стать повелителем империи и супругом императрицы Мариам. Брат Алексея Комнена — Исаак был женат на дочери сводного брата Баграта куропалата. Воспользовавшись этим родством, Алексей стал частым гостем во дворце кесаря. Чтобы укоротить злые языки, он добился того, что Мариам усыновила его.

Не родилось наследника у престарелого Никифора Ботаниата, а поэтому хотел он оставить престол своему родичу Санадину; царица же Мариам желала видеть императором своего сына — Константина Порфирородного.

Об этих тайных разногласиях между кесарем и его супругой прослышал Алексей Комнен.

Однажды вечером он и его брат Исаак явились к опечаленной царице Мариам. Спросили почтительно о причине грусти.

— Ах, стоит ли спрашивать об источнике печали женщины, выданную замуж на чужбину? — сказала Мариам.

— Я и мой брат преданы тебе навеки, августя, приказы — и мы будем тебе рабами.

Алексей Комнен подкулил военачальников. Наемные войска, изголодавшись, требовали прибавки жалованья.

— Я бы и рад увеличить вам вознаграждение, — говорил им Алексей, — но мне не позволяет император.

Комнен заручился поддержкою кесаря Иоанна и иверийского магистра Ивана, которые имели большое влияние на дела по управлению империей. Алексей Комнен обещал Григорию Бакуриани сан великого domestика Запада, если тот поможет ему взойти на престол. Седьмого февраля 1081 года, среди ночи, пробрались братья Комнены в конюшни Влахернского дворца, выбрали наилучших коней, остальным подрезали жилы на ногах и ускакали из Константинополя в лагерь к войскам.

В Константинополе вспыхнула восстание. Беднейшие свои населенные кинулись во дворцы богатых купцов и вы-

<sup>1</sup> Грузинский богослов, церковный деятель и переводчик священного писания.

<sup>2</sup> Грузин, царедворец во времена Михаила VII Дука; ни греческое, ни грузинские летописцы не называют его фамилию.

согородных дворян, разграбили их достояние.

Алексей Комнен заручился поддержкою «гвардии бессмертных» и подкупил начальника константинопольской крепости — немца Гильпракта, который передал ему крепостные ключи.

Ботаниат просил мятежников:

— Я уже стар, наследника у меня нет, — не отнимайте у меня престола, оставьте мне до смерти венец и красные сапоги кесаря, и правьте странно по своему разумению.

Но не вняли мольбам старого императора, его постригли в иноки.

Императрица Мариам несколько не испугалась, долго не хотела она покинуть царские палаты, опасаясь, как бы не струсилось беды с «белокурый Менелаям» — Константином Порфирородным.

Новый император с юных лет был влюблен в царицу Мариам. Хотелось ему взять ее в супруги, но переселила дворцовая партия — и императрицей стала Ириная Дука.

Царице Мариам оставили ее владения в Христополе, а Константину Порфирородному пожаловали титул византийского кесаря, красные сапоги и золотую хрисобуллу, подписанную красными чернилами.

Царица Мариам переселилась во дворец Мангану, Георгий Бакуриани стал великим домошником Запада.

★

Увидев Гегутский дворец, опечалилась Мариам.

Когда царица Елена ввела ее в женскую половину дворца, в полутемных покоях находились только Русудан и горничная ее Лаклака.

Императрица Мариам, как и многие, приняла Лаклаку за супругу царевича. Когда испуганная горничная вскочила с места, Мариам вздрогнула: уж очень уродлива была невестка. Холодно подставила она Русудан свою щеку.

После натянутых приветствий и расспросов Мариам прошла в покои царя Георгия.

Монах Козман стоял на коленях у царского изголовья; он читал Георгию «Деяния апостолов», переведенные на грузинский язык Георгием Мтацминдели, эту книгу только что привезли из Константинополя.

— Жаль мне царевича! — вздохнула Мариам.

— Почему же, Маико, — уж не потому ли, что собираемся венчать его на царство? — спросил Георгий.

Мариам одобровалась, услышав свое девичье имя.

— Я привезла ему алмазное ожерелье,

подарок domestика Андроника, но знаешь, как я теперь решила поступить?

Она помолчала и сказала брагу шепотом:

— Для новой царицы хочу я сохранить это ожерелье.

Георгий поднял изумленный взор, хотел было сказать ей: «Не говори так, Маико», но вспомнил, что рядом — монах, и промолчал.

Услышав слова Мариам, Козман насторожил уши, приложил кулак к устам и продолжал читать беззвучно.

14

## ПРЕКРАСНЕЙШАЯ ИЛИ ЖЕСТОЧАЙШАЯ?

Императрица Мариам только подставила щеку супруге царевича!

По всему дворцу разнесла эту весть Лаклака, горничная Русудан. Обманули надежды царицу Елену и ее невестку, вместе с их сторонниками — игуменьей женской обители Сохастери<sup>1</sup>, епископами и азнаурами.

Вечером на женской половине царица Елена шепталась, вся в слезах, с царицей Мариам, нежившейся полулежа среди подушек. Четыре подсвечника горели по углам палаты, восковые свечи озаряли тусклым светом образа, которыми были увешаны стены.

Царица Елена была без головного убора, млажавое лицо ее украшала седина, блестящая, как свежесмотанные с коконов шелковые нити.

— Ты ведь и сама мать, — говорила она Мариам, — ты знаешь, как тяжело видеть в своей семье горе покинутой сироты. Создатель не наградила ее красотой, как тебя, но поверь мне: Русудан — святая женщина, добродетельная и чистая душой. Раскаиние снадает несчастную: почему не предпочла она царской порфире монашеское платье?

Елена замолчала, поглядела на лицо Мариам, подернутое легкой бедностью; и в самом деле напомнили черты Мариам образ Никорцидской богородицы, висевший сзади нее на стене, — так называл ее Ниания Бакуриани.

Было неприятно Елене молчание Мариам. Опустила Елена голову, разглядывая подушку, на которой был вышит серебром стеленок с поднятым луком и летящий перед ним фазан; потом подняла лицо и сказала:

— Боюсь, как бы не убило горе царицу Русудан, не взять бы нам на душу греха, августа! Если бы ты знала, как

<sup>1</sup> Сохастери — древний женский монастырь близ Кутаиси.



она ожидала твоего приезда — но увы, отравили ей обманутые надежды. и сон, и явь... Августа, я—мать этой семьи, я чувствую, как назревает в ней беда. Исполняя волю царя и Чкондидели, отослали мы накануне твоего приезда с кормилицей в Осетию младенца-царевича Деметре. Жалостью переполнилось бы твое сердце, если бы ты видела, с какими горючими слезами прощались еще не оправившаяся после родов мать со своим первенцем. Мать божия, защити и спаси мой дом от греха! — воззвала царица Елена к Никорцимидской богородице. — От века властвует грех над родом Багратионов. Ты, конечно, слышала, что дом деда твоего, Георгия I, был полон блудниц. Потому и шостриглась в монахини светлой памяти бабка твоя, царица Мариам. Охотником до женщин был также и Баграт куроपालат. Всю свою жизнь проливал потоки крови в войнах покойный царь, а когда возвращался из похода, проводил время, предаваясь разврату. На простых прислужниц готов был он променять царицу цариц Елену. А потом обесчестил супругу Липарита Третьего и вызвал не угасающую и по сегодняшней день вражду между домами Багратионов и Багуаш-Орбелиани.

— Вот я и стремлюсь положить конец этой вражде, царица; для того и приезжаю уже третий раз из Византии, — невозмутимо ответила царица Мариам.

— Разве не перед нашими глазами плод греха покойного Баграта куроपालата — несчастный Махара, не причисленный к живым, но не поминаемый и среди мертвых?

Когда упомянуто было имя Махары, царица Мариам нахмурила брови, потому что и сама стыдилась его существования на земле. Елена почувствовала прилив силы и продолжала:

— Достойна жалости царица Русудан. Владения ее разорены сельджуками, в минувшем месяце привезли ей вести анисские монахи: сельджуки убили в Каликии старшего брата ее Сурана. С первого же дня невзлюбил супругу Давид, но я с Георгием хотели иметь наследника престола. Через силу провел царевич первую ночь с Русудан. Потом отняли мы у Русудан первенца. Махара — злой дух нашей семьи, нашептывает денно и нощно царевичу, уговаривает его развестись с женой. Махара ненавидит Липарита, но воображает, несчастный, что ежели Давид женится на Дедисимеди, то триалетский эристав станет верным слугою Багратионов. Забывает простак, что Дедисимеди — лишь младшее дитя Липарита, а сын его, Рати, — истинное порождение ехидны, несущий враг нашего трона. Молю те-

бя, как сестру, августа, защити от зла многострадальную семью мою. Ты знаешь, с детства предан тебе сердцем царевич. Наставь юношу на прямой путь, пусть изгонит он из сердца образ дочери эристава, ибо еще никогда не расцветали розы на кусте белены.

— Правильно говорят греки, царица, — отвечала Мариам, — нельзя судить о человеке, пока он не умер. Никому не сладко всю жизнь слыть изменником, да никто среди людей и не может вечно оставаться одним и тем же, ибо все мы — люди, царица, все мы подвержены изменению, горим и даем в руках провидения, как восковые свечи. От века привыкли мы, Багратионы, считать потомков Липарита изменниками, а забываем при этом, что это они, Багуаш-Орбелиани, сохранили нам эриставство триалетское. Ты знаешь, царица, что свершила царь кахетинский Ахсартан? Это все — наша вина, вина брата моего Георгия. Если человека каждый день называть изменником, — он и вправду станет, наконец, таковым. Припомни мои слова царица, — если не совлечь Липарита с протоптанного Ахсартаном пути — пень муллы скоро раздастся и в Триалети.

Опустила голову царица Елена.

— Таков уж закон нашего женского сердца, — продолжала Мариам, — что правде, высказанной без прикрас, мы предпочитаем лживую ложь, потому что ложь всегда приятнее правды. Я не знаю, каковы мысли брата моего Махары, но что Русудан — не пара царевичу, это ясно даже тем мертвецам, что ожидают сейчас под землей, со скрещенными на труди руками, трубы страшного суда. Если царица Русудан столь благочестива, как ты говоришь, то ведь владения создателя велики: ежели почему-либо не захочется ей принять скиму в какой-нибудь грузинской женской обители, — хотя бы в Сохастери, то я могу устроить ее в монастырь Пропонтиды. Там пребывает доселе прекрасная Евдокия, супруга кесаря Романа Диогена, и не одна царица кончала там свои дни в покое и в мире душевном. А пожелает Русудан — пошлем ее в грузинский женский монастырь в Иерусалим.

Так говорила царица Мариам, когда открылась дверь и на пыпочках вошли монах Козман и домоуправитель Мариам, Циндилук, воздали почесть обеим царицам и уместились у ног Мариам.

Мариам приподнялась и, выпрямив шею, сказала:

— Поскольку, слышу я, превыше сладостей мира сего возлюбил царица Русудан спасителя нашего Иисуса Христа, пусть объявит себя христовой невестой.

Царица Елена омрачилась, тень пробежала по ее лицу, ничего не ответила она Мариам, подумала только: «Чем женщина прекрасней, тем она беспощадней».

15

### КОЗЛОНОГИЙ ЕПИСКОП

Начиналось лето; солнце, покинув созвездие Рака, приближалось к созвездию Льва. Могучие вихри бушевали в тот год, они вздымали тучи песка на берегах Риона и засыпали им Гегути. Вздувшаяся река доходила зачастую до лестниц дворца. Когда вода в реке спадала, глубокий слой ила оставался на полях.

Гегути был зимней резиденцией грузинских царей, но царь Георгий жил здесь и летом; он не любил Кутаисского дворца. Его тяготила жизнь в крепостях — такую крепостью казался ему Кутаисский дворец с двойною оградой его стен.

Но после того, как побывал в Гегути «курчавый посланец сатаны», после того, как заржала лошадь Баграта, после землетрясения, не был стал царю и Гегути.

Однако самое важное было все же не это. Приближалось время восшествия царевича на престол — Гегутиский дворец не мог вместить всех ожидаемых гостей.

Махара думал, что уже в этом году будет венчан на царство Давид; не понимал он, почему откладывалась коронация.

Чувствовал Махара: с утра до ночи совещались, шептались, сылетничали, спорили во дворце, но ничего любопытного не удалось ему услышать.

Был он обижен и на царя Георгия, и на царевича, и на Чкондидели: почему скрывают от него самое главное?

Иногда нечаянно удавалось Махаре застигнуть перешептывающихся сановников, но как только чуяли они приближение старика, тотчас умолкали. Особенно участилось это после прибытия во дворец Мариам.

Царевич казался Махаре объятным унижением. Странным образом изменил свой нрав Давид: стал особенно скуп на слова, не присутствовал более ни на царских выходах, ни на пирах. После переезда в Кутаисский дворец, стал увлекаться астрологией. Как только гасили люстры во дворце, поднимался он вместе с Нианиа на вершину пристроенной ко дворцу «Колхской башни», и там до рассвета оба вглядывались в небесные светила, занимались гаданием по вощим книгам, чтением эфемерид. Увлекался

царевич и греческими книгами, привезенными царицей Мариам.

Придворные дамы пустили слух, будто в день помзания Давида на царство венчают царским венцом и царигу Русудан. Махара видел в этом влияние царицы Мариам.

Сердился старик: сама развелась с двумя кесарями, а как дошло дело до царевича — осуждает и один развод! Но одно обстоятельство зарождало в нем сомнения: благополучно разрешилась сыном царица Русудан, и все же казалась печальной.

То, что новорожденного отослали в Осетию, не могло быть причиной ее печали. Издавна было обычаем у Багратионов воспитывать наследников в Осетии.

Молчаливою стала Русудан, жила, не выходя ни днем, ни ночью из женских покоев. Не показывалась к столу, не сидела перед зеркалом, не румянилась и не белилась. Однажды столкнулся с нею в одном из коридоров Махара: испугало скопца поросшее волосами женское лицо.

Грузинские и греческие епископы окружали Русудан, из ее покоев то и дело раздавалось пение псалмов.

Разболтали постельничьи девушки то, что удалось им подслушать: плачет по ночам царица Русудан, потому что царевич хочет венчаться на царство один, без супруги; католикос Евстратий восстает против такого желания царевича.

Одного не мог понять Махара: уже разъехались по домам все эриставы, чего же Липарит Орбелиани дожидается в Кутаиси?

Раза два царь Георгий и Липарит совещались о чем-то во дворце царя Леопа. Даже факельщики были отпущены из горницы, где происходила беседа, не раз шептался эристав триалетский и с Чкондидели.

Махара прекрасно знал, что самым влиятельным из всех архипастырей был Антоний кутаисский. Сам католикос Евстратий боялся этого архиепископа, ибо обычно его сторону держали многие архиереи.

Махара ненавидел Антония; было известно скопцу взяточничество архиепископа.

Правая стопа Антония была опята ниже шикололки, и на обрубке ноги надет круглый деревянный башмак. Потому Махара называл Антония «козлоногим» — и называл его так не за сплону, а открыто, за трезепою или на пиру. Когда хмель овладевал Махарой, он валялся нарочно на ковер и кричал:

— Ой, ой, гумираю, пусть козлоногий епископ прочтет мне напустевие.

«Ничего не поделаешь, дуракам закон не писан», — думал Антоний и безропотно переносил оскорбление.

Однажды вечером, после долгого размышления, решил Махара ютиться во дворец Антония — авось удастся выветить что-нибудь у злоязычного епископа.

Палаты архиепископа кутаисского были расположены на шоссейной дороге от царских хором к храму Баграта.

Махара прошел через сад Багратионов, углубился в аллею, осененную огромными смоковницами. Во дворце Леоны зажигали свечи в канделябрах, люди несли вверх по лестницам фитили и сало.

Из боевых башен доносились уже звуки рогов, темные зубцы крепостных оград вырисовывались на фоне аквамариновых небес. Запоздалый луч солнца дрожал в листве опухавшего стены плюща. Тень и свет боролись друг с другом возле башен, дворцов и оград.

Из палат Антония кутаисского в аллею вышли две фигуры. Опустив головы, беседовали, прогуливаясь, женщина и рыцарь.

Махара скользнул за ствол смоковницы и притаился, ибо услышал нечаянно слово «царевич». Напрягая взор, узнал он царицу Мариам и Липарита Орбелиани.

Страстно захотелось Махаре хотя бы краем уха уловить их беседу. Еще раз послышалось имя царевича, Махара на цыпочках последовал за беседующими, но те внезапно свернули к дворцу Леоны. Из дворца вышли мандагугры. Махара, продолжая путь, миновал плодовый сад дворца Багратионов.

В конце плодового сада был малый сад, — его называли фиговым садом. Посреди часто посаженных смоковниц находился опромный каменный погреб. Возле погреба стояла небольшая часовня, наполвину разрушенная землетрясением. В нишах часовни теплились восковые свечи. Махара снял несколько свечей и поднял плитку, что лежала в углу часовни.

Под плитку открылся узкий подземный ход, пол и стены которого были выложены булыжником.

Махара шел согнувшись, чтобы не задеть потолка. В одной руке он держал свечи, другую — рвал сети, раскинутые пауками. По мшистым стенам скользили бесшумные ящерицы.

Долго шел он так под землей и пришел к перекрестку, где проход разделялся на три ветви: одна вела ко дворцу Багратионов, другая — наружу за стены крепости, третья — к дворцу Леоны. По этому-то проходу и пошел Махара. Плита, подобная той, что была в ча-

совне, прикрывала выход из подземелья. Осторожно упершись в нее своею чудотой головой, Махара приподнял ее и оказался в главной палате дворца Леоны.

Во всех четырех углах палаты стояли подсвечники с зажженными свечами; факельщиков тьме не было видно.

На том самом месте, где кончался подземный ход, стоял большой иранский шкаф из каменного дерева на подставках, имеющих форму слоновьих ног. Этот огромный шкаф почти перепороживал палату пополам. Барельефы с крылатыми львами и дикими буйволами украшали его стенки. За этим шкафом и спрятался Махара.

В другом конце палаты сидели друг против друга на подушках мужчина и женщина.

Первым услышал Махара голос царицы Мариам.

— Надеюсь, эристав Липарит, ты привезешь Дедисимеди на торжество коронации царевича?

Услышав имя Дедисимеди, наострил уши Махара.

Мужчина немного помолчал:

— Боюсь, не выгнал бы ее приезд ненужных пересудов, августа. Кроме того, я не знаю, что скажет на это царица Елена.

Еще помолчал короткое время Липарит, потом сказал:

— Не лучше ли было бы, государыня, приехать тебе самой к шам в Триалети? Ката и Дедисимеди ждут тебя с нетерпением в Липаритис-Убани. Кроме того, мы недавно построили две новые церкви — ужели не захочешь их осмотреть? На присланные тобою пожертвования украсил их архиепископ манглиский.

— В день коронавания Давида вся Грузия съедется в Кутаиси, как же ты можешь не привезти свое семейство? Его отсутствие как раз дало бы повод к ненужным пересудам. И не тревожься о царице Елене: мне кажется, я здесь у себя дома, не правда ли? А после того как Давид будет помазан на царство, я поеду с тобою в Кледеари.

Царица Мариам поднялась с места. Махаре показалось, что она направляется в его сторону; он прижался к шкафу, застав дыхание.

Мариам подошла близко к Липариту; эристав приподнялся с места. Царица просила его не вставать, положила руку ему на плечо и сказала вполголоса:

— Как-как удалось мне добиться согласия царя Георгия. Царевич разведется с Русудан. Много твердила я царю, перечислила примеры восточных императоров и императриц. Да и в самом деле, ничего необычного в этом нет...

Трижды вступала в брак императрица византийская Зоя. Константин Мономах дважды разводился со своими супругами.

— А абхазский католикос?

— Евстратий согласен, только боится этого козлоногого Антония. Один лишь Антоний упрямится и требует наложить эпитимию на царевича. Не знает Антоний, что лишь при третьем браке налагал эпитимию на молодых императоров константинопольский патриарх.

— Антоний кутаисский? — вскричал Липарит, — но ведь он сам убеждал меня, что это Чкондидели с католикосом Евстратием не допустили царевича обручиться с Дедисимеди, а он будто бы с самого начала стоял за то, чтобы сделать ее царицей.

— Двуличен архиепископ Антоний. Напротив, Чкондидели стоял за то, чтобы царь породнился с тобой, эристав Липарит.

Липарит все же встал и сказал:

— Все это было в прошлом. Ныне дочь моя созрела, боюсь, как бы не навлечь позора на мой дом, государыня. Он опустил голову.

— Антоний?! Каков?!

Мариам ответила ему громко:

— С архиепископом кутаисским справлюсь я сама. Пусть образумится козлоногий, а не то, — как бы не пришлось наложить на него самого эпитимию!

16

ХОРЕШАН

С нетерпением ожидали в Липаритис-Убани приезда царицы Мариам, но прибыло письмо от нее и от Чкондидели: Ката, Дедисимеди и Рати приглашались на торжество помазания царевича.

Заупрямылась Ката — как везти в Кутаиси Дедисимеди, пока царица Русудан живет во дворце? Не выставлять же дочь на позорische?

Иначе думал сын Липарита Рати. Хотя и держал он постоянную связь с двором ширванского повелителя<sup>1</sup> и с тбилиским амиром, все же был он правоверным христианином.

Принятие ислама царем кахетинским Ахсарганом возмутило Рати до глубины души. Триалетское эриставство врезалось мысом в море мусульманских земель. Обратят в магометову веру царство кахетинское, а потом настанет

<sup>1</sup> Ширванское государство было расположено приблизительно на территории нынешней Азербайджанской ССР.

очередь и для триалетского эриставства.

Часто Рати спорил с отцом, но сейчас и ему показалась своевременной попытка сблизиться с Багратионами.

Приглашение на коронацию объяснял Рати следующим образом: всеильная царица Мариам настаивает на своем, царевич разведется с Русудан, и быть может за коронацией последует свадьба.

В Липаритис-Убани прибыл монах Козман. Он подтвердил эти догадки и еще добавил:

— Упрямо стоит на своем кутаисский архиепископ, но это — дело времени. Сребролюбив Антоний, он уже намекал мне, что сорок тысяч золотых драхм получил константинопольский патриарх за согласие на вторичный развод кесаря Константина Мономаха. Если будет необходимо, царица Мариам зашлает эту сумму.

И еще одно радостное известие привез монах Козман: царь и Совет старейшин возложили на эристава Липарита обязанности спасалара — подобно тому, как истари были полководцами Багратионов эриставы из дома Багуаш-Орбелиани.

Упорство архиепископа кутаисского не страшило Рати. Если и золото не смягчит сердце Антония, можно, взяв с собой триалетских азагуров, заманить его на охоту в Алджаметский лес, и нечаянно сорвавшейся с тетивы стреле будет приписана его смерть.

Дедисимеди расстроило неожиданное известие и в особенности упорство матери. Настойчиво уверял ее монах Козман: для тебя привезла царица Мариам алмазное ожерелье, дар домашнего Андроника. Очень хотелось дочери эристава присутствовать при восшествии царевича Давида на грузинский престол.

Частые обмороки беспокоили ее и, наконец, слегла она в постель.

Призвала Ката домашнего врача Карсанисдзе. Тщетно тоили деву целебными шарбетами. Наконец, позвали кормилицу Дедисимеди Хорешан...

Была Хорешан вещей сновидицей и ворожей, и хотя была слепой, но отменно владела лютней и сладостно пела ирмосы.

Расцеловала Хорешан воспитанницу, пощупала ей жилу на запястье, провела ночь у ее постели, а на утро заставила рассказать виденный сон.

— В желтое платье была я одета во сне, — отвечала Дедисимеди, — и видела желтый сад, и цветы и плоды были желтые в том саду. Желтый садовник ходил по саду, а глаза у него были цвета алычи.

## В САДУ ПАНА

«Сон к печали», — подумала няня. Провела еще одну ночь около Дедисимеди, напомнимла ей детство, поиграла на лютне, спела ирмосы и усыпила больную. Утром снова спросила про сон.

На этот раз на Дедисимеди было надето белое платье, а крепостные стены окрасились в черный цвет. Царские войска пришли в Кадкарскую крепость, кизилово-красные штандарты несли они на копьях. Четверо рыцарей, закованные в латы киноварного цвета, подошли к Дедисимеди; они бросили щит у ее ног, а потом подняли ее на этом щите.

— А куда унесли тебя те рыцари? — спросила Хорешан.

Дедисимеди замолчала, даже от кормилицы утаила сокровенное — что Давид был одет в скараманг червеной парчи и в руке держал щит — сплошь из золота.

Вошла Ката с разгневанным лицом. Спросила Хорешан о причине болезни.

— Болезнь от печали, — ответила кормилица.

Велела Хорешан принести пригоршню персикового цвета, ягоду унаби и сухое виноградное зерно. С десятью драхмами аламы и двадцатью зернами сунджи вскипятила она все это в одной мере воды и дала выпить больной.

Все же не стало лучше Дедисимеди. Тогда Хорешан прямо сказала супруге эристава:

— Обещай ей поехать в Кутаиси, и немедленно пройдет ее недуг, потому что глубоко затронута душа девушки.

Ката осталась наедине с Хорешан и стала ее упрекать:

— Зачем ты сказала такое в присутствии Дедисимеди?

— А скажи мне, госпожа, почему ты не хочешь взять девушку на торжество в Кутаиси?

Опустилась в кресло опечаленная мать и скрала руками виски.

— Не знаю, как мне и быть, Хорешан. Рати, конечно, прав. Царица Мариам добродетельница нашего дома, но ведь ты знаешь, какие длинные языки у сплетников! Опять пойдет перешептывание по всему дворцу — «вот, мол, приехала прекрасная невеста царевича!»

— Не говори так, госпожа. Вся Грузия будет в Кутаиси в этот день, может ли отсутствовать хоть одна из дочерей или жен эриставских на таком торжестве? Пожалей девочку, молю тебя я — ее слепая кормилица!

Ката смягчилась, призвала главного конюшого, приказала держать лошадей наготове.

Ниания Бакуриани собирался в Таоскари, — он был спешно вызван двоюродными братьями по делам своих владений. День коронавания Давида был трижды назначен и трижды откладывался.

Тяжко было Ниания оставаться во дворце. Стремился он уехать, чтобы положить предел безнадежной страсти к царице Мариам.

Догадалась мудрая сердцем женщина о печали влюбленного юноши. Подсунула смеянному рыцарю куропалатиссу Мелиту.

Началось это так: отправились в женскую обитель Сохастери царица Мариам, куропалатисса Мелита, царевич, Ниания и Епифанис Непьющий, со свитой рыцарей и монахов.

На возвратном пути царица Мариам намеренно отстала от остальных всадников. А потом внезапнопустила лошадь галопом и усакала от Ниания и Мелиты.

Не выдержал женолюбивый Ниания, оставшись наедине с прекрасной Мелитой в лесу, впился в чувственные губы вдовы куропалата.

Во дворце за ними наблюдала тысяча любопытных глаз. Некоторое время сказывалась больною Мелита, потом пожалела совершить прогулку на лошадях к Сатаплии. Сатаплия — «Медовник» — дремучий дубовый лес у подножья горы Хомли. В расщелинах хомлийских скал гнездится несчетное множество белых пчел. Константинопольские монахи-пасечники часто упоминали об этих пчелах, утверждая, что мед их обладает свойством удлинить человеческую жизнь.

Мелита взяла с собой Ниания, своего постельничьего-монаха и трех диаконов. Тотчас по прибытии в Сатаплию, Мелиту и Ниания угостили душистыми сотами и влюбленные, отпустив спутников, наслаждались диким медом на берегу ручья.

Оба они быстро опьянели. Волосы Мелиты были золотисты как мед, а тело у нее было белое как снег, что еще с прошлой зимы остался кое-где на горе Хомли.

По всему дворцу разнесли диаконы слух о блудодействе гречанки.

Домоправитель доложил об этом Антонию.

Всегда был на страже архиепископ Антоний, ревнитель христианского благонравия. Он довел эту историю до сведения царя. Царь Георгий рассказал об этом сестре. Царица Мариам строго

осудила Мелиту и приказала ей немедленно вернуться в Константинополь.

Взмолилась вдова куропалата, чтобы царя не отсылала ее из Кутаиси до коронавания царевича. Мариам согласилась временно оставить гостью, тем более, что после коронации должны были отправиться в Византию епископы Епифаний Непьющий и хиосский епископ Кеифиллин.

Как только начался Ствалиса — месяц виноградного сбора, — множество гостей прибыло в Кутаисский дворец: еще не был назначен день торжества, но уже прибывали с дарами азнауры, богатые купцы, духовенство. Боялись: вдруг взбредет на ум царю Георгию неожиданно назначить день коронации и тогда не удастся во-время поспеть в Кутаиси.

Не менее чем десяти стадиям равнялась длина Кутаисского дворца, вместе с каменными пристройками и башнями.

Дворецкие и домоправители сбились с ног, размещая эриставов, епископов и азнауров с их многочисленной свитой и лошадьми. Приехавшие на арбах простолодины раскинули шатры в рощах на берегу Риона.

Византийский кесарь Алексей Комнен прислал послов: четырех куропалатов, трех магистров и семь турмархов<sup>1</sup>.

Они привезли в дар царевичу золотое копье с византийским штандартом, пятьсот склянок мускуса, сто локтей парчи, три псалтыри в золотых перешагах, двадцать тысяч драхм, десять венгерских коней, сбруи и седла, украшенные золотом, для трех лошадей. Все это прислал кесарь в дар защитнику христианства, будущему воителю против Гога и Магога.

Прибыли послы и от ширванского владетеля, привезли Давиду арабских лошадей и семь золотых панцирей.

Прибыли доверенные люди осетинского царя, приехали аницы, книжники и купцы, поднесли в дар три сотни карабахских коней, сто овец с руном разного цвета, серебряное копье и щит, покрытый золотом.

Был достаточно обширен дворец кутаисского архиепископа, но и здесь тоже было тесно от гостей. Последними прибыли дианисский, цинцкаройский, урбнисский и ниноцминдский архипастыри.

По всему царству славился сад Антония кутаисского. Огромные клены и дзелквы<sup>2</sup> были обвиты лозами толще

буйволоуой ноги. Вдоль ограды сада стояли смокновницы, отягченные плодами, яблоневые и персиковые участки были размежеваны гранатовыми деревьями.

Под громадными дубами был устроен погреб; десятка два кувери — кувшинов, наполненных старыми винами, были зарыты в этом погребе. Но не все кувшины уместились в погребе, часть их была зарыта в саду, в беседках, оплетенных ползучими растениями. Словно великаны, лежали вокруг беседок порожние кувшины-амфоры, широко распылив рты в ожидании нового урожая.

Запаздывали коронационные грядности, нетерпение овладело грузинскими и греческими епископами, приготовившимися к пиршеству и веселью.

Перед тем, как приступить к трапезе, гости архиепископа сидели обычно на бревнах дзелквы перед погребом.

В огромных давилях монахи с закрученными по колено штанами, охмелевшие от бродящего сусла, весело давили виноград. Другие, взобравшись на клены, обирали виноградные лозы, спустили гроздья в корзины.

Византийские гости изумленно глядели, как, засучив рукава, монахи опускались в исполинские кувшины по лестницам и скребли щетками из черешневой коры глиняные стенки. Пчелы вились вокруг давиляни. В ушах стоял немолчный пчелиный гул.

В золотых чашах приносили монахи виноградный сок, давали его пробовать гостям.

Завязалась беседа. Начал ее хиосский епископ, который рассказал о том, что нынешней весной в Кесарее родился двуголовый теленок.

Епифаний Непьющий продолжил беседу рассказом о поклонении собакам — суеверии, распространенном в те времена среди константинопольского населения. Пафлагонийский епископ поведал слушателям о том, что в Антиохии объявился ученый пес Пифон, которого обучил человеческой речи один турок-измаэлит.

— А ты веришь, владыко. — заметил хиосский епископ, — что Пифон — и в самом деле пес? Эта собака без сомнения — исчадие ада!

Дионисский и цинцкаройский епископы, прекрасно говорившие по-гречески, оба подтвердили, что пес, конечно, — сам сатана.

Выпитое мачари — бродящее сусло — пробудило у гостей аппетит.

— Хвалит безмерно колхидские устрицы, владыко. — обратился к Антонию хиосский епископ Севастий, у которого

<sup>1</sup> Турмарх — начальник турма, полка.

<sup>2</sup> Дзелква — каменное дерево.

шея была тонкая и длинная, как у аиста.

— О-о-о, и впрямь отменные устрицы в Колхиде, — ответила гостю хозяйка, (кстати сказать, сам ненавидевший устриц), — сегодня привез их для вас, владыко, высокопреосвященный Досифей, епископ цхумский.

Епископ Севастий почувствовал во рту слюну, когда заговорили об устрицах. Необычайно возбужденный, он едва не воскликнул: «Так велите же принести их сюда!», но не посмел обратиться с такой просьбой к хозяину и только пробормотал:

— Колхидские устрицы хороши с хиосским вином, владыко.

— Вина предлагаю вам, ваше преосвященство, багдадского, капистонийского и оджаецкого. Поверьте, владыко, колхидские вина ничем не хуже хиосских и десбосских.

Епифаний Непьющий, не раз пробовавший колхидские вина, сказал:

— К колхидскому вину хороши фрионская осетрина и икра.

Цинцкарыйский епископ заспорил с ним:

— Летом лучше всего лопатка молоденького теленка, сваренная с чесноком, кориандром и базиликом, с подливкой из ткемали.

— Что до меня, то я болен полнокроем, — вставил свое слово мировийский епископ, — кажется, и вы тоже, владыко? — обратился он к миноцминдскому епископу.

— Да, и я тоже, — подтвердил епископ миноцминдский.

— Тогда я вам советую — мясо верблюжонка, с фенхелем и бобами.

— А что вы скажете против джейраньего шашлыка? — спросил епископ кумурдойский — С уксусом и барбарисовым соком?

Тут разокотился и сам Антоний:

— Всего лучше оленье мясо — но не только что пойманного оленя, а такого, что держали целое лето в загоне. Нынешнею весной поймали мои охотники оленя, все лето поил я его обильно дождевой водой, мясо у него должно быть сладкое, нежное и легкое. Сегодня подадут его вам — убедитесь сами.

Взволновало гостей обещание Антония.

— Я всему предпочитаю лосотину, — сказал цинцкарыйский епископ, — приготовленную по-кутаиски, с гранатовым соком.

— Что вы, владыко, — ответил толстый урбисский епископ, облысевшую голову которого украшала бородавка величиною с миндалин, — разве сравнится что-нибудь на свете с мясом фазана, турача и куропатки?

— А я так полагаю, — вмешался епископ дианисский, — выше всего на свете форель из Араты или из Алгети<sup>1</sup>.

Взволновались греческие гости.

— Ну, куда же речной рыбе до морской или до понтийских устриц! — сказал епископ пафлагонийский Тимофей.

— Взяла бы нелегкая ваши устрицы как морские, так и сухопутные! — по-грузински пробормотал цилканский епископ и при этом так испуганно сощурил глаза, как будто сказал что-то совсем нечестивое.

Исполнилось желание греков: колхидские устрицы были поданы в самом начале обеда.

Как только окончили молитву, накинулись греки на устриц.

Осторожно открывал их Епифаний Непьющий, потому что читал где-то у Плиния<sup>2</sup>, будто в раковинах колхидских устриц попадаются жемчужины.

Втайне был огорчен Епифаний Непьющий: Антоний заставил его председательствовать за столом, и не хватало ему времени для еды. Не раз Епифаний сопровождал царицу Мариам при поездках ее в Грузию, и потому было достаточно знакомо ему искусство ведения пира.

Когда в семнадцатый раз обнесли золотую чашу, Епифаний свалился, словно подкошенный; подскочили постельничьи монахи, увели его под-руки.

Теперь обязанности танады принял на себя сам архиепископ Антоний. Он велел принести еще большой кубок, тоже из золота. Серна, убегающая от охотника, вооруженного луком, была вычеканена на этом кубке.

Один вид этого сосуда заставил епископа мировийского в сопровождении игумена сохастарского монастыря и двух монахов покинуть пиршество. Только трижды успела обойти пирующих чаша с серной — и еще семерых епископов унесли монахи во дворец Антония.

В изумлении взирала на Антония кутаисского вдова куропалата Мелита, Краснощекой, растрепанный, стоял он во главе стола с золотым кубком в руке. На десного бога Пана походила он — курносый, хмельной, с подернутым багрянцем кончиком носа. Возбужденный как Пан, затянул он застольную здравицу «мравал-жамьер». Только свирели Пана не хватало развеселившемуся тамаде.

Еле поднимали тяжелые веки тонковейные греческие епископы. Среди упитанных, цветущих грузинских ар-

<sup>1</sup> Алгети — река в восточной Грузии, один из притоков Куры.

<sup>2</sup> Плиний — римский историк.

хипастырей выглядели они, как те фараоновы тощие коровы, которые пожрали жирных коров, а сами не стали жирнее.

В самый разгар сбора, когда виноград засыпают в давилни, начинались в древней Греции празднества в честь Бахуса, бога опьянения. Выжимками черного винограда греки обмазывали себе лицо, после чего начиналась вакханалия. Отдаленные отголоски этого обычая еще оставались в те времена и в Колхиде. Во время сбора винограда обитатели Кутаисской крепости, из простолюдинов, ходили, обмазавшись выжимками, по дворам, опьянялись перед погребями поднесенным вином.

Махаре несласанно хотелось попасть хотя бы невидимкой в сад к Антонию кутаисскому.

Царевича и Ниания встретил он на лестнице дворца царя Леона.

— Сходи-ка в сад к архиепископу Антонию, погляди, как веселятся пресвященные, — сказал с улыбкой Давид и подмигнул старику.

— Знаешь ли что, Махара, — сказал Ниания, — вымажь себе лицо выжимками и осмотри хорошенько сад.

Пришлось по нраву Махаре совет Ниания. Его безбородое лицо было словно нарочно создано для такого маскарада.

Переоделся Махара простолюдином, вымазался виноградными выжимками и, когда порядком стемнело, перелез через ограду в сад к кутаисскому архиепископу.

Стол, накрытый под сенью тутового дерева, нашел он уже опустевшим; опьяневшие монахи, не присаживаясь, доедали остатки пиршественных яств. Не было видно нигде ни гостей, ни хозяйина.

Словно ищейка, бегал по саду Махара. Трое епископов, ухватившись за путые амфоры и напевая, проливали мочу.

Месяц уже стоял над крепостью.

В конце сада, в беседке из лоз, мелькнула человеческая фигура в белом женском платье; за шей, переваливаясь, брело огромное привидение. Махара притаился за стволом клена.

Привидение догнало фигуру в белом, заключило в просторные объятия женщину, и оба, опьяненные страстью, прильнули к ограде.

Махара выступил вперед и узнал вдову куропалата; тотчас же выскользнула женщина из объятий любовника.

— Кто здесь? — закричал Антоний.

— Это я, Махара. Понадобился мне апостольский канон, для того искал я тебя, владычко!

— О, исчадие ада! — пробормотал Антоний.

Следующий день был понедельник, Антоний издавна считал его днем неудач. Рано утром явился к нему Махара; вздрогнула архиерей, вспомнил приключение прошлой ночи.

Гость не дал хозяину даже одеться; не дожидаясь приглашения постельничьего монаха, сам вошел в гостиную палату.

Растрепанный, с грудью, заросшей щетиной, встретил Махара архиепископ.

— Прости мне, владычко, вчерашнее вторжение, но в самом деле мне нужен апостольский канон.

Сначала вспыхнул кутаисский архиепископ, потом устремил в изумлении взор на Махара. «Вчерашнее вторжение» он принял сначала за обычную шутку Махара, но теперь понимал, что далеко не шутил безбородый.

Не говоря ни слова, вынес апостольский канон и так же безмолвно положил книгу на стол.

— Слаб я стал глазами, — сказал Махара, — прошу тебя, владычко, прочти мне главу двадцать девятую.

Долго листал Антоний апостольский канон.

— Должно быть, не часто приходится тебе читать эту книгу, владычко? — спросил Махара. Правая бровь у него подрагивала.

Наконец нашел искомое Антоний и прочел:

— «Аще кто, епископ или пресвитер или диакон, деньгами сие достоинство получит, — да будет извержен».

— А теперь, прошу тебя, владычко, прочти мне главу сорок вторую, — попросил гость.

— «Епископ или пресвитер или диакон, блудодеянию или игре и пьянству преданный, да будет извержен».

— Воистину, воистину! — сказал Махара и встал.

Антоний хранил молчание. Махара сказал твердо:

— Теперь выбор предоставляется тебе, святой отец, хочешь — дай свое соизволение царевичу на немедленный развод с царицею Русудан, не хочешь — потребую я, чтобы столь же немедленно наложили на тебя эпитимию.

— Я всегда держал сторону царевича в этом деле, так же, как и в других, — пробормотал Антоний, опустив голову.

Махара простился с хозяином.

На другое утро архиепископ кутаисский попросил приема у царицы Марьям, предстал пред нею со склоненной головой и сообщил:

— Католикос абхазский и я, прах дерствования твоего, — оба мы даем согласие на развод царевича с госпожою Русудан.



## «ПРЕПОЯШЬ СЕБЯ МЕЧОМ!»

В пятницу утром прибыл в замок семейство Лишарита в сопровождении семисот копьеносцев.

Императрица Мариам пригласила Катю, Дедисимеди и Рати во дворец царя Леона. В тот же вечер был дан ему большой ужин. Семь эриставов со своими домохозяевами присутствовали на пирушке.

По левую руку от царицы Мариам сидели Дедисимеди, куропалатисса Мелита, Тинатэ — дочь цхумского эристава, высокогрудая, с густыми, тяжелыми волнистыми волосами; дочери бечисцхского владетеля — Ина, Дуда и Хваша — прекраснейшие из дев Самцхскийского края; Лума — супруга Шерпила Лишаритиани, жемчужина мегрельских жен.

И все же на одну Дедисимеди смотрели и стар и млад; единогласно объявили придворные дамы: в тот вечер дочь эристава затмила всех — даже Мариам.

— Руками, затмила руками! — говорила Мзисавар, дочь Шервашидзе, старая дева, что бывала на своем веку и в константинопольских дворцах.

И выпрямя, чуть грубоваты были руки у царицы Мариам.

После долгого путешествия обветрено было лицо Дедисимеди, но ланиты ее цвели, как персиковый цвет, и на лице ее играл персиковый оттенок — какой придавали обычно иранские мастера стройным фарфоровым вазам. Белы, словно лопотский мрамор, были руки ее с тыльной стороны, а ладони — чуть розоваты; длинные пальцы слегка выгибались кверху у основания ногтей.

★

В субботу вечером приблизился к дверям дворца абхазских царей архиепископ бедийский. За одетым в виссон преосвященным выступали: Кирион манглисский, Стефаноз цилканский и Досифей цалкский; большая свита духовных сопровождала их с пением псалмов. В руках они держали зажженные большие свечи; кажда благоволенным алоэ, вошли они в царскую палату.

Архиепископ бедийский положил на дискос царские венец, скипетр, порфиру и виссон, накрыл их покрывалом и унес в храм царя Баграта.

Были положены в алтаре знаки царского достоинства. «Ночь бдения» провели около них архипастыри.

На другое утро облачились в пышные ризы: абхазский католикос Евстратий, кутаисский, мровийский, бедийский, манглисский и цилканский архи-

епископы и семь епископов. В алтаре разгорелся спор между Евстратием и Антонином.

— Архиепископ кутаисский — соборователь царей, поэтому и должен возложить венец на голову царевича! — говорил Антоний.

Чкондидели вмешался в дело, и было решено: по обычаю, как положено, венчает Давида на царство абхазский католикос.

Царевич был чуть бледен в то утро; волновался, все время молчал, не расставался с Нианиа Бакуриани, Бешкеном Джакели и Шергилом Лишаритиани.

В царскую палату вошел крестоносец, за ним шли вельможи и воины. Склонившись до земли перед царевичем, воздал ему почесть крестоноситель и сказал:

— Благослови нас, святой и самодержавный царь, да будет мнози годы и часы твои.

То же повторили воины.

Вновь склонился крестоносец, обратил к вельможам и воинам:

— Радуйтесь, сильные и непобедимые! Пришел час свершить положенное.

Царевич встал, поднялись вельможи и рыцарская свита.

Впереди несли «колокол царский», за ним — знамя и копье. Позади следовали крестоносец и архидиакон.

За крестоносителем выступал главный мандатур, он держал в руке золотой мандатурский посох; вслед за ним шли царь и войска. По правую руку от Давида шли военачальники. По левую руку — ведающие мирскими делами.

Лишарит Орбелиани, — препоясанный мечом, нес на вытянутых руках обнаженный державный меч.

За калдекарским эриставом следовал главный конюший, также препоясанный мечом.

Чкондидели шел слева от царя; правитель царского двора, начальник царских телохранителей и главный оруженничий несли царский щит, царский пояс и ножны царского меча. Они шли сразу вслед за царем.

У притвора храма Баграта встретил шедшего со склоненной головой царевича католикос Евстратий и приветствовал его, восклицая громко:

— Благословен приход твой и утверждение твое над царством твоим. Да повергнутся под стопами твоими враги и противники твои.

Присутствующие возгласили:

— Аминь!

Молча воздал царевич почесть католикосу и направился к дверям храма. Десницу его держал католикос Евстратий, шуйцу — бедийский архиепископ.

Введя в храм, архипастыри поставили Давида на царском месте.

Крестonosитель подошел к Липариту Орбелиани, взял у него царский меч, внес в алтарь и прислонил к животворящему дереву. Знамя же и копье держали перед вратами алтаря два рыцаря в латах.

Архиепископ бедийский взял с диска царский виссон, подступил к сидящему царевичу и накрыл ему колени.

Чкондидели с эриставом Липаритом подошли к царевичу, взяли его за руки выше локтей, подняли и подвели к католикоосу.

— Благослови, владыко! — произнес Давид.

Евстратий осенил его крестом и сказал: — Благословенно царствие твое во веки веков!

Протодиакон возгласил с амвона:

— «Препояшь себя по бедру мечом твоим, сильный, красотой твоею и добротой твоею и гради, и успевай, и царствуй истины ради и кротости и правоты».

И когда дошел до места, где говорится:

— «Предста царица одесную тебе в ризы позлащенные юдеянина», — тщетно искали Русудан любопытные.

Под конец обряда уже все — старый и малый, рыцари и женщины — бросали украдкой взгляды в сторону Дедисимеди.

Стояла, прижав руки к груди, дочь эристава Липарита, тихая и кроткая, словно горлинка.

Когда из врат алтаря вышел Давид, одетый в золоченый панцирь, и Липарит Орбелиани препоясал его державным мечом, что был вздымаем не раз со славою в войнах против сельджуков, — Дедисимеди отыскала взглядом глаза бледного, взволнованного Давида, и слезы подступили к ее прекрасным очам.

Процессия вышла из Баградова храма, правую руку царевича держал католикос, левую — Георгий Чкондидели.

В царской палате царя Давида встретили царь царей Георгий и царица Елена, расцеловали первенца своего.

Католикос Евстратий и Георгий Чкондидели возвели царя Давида на трон, усадили и сошли обратно. Крестonosитель стал одесную царя, в руке он держал животворящее дерево креста.

После этого началось воздание почестей.

По одиночке подходили к Давиду царица Мариам, абхазский католикос, Чкондидели, эристав Липарит, Григорий Бакуриани, эристав Гуарам, главный мандатур, главный казначей и старейшины. Подходили эриставы и их

домочадцы, склонившись перед царем, воздавали ему почести.

Когда подошла к нему Дедисимеди и поцеловала ему руку, царь почувствовал желание расцеловать руки дочери Липарита, белые, словно лопотский мрамор.

19

## АЛМАЗНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Октябрь был уже на исходе.

Католикосом Евстратием и архиепископом кутаисским было решено в день святого Георгия объявить миру о разводе царя Давида с царицею Русудан.

Окончились торжества, устроенные в Кутаисском дворце после помозания. Разъехались по домам дальние гости и послы: кахетинские, карталинские, таокарджетские эриставы, архиереи и азнауры.

Лишь несколько родовитых азнауров с семьями не собирались уезжать из Кутаиси, потому что по дворцу разнесся слух, будто за венчанием на царство, не сегодня-завтра, последует свадьба. Русудан молила царицу Елену и кое-как добилась ее согласия привезти из Осетии царевича Деметре. Отрядили скорохода, вызвали кормилицу вместе с дитятей.

Внимание всего дворца было сосредоточено на Дедисимеди. После коронации ни разу не покидала она женской половины Леонова дворца, ни разу не показывалась во дворец абхазских царей — ни царю Георгию, ни царице Елене. Не расставалась с Лелой, своею молочной сестрой.

Тщетно пыталась царица Мариам развеселить свою прекрасную гостью, раза два даже намеренно устроила прогулку на лошадях к Сатапали, долго просила Дедисимеди поехать, — но все было напрасно...

Без устали сплетничали во дворце: «Привел себе царь Давид в наложницы дочь эристава Липарита» — говорили одни. Другие утверждали: «Царь развеялся с царицею Русудан, предается разврату с Дедисимеди».

— Во всем подражает Баграту куропалату царь Давид, дед его также все время водил любовь с женщинами из дома Орбелиани, — шипели придворные дамы кутаисского дворца.

Великие и малые, все следили за Дедисимеди.

Однажды столь многочисленная толпа окружила Дедисимеди, после обедни выходящую из храма с матерью и царицею Мариам, что смутилась выросшая в одиночестве девушка.

Женщины из простонародья, приехавшие из дальних деревень, без стесне-

ния подбегали к дочери эристава, хватали руками концы ее одежды, целовали ей рукава, восторженно ласкали тяжелые косы.

Архидиакон с трудом отнял испуганную девушку у толпы.

Стоило выйти ей прогуляться одной по двору замка, как тотчас бросались за нею толпой девочки простолоудинок, кидали цветы под ноги будущей царице.

Как всякое создание совершенной красоты, не сознавала собственной предели Дедисимеди; зрачки ее испуганно расширялись, изумление выражали ее большие глаза, и без того слегка удивленные.

Недотрогой стала Дедисимеди, постоянно стремилась уединиться. В сумерках, закутавшись в ледину шаль, уходила она к вечерне в храм Баграта. Отставивала службу, прикажались в темном уголке на женской стороне, и лишь когда расходилась паства, покидала собор, раздавала собравшимся на паперти нищим драхмы, приговаривая шепотом: — Молитесь за долголетие царя Давида.

Было еще далеко до дня святого Георгия, истощалось терпение у дворцовых сплетников.

Сторонники Русудан проклинали католикоса Евстратия: зачем разрешил он молодому царю привести наложницу во дворец?

Желавшие видеть Дедисимеди царицей бранили Антония кутаисского: если бы не «козлоногий» епископ, давно укашал бы дочь эристава Липарита царский венец.

Гордиев узел развязался сам собой.

Согласие католикоса Евстратия и Антония кутаисского оказалось в конце концов вовсе ненужным.

В субботу вечером устроила Мариам небольшое пиршество для эристава Липарита и его семьи. Ни царь Георгий, ни царица Елена не были приглашены в этот день к Мариам.

Утром приметил Махара: спозаранку пришла Мариам к царю Георгию, долго сидела наедине брат с сестрою, под конец они пригласили к себе царицу Елену и Георгия Чкондидели. Не прошло и нескольких минут, как из палаты вышла царица Елена. Щеки ее были красны от волнения, встретив в проходе Махара она отвела от него заплаканные глаза.

Махара чувствовал ясно: что-то странное происходило во дворце. Совещались все — большой и малый, но никто не хотел поделиться с ним тайной.

После коронации ни разу не покидала своих покоев Русудан. Ранним утром входили к ней монахини во главе с игуменьей Сохастерийского женского монастыря Тутой, пели царице ирмосы.

★

После полудня началось столованье во дворце Леона. Молодежь составляла большинство приглашенных на пир к царице Мариам.

Прекраснейшие из жен и дев грузинского царства окружали царицу Мариам. По правую руку от нее сидела Дедисимеди, по левую — супруга Липарита, Ката. Напротив этих трех дам сидели Давид, Ниания и Бешкен Джакели.

Между золотыми столами стоял серебряный. Чашник в вишневой шапке рубил топориком лед, укладывая его на фаянсовое, покрытое глазурью блюдо, и ложкой с серебряной рукояткой подсыпал в кубки гостям.

С приездом царицы Мариам изменился порядок пиршества: не молча, по грузинскому обычаю, кушали гости, а беседовали за едой.

Куропалатисса Мелита без умолку болтала. То рассказывала она Давиду и Ниания о кесаревом ипподроме, то вспоминала масленичный карнавал, то описывала проделки цыган, пришедших в Константинополь из Багдада.

Ниания Бакуриани потихоньку подливал вина куропалатиссе, у которой уже раскраснелись щеки.

Молчаливо сидели грузинки: всех скромнее держалась Дедисимеди. Предлагала ей кушанья царица Мариам, упрасивала гостью отведать хотя бы немножко.

— Такова уж моя дочь, августа, — говорит Ката царице Мариам, — и радость и горе лишают ее аппетита.

— Что же — радость или печаль причиняет ей моя близость? — спросила Мариам, глядя на Дедисимеди. — Кажется, печаль, не правда ли, предельная моя?

— Не говорите так, августа, — ответила Дедисимеди, взяла себе на тарелку фазанье крылышко, потом поднесла его ко рту, откусила самую малость и, когда хозяйка отвела от нее взор, положила снова мясо на тарелку; и больше не прикасалась к нему во весь вечер.

— Гречанки пьют вино и в присутствии мужчин. Рассказывали о царице Зое, что она перешивала хиосские молодцов, — сказала царица Мариам, и пирующие взглянули на куропалатиссу Мелиту.

— Я не люблю женщин, объедающихся за столом, — вполголоса сказал Давид Ниания.

Когда столы были принесены подносы, полные персиков, орехов и винограда, Мариам умоляющим голосом обратилась к своим гостям:

— Откушайте хотя бы плодов, доро-

гие гости, а то люди будут говорить, что я скушая хозяйка.

Выбрала Мариам самый красивый персик, золотившийся маленькими пятнышками с одного боку, полюбовалась прекрасным плодом и с тою радостью, с какой впервые протягивают ребенку созревший плод, предложила его Дедисимеде.

Время от времени бросала она взгляд на Давида и Дедисимеди, сидевших за столом друг против друга.

Когда болтливая Мелита снова привлекла к себе внимание гостей, заметила Мариам: большие, сапфировые глаза устремил царевич Давид на Дедисимеди, взглянул на нее как раз в ту минуту, когда дочь эристава повернулась к Хваше, своей подруге. Взор его остановился на прекрасной шее девушки, там, где свились колечками маленькие белокурые локоны, словно юные побеги только что зацветшей виноградной лозы.

Ни одна драгоценность не украшала дочь Липарита; тогда как у всех остальных дочерей эриставов, как и у Мелиты, грудь, шея и голова были отягчены множеством сверкающих камней — рубинов, сапфиров и алмазов.

Быстрым взором окинула обеих царица Мариам и подумала: «Словно брат с сестрой похожи друг на друга Давид и Дедисимеди. Это Гиммерос, чудодейственный бог, делает влюбленных столь схожими».

Начальник слуг приказал зажечь в палате светильники. Мариам позвала его и шепнула что-то на ухо.

Через некоторое время подошел к царице управитель ее Цинцилак и положил у локтя своей госпожи что-то, завернутое в платок китайского шелка.

Мариам развернула шелк и достала ожерелье из алмазов, величиною каждый с соловьиное яйцо. Женщины не могли оторвать свои взоры от ожерелья.

— Эти алмазы купил в Индии у магараджи Хачатур — полководец Романа Диогена, — сказала Мариам и, надев ожерелье на Дедисимеди, добавила: — отныне пусть украшают они твою прекрасную шею.

Взяла девушку за подбородок, подняла ей голову и, когда увидела сверкавшие тридцати трех алмазов на шее и на груди Дедисимеди, оглядела ее еще раз и поцеловала в щеку.

Пирующие за отдельным столом старики пробовали только что поданное молодое вино; они были так увлечены застольной беседой, что никто, кроме эристава Липарита, не заметил, как царица Мариам надела ожерелье на шею Дедисимеди. Кладкарский эристав не удивил-

ся: еще раньше говорил ему монах Козман, что в дар Дедисимеди привезла царица Мариам ожерелье, подаренное ей домашником Андриоником.

Заметил он также, как вспыхнули щеки у Дедисимеди.

Григорий Бакуриани пригубил мячари и сказал:

— В Велиматове стоял я со своим войском, когда печенеги вторглись в Болгарию. Было время виноградного, сбора, сладкое сусло текло реками из давилен. Я приказал угнать скот из деревень, вывезти оттуда пшеницу, а сусло оставить. Голодные орды набросились на мячари, и вскоре тысячи из них пали жертвой бродящего вина.

— А какого они племени, эти печенеги, господин мой Григорий? — спросил Чкондидели. — Немало слышал я разного о них: иные говорят, что они — половцы, греки же называют их скифами.

— Действительно, господин мой Григорий, греки называют их скифами. Я же думаю, что они сельджуки — народы туркменского племени. Похожи они на вихрь. Внезапно налетают из степей и столь же мгновенно исчезают. Наказать их трудно, ибо нет у них ни дома, ни крова. Лазутчиком служит им ветер, крепостью — темная ночь, убежище их — крутые скалы, шатер и степь.

Стольники подали гостям орехи. Григорий Бакуриани взял у столика щипцы, расколос скорлупу и стал жевать сердцевину желтыми стариковскими зубами.

— А сколько их может быть, этих половцев и печенегов, господин Григорий? — спросил эристав Гуарам.

— Бесчисленное множество, так говорят, по крайней мере, люди ученые, путешественники по их землям, господин Гуарам. Много земель разорили они, но ни в одной не смогли утвердиться. «Полупланетами» называют их греки, потому что вечно скитаются они по степям вместе со всеми своими чадами и домочадцами.

— А какой веры, господин Григорий, эти кочевники? — спросил Чкондидели.

— Язычники они, поклоняются звездам.

— А что они едят? — спросила Тута, доводная супруга цхумского эристава.

— Хлеба они не знают вовсе. Варят просо и рис в конском молоке, едят мясо собак и кошек. Мясо кладут они под седло, покрывают потником, потом садятся на коня и пускают его вскачь. Когда мясо будет достаточно побито, рвут его зубами и ногтями. А лошади у них отменные.

Царь Давид безмолвно внимал рассказу Григория Бакуриани, когда же речь зашла о лошадях, повернулся к нему и внимательно прислушался к беседе.

— Есть ли цари или князья у этих неверных? — захотел узнать цхумский эристав.

— Никогда не было у них царей. Несколько ханов правят их улусами. Феофилакт, епископ болгарский, уверял меня, будто необычайным зрением обладают половцы — на расстояние целого дня пути достает их глаз. Кроме того, они баснословные стрелки из лука и еще более удивительные наездники, — прибавил Григорий Бакуриани и опять черными волосатыми руками ухватил щипцы для орехов, достал белую сердцевину и начал ее жевать.

Гости увлеклись беседою. Эриставу Гуараму и Георгию Чкондидели хотелось расспросить еще о половцах и печенегах, но вошел дворецкий, сообщил пирующим, что зазвонили к вечерне.

Как только Давид встал из-за стола, за которым сидел среди женщин, он отозвал Чкондидели в угол палаты и сказал ему:

— Как ты думаешь, не послать ли нам доверенных людей в половецкую землю, чтобы закупить там лошадей? Да и наемное войско наше поредело уже порядком. Если удастся взять на жалованье воинов, пригодятся они нам против сельджуков, не правда ли?

— Я сам хотел доложить тебе то же самое, государь, — сказал Чкондидели.

Царица Мариам подошла к ним и обратилась к Давиду:

— Ты должен итти непременно с нами к вечерне.

Давид, Ниания и Георгий Чкондидели собирались отправиться в Гегути. Сообщил главный смотритель табунов: привели лошадей из Осетии. Давно уже ждал прибытия этих лошадей Давид, ему не терпелось их увидеть.

— Поезжай послезавтра, — попросила Мариам; и Давид, склонившись перед желанием тетки, сказал Чкондидели:

— Что ж, господин Георгий, коли так, поедем в Гегути послезавтра.

20

## ТЫ ЕСИ ЛОЗА ИСТИННАЯ

«Введите меня в дом вина и восставьте надо мною любовь».

Вечерняя служба кончилась поздно. Когда императрица Мариам ввела в дворцовый сад своих гостей, уже темнели силуэты деревьев.

Куропалатисса Мелита подошла к Мариам и сказала ей:

— Пойдем в сад кутаисского архиепископа, августа, оттуда приятно глядеть на Рион лунною ночью.

Мариам подняла брови:

— Зачем же ходить по чужим садам, мало ли места в своем?

Пропустила вперед мужчин и женщин, сама же догнала Давида и Дедисимеди, взяла их за локти и сказала:

— Много счастливых минут провела я здесь в девичестве. Такой же точно сад разбила я в своих владениях, в окрестностях Христопола.

И, взглянув на гнувшееся под тяжестью плодов миндальное дерево, добавила:

— Только миндаль не принялся в моем саду. Гранатовые и фиговые деревья сначала сохли, пока не занялся ими садовник из Никейи. Он так хорошо окутал деревья, что, в конце концов, зацвели и смоковницы. Весьма нежное дерево — смоковница. Не всюду растет она в Византии.

Ниания и Хваша отстали от гостей. Ниания тряс грушевое дерево, ловил руками падающие плоды и предлагал их дочери эриставу Гуараму.

— Дедисимеди скучает, а виноват в этом ты, Давид, — сказала с улыбкою Мариам. Потом взглянула на гранатовые деревья, выстроившиеся вдоль стены замка: — Ничего лучше этого не увидит человеческий глаз на земле. Люблю их цветенье, но и осенью они хороши!

Все трое оглянулись. Словно россыпи рубинов, мерцали гранаты под запоздалыми лучами, проникшими сквозь густую листву.

Перепугались дрозды, взлетев, укрылись в палочке на стене крепостной ограды, подняли там немолчный гомон.

— А теперь мне нужно торопиться дорогие мои, — сказала Мариам, — Ката, вероятно, уже соскучилась без меня. Прогуляйся с Дедисимеди по саду, Давид. Скоро взойдет месяц. Мы будем ждать вас в туловой беседке.

Сказала это Мариам и догнала Ниания и Хвашу.

Давид и Дедисимеди медленно пошли по безмолвной аллее.

У девушки почти остановилось дыхание, когда она поняла, что осталась наедине с Давидом. Она посмотрела вдогонку Хваше, платье которой мелькало удаляясь, в листве алычи. Подступило ребячливое желание позвать Хвашу, крикнуть: «подожди меня!», но изменил голос, слова застряли в горле. Вместо этого Дедисимеди протянула руку к свесившейся над дорожкой ветке алычи, сорвала листок и стала мять его пальцами.

Опустив глаза, шла Дедисимеди рядом с Давидом, и казалось ей столь странным все это, словно не был он ее же

ланным, с которым не раз бегала она взапуски в кипарисово-убанском плодовом саду.

Когда кончилась алычевая аллея, показались на дорожке идущие под сивами куропапатисса Мелитта и Джоджикки, сын цхумского эристава. Потом и они исчезли среди листвы. Звонкий смех Мелитты доносился откуда-то издадалека.

Еще темнее стало в саду. На западе, между взметенными ветвями кипарисов и тополей, плавились золотом склон неба-свода.

У Давида от волнения пересохло во рту. Все приходившие ему на память слова казались бессмысленными и ненужными. Молча следовал он за девушкой и чувствовал: с каждым мгновением все короче становился путь, оставшийся до Леоннова дворца.

Знал он прекрасно: под стерегущим взором родных и домохозяев не легко будет ему улучшить случай еще раз остаться наедине с Дедисимеди. Ката следила за дочерью, не сводила с нее глаз, твердила одно: — ни за что не позволит она уединиться молодым до самого обручения.

Был благодарен Давид своей божественно-прекрасной тетке за то, что она оставила его с Дедисимеди в саду, а сама отправилась занимать ее мать.

«Разве мы уже не обручились алмазным ожерельем? Быть может, хоть теперь успокоится Ката» — подумал Давид, набрался смелости и сказал девушке:

— Сколько же еще времени мы будем молчать, словно поссорившись? Не довольно ль сердиться?

— Я никогда не обижалась на тебя, государь, — таков был ответ.

Государь? Не по душе было Давиду это обращение.

Они шли по незатененным дорожкам. Месяц уже поднялся высоко. Давид посмотрел на побледневшее лицо своей спутницы. Была ли эта бледность от волнения или просто от лунного света?

Когда подошли они к смоковнице, снова донесся до них серебристый смех Мелитты. Дедисимеди догадалась: еще не вошли во дворец молодые люди; в тутовой беседе ждут они ее с Давидом. Волнение овладело ею: как вдвоем, без третьего спутника, выйти к гостям?

Разгневанное лицо матери встало перед глазами Дедисимеди. Девушка ускорила шаги, заторопилась в ту сторону, откуда доносился смех Мелитты. Давид взял свою спутницу за руку выше локтя и повел направо, по дорожке, что вела к смоковнице. Темнели очертания лоз, обвивавшихся вокруг деревьев; словно черные драконы обхватывали они в полутьме их верхушки. Высеченными из

камня казались налитые соком виноградные гроздья.

По ту сторону крепостной ограды тускло сверкала стальной свиток Риона.

Время от времени слышалась перекличка стражей на башнях; наконец, безмолвие воцарилось в саду, лишь возился еж в сухой листве. Облачко затемнило луну.

В темноте оробела Дедисимеди. Приблизившись к своему спутнику, пошла рядом с ним и когда, споткнувшись в потемках, коснулась нечаянно его сильного плеча, было приятно ей почувствовать его близость.

Вот уже опять под густою тенью шли они по тропинкам фигового сада. Приблизившись сквозь листву лунный свет вспыхивал время от времени искрой в алмазном ожерелье Дедисимеди.

— Раньше мы не гуляли с тобой вот так, молча, не правда-ли? — спросил Давид.

— Раньше все было иначе, — почти прошептала Дедисимеди и сорвала тутовый листок.

— А теперь разве нам нечего сказать друг другу?

— Мне — нечего, кроме того, что я уже сказала.

— Зато мне нужно сказать очень много...

Дедисимеди взглянула на него, хотела спросить — «а что же?», но услышала шаги и умолкла. Какая-то рослая женщина, из челяди, показалась под смоковницами. Она несла, тяжело дыша от натуги, большой кувшин. Давид сошел с тропинки, чтобы не попадаться ей на глаза.

Женщина вперила взор в Дедисимеди, споткнулась о камень, но все же спасла кувшин с вином. А когда отошла немного, опять оглянулась на дочь эристава.

Стало еще темнее в фиговом саду. Выстроенные в ряд перед запертым погребом виноградные давилки были похожи в полутьме на туши великанов. Заметив робость Дедисимеди, царь притянул ее к себе, спросил:

— Чего же ты испугалась, назо<sup>1</sup>!

Вздрыгнула девушка, услышав давнишнее имя, которым звал ее еще в детстве царевич Давид.

— Я не испугалась, государь, только, признаюсь тебе, утомили меня любопытные взгляды в Кутаисском замке. Всякий считает своим долгом следить за мною. Когда я и Лела идем из дворца в церковь, окна теремов и верхушки башен полны соглядатаев. Видно, всем кажется удивительным мое пребывание здесь. Хотя бы скорее увезла меня мать отсюда!

— Куда же она увезет тебя, назо?

<sup>1</sup> Назо — нежная, любимая.

— Куда, как ни домой, в Липаритис-Убани? Нельзя же всю жизнь провести в гостях, государь!

— В этом дворце отныне ты не будешь гостьей.

— Не гнви бога, государь, у тебя — законная супруга, данная тебе судьбой.

— Ныне я — царь, и воле моей не может противиться никто! — с юношеской самоуверенностью сказала обычно сдержанный и скромный Давид.

— О, да, конечно, ты — царь, но от века сказано: и цари бессильны перед судьбой.

— Э, да будь я даже простолюдином, отныне никто уже не разлучит меня с тобой, — сказал Давид и обвил рукою стан взволнованной девушки.

В винопрядной беседке присели они на длинную скамью. Дедисимеди освободилась от объятия сильных царевых рук и опять сказала ему смело:

— Не гнви бога, государь, у тебя ведь есть законная супруга!

У Давида не повернулся язык сказать ей, что развод его уже решен; он ничего не ответил. Ответы лунных лучей играли в алмазах ожерелья, и этот мерцающий свет подобно нимбу окружал ее бледное лицо.

Тихая, словно горлянка, сидела Дедисимеди, пленительная, чарующая, как первородный грех.

Давид хотел попросить ее не называть его государем, но вместо этого сказал:

— Помнишь, назо, как сажал я тебя в Бечисихе под черешнявым деревом, а сам взбирался на него и кидал тебе в подол спелые ягоды?

«Счастливы были те времена, государь, когда в твоей близости всходило солнце...» — слова эти были готовы сорваться с уст Дедисимеди, но она удержала их и только улыбнулась в ответ.

С юношескою легкостью вскочила на ноги царь. Притнул к себе отягченную плодами ветвь, стал шарить рукою в листве, собирал подернутые росой ягоды и складывал их в подол дочери эристава.

Отведал и сам, но все же не мог утолить жажды.

Встал, прошел мимо часовни, внутри которой мерцала лампада. Подошел к винному погребу. Замок висел на дверях. Распаленный страстью, с пересохшим ртом, он вернулся к смоковницам, стал искать под ними устья зарытых сосудов. Нога его споткнулась о ком глины. Он схватил лежащий там же тычковый черпак, осторожно поднял крышку сосуда, ладонью снял пленку с поверхности вина.

Отраженный диск луны дрожал в огромном сосуде.

Давид наполнил черпак вином.

Когда царь подошел к часовне, заметила Дедисимеди: от часовни отделилась

черная фигура и, слегка качнувшись, перебежала дорожку к смоковницам.

«Померещилось» — подумала девушка, но шелест, поднявшийся в листве смоковниц, убедил ее, что это не был обман зрения.

Чуть было не вскрикнула дочь эристава, но тут вернулся к ней Давид, и неслышно исчезла неведомая тень.

Давид протянул Дедисимеди черпак, полный вина, просил:

— Попробуй хоть немного!

Удивилась Дедисимеди, сказала, что не пьет вина.

— Что испугало тебя? — ласково спросил Давид.

— Когда ты подошел к часовне, сюда пробралась какая-то черная фигура.

— Тебе, верно, показалось назо.

— Сначала я и сама так подумала. Но прошелестело в листве — и я убедилась: то был человек.

— Не бойся, это, наверно, кто-нибудь из челяди пришел тайком за вином, — ответил Давид.

Успокоилась девушка. Вспомнила служанку с кувшином, — она ведь тоже была в черном, и тоже была высокого роста. Быть может, отнесет домой один кувшин, вернулась прислужница за вторым.

Давид поднес ко рту обеими руками посудину и отпил из нее, как простолюдин.

Смеялся юный повелитель, пробуя блапоуханное вино без стеснительного присутствия чашнагира и виночерпиев. С детства внушал ему Чкондидели, науганный безмерным разгулом царя Георгия, чтобы остерегался хмеля Давид. — «Знай, когда вступишь на престол, откажись совсем от вина, — говорил он царевичу. — Кто сочтет, скольких мужественных царей и мудрых вазиров сгубило вино, ибо оно — источник всяческих искушений и соблазнов».

Лишь сегодня, во время пира, впервые нарушил Давид наказ своего воспитателя. И вот теперь он сидел подле избраницы своего сердца, пил по-крестьянски вино из черпака и радовался, как дитя, что отныне ему, царю, ничего уже нельзя запретить.

Рукою тронул он руку Дедисимеди и сказал с легким сердцем:

— Знаешь, назо, я часто мечтаю: быть бы мне простым крестьянином, иметь погреб в фиговом саду и маленький виноградник на зеленом склоне горы; трудиться в нем для тебя, для тебя растить и собирать урожай..

Улыбнулась Дедисимеди. Спросила:

— Только виноградник?

— Нет, я шучу, назо. — что мне виноградник? Ты сама лоза моя и виноградник мой, обильный плодами, сад моей радости.

Еще отпил вина, и хотя мал был соус, но хмель почему-то уже овладевал Давидом.

— Слова, что хотел я сказать тебе, тайно расцветали в моем сердце, как цветы лозы, ибо ты — вертоград мой замкнутый, источник опечатанный.

Узнала Дедисимеди слова, что слышала от Махары в Кадекари.

— Отныне я — господин лозы моей и виноградника моего, счастливый виноградарь.

Так сказал Давид девушке и поцеловал ее в щеку. При свете месяца лицо ее уже не светилось персиковым цветом, что с таким искусством выводят на белом фарфоре иранские мастера.

Сидела Дедисимеди и кротко улыбалась царю.

Давид поднялся, схватил черпак и скрылся в чаще фитовых деревьев.

Испугалась девушка — как бы не принес он опять вина. Когда же Давид вернулся с пустыми руками, Дедисимеди пожаловалась ему — опять привиделась ей черная женщина. Без сомнения, она была подослана кем-то следить за ними.

— Отныне ничем не могут повредить нам выслеживающие, — сказал Давид трепещущей Дедисимеди, поцеловал ее еще раз и прижал к груди.

Когда же вырвалась Дедисимеди из страстных объятий царя, почувствовала, что разорвалось алмазное ожерелье. Алмазы упали ей на колени, некоторые же рассыпались по земле.

Давид огорчился: стал на колени и подобрал драгоценные камни. Когда же они нанализали снова алмазы на нитку и сосчитали, их оказалось тридцать два вместо тридцати трех.

— Все алмазы мира не стоят твоей печали, — сказала девушка.

Услышав это, обрадовался Давид.

— Не понимаю только, государь, — спросила Дедисимеди, — почему именно тридцать три алмаза нанализаны были на этом ожерелье?

— В этом заключается особый смысл: Христос провёл на земле тридцать три года.

Замолчала дева. За горами блеснула зарница. Царь осторожно взял девушку за подбородок, привлек к себе ее лицо и долго пил благоуханное вино своего виноградника. Обуянные страстью, в

забытье, слышали они, как падали с яблонь на землю плоды.

Первою очнулась Дедисимеди, выскободилась из объятий царя. Притихнув, молча сидела она, устремив глаза в землю.

Ветер шевелил листьями смоковниц, узорчатые тени их копошились на земле, словно тысячи волосатых лап какого-то сказочного зверя. Казалось Дедисимеди, что это земля колеблется у нее под ногами. Небсвод прорезали частые зарницы.

Когда потускнел млечный путь и утихли звуки рогов крепостной стражи, Давид посмотрел на небо. Фиолетовые облака окружали луну. С горы Хомли доносился гул запоздалого грома. Сверкали зарницы, возникали на своде небес силуэты увеченных шеломами гор, потом снова — молчание и мрак среди смоковниц.

Снова жаловалась Дедисимеди: кто-то ходит поблизости в саду. Давид встал, взял за руку свою невесту и вышел неверными шагами из-под смоковниц, похожий на появившегося из рощи Бакха, веселого бога, которого древние греки считали также покровителем фигового дерева.

★

Уже накрапывал дождь, в листе смоковниц приятно шуршали капли.

Давид был без шапки, радовался прохладе дождя, освежившего ему лицо, и молча шел рядом со своею возлюбленной, желая, чтобы никогда не кончился этот путь. Они шли по саду, охваченному дремой; в темноте то и дело раздавался звук падающих с яблонь плодов. Ежи копошились в опавшей листве.

В тутовой беседке они не нашли никого.

Когда достигли лестницы дворца, Давид пропустил вперед Дедисимеди. Едва мерцали на стенах светильники, два постельничьих монаха храпели в дверях.

На последней ступеньке лестницы столкнулась девушка с одетым в лапы мужчиной, хотела повернуть назад, к Давиду, и вдруг услышала голос Рати:

— Где ты была так поздно, девчонка?

Давид догнал цевесту.

Узнав царя, смутился Рати и отступил в молчании.

(Продолжение следует.)



# САРАТОВСКИЙ ГАЗ

Очерк

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ

★

Неожиданно странную картину представляет Саратов в эту погожую великолепную осень. Синее высокое небо, пород над тихой Волгой, светлый, с чистыми улицами, свежесоборенными домами, — весь победно-праздничный. А многие и многие гулицы в нем перерыты, исковерканы глубокими, узкими траншеями, вдоль траншей лежат кучи выброшенной земли и по бровке траншей бесконечной ниткой тянутся металлические трубы метров по пятнадцати длины. Такие нарядные улицы, как Некрасовская и Мичуринская, совсем завалены землей и трубами и закрыты для проезда. Группы рабочих энергично, поспешно роют землю, сварщики ведут сварку труб звеньями по 3—4 трубы.

Работа кипит круглые сутки. По ночам над Саратовом и окрестностями точно зарницы играют, — ведется сварка труб. За Саратовом местность к югу и западу холмистая. Бесконечная траншея точно змея то поднимается на холмы, то спускается в долины. Протянувшись она на 45 км от деревень Елшанки и Курдюма. От этой основной траншеи во многих местах идут ответвления — боковые траншеи к заводам, фабрикам, хлебозаводам, баням, прачечным, крупным жилым домам.

Везде на улицах города, на полях и огородах виднеются голубые ящики на колесах — электросварочные машины «Линкольн». Вдоль траншей там и здесь лежат баллоны с кислородом. В полях стоят десятки больших брезентовых палаток, перед которыми на открытом воздухе столы и свагми. Это лагеря для строительных рабочих. Огромные грузовики с прицепами громыхая везут длинные металлические трубы и раскладывают их вдоль траншей.

Картина небывалого, грандиозного строительства!

Саратов переживает исторические дни: его промышленность, его транспорт и весь

его быт перестраиваются, переводятся на новый вид топлива — газ.

Под самым городом, всего лишь в 15 км от него, на полях селений Елшанки и Курдюма геологи открыли огромное месторождение горючего газа. По их приблизительным подсчетам запасы газа в недрах саратовской земли равны многим десяткам миллиардов кубометров и хватит их на десятки лет при самой энергичной эксплуатации. По своей мощности это месторождение — одно из самых крупных в мире.

Газ этот — метан, болотный газ. Химическая формула его  $\text{CH}_4$ . Он — родоначальник всех алифатических соединений и является продуктом биологического превращения дерева в угли и животных продуктов в нефть. Чаще всего этот газ встречается именно в области месторождения каменных углей и нефти.

Века жил Саратов, не подозревая, что неиссякаемые источники почти даровой энергии находятся у него под боком. В прошлом лишь однажды был намек на этот драгоценный клад. Лет 80 назад один крестьянин деревни Елшанки пошел ночью с фонарем в погреб. Вдруг в погребе раздался взрыв. Крестьянин был обожжен и ранен, а погреб разрушен. Среди елшанцев пошла легенда: в погребе жил нечистый дух, который и обрушил свою злобу на крестьянина. Никто из людей науки не заинтересовался этим случаем, не дал подлинного разъяснения.

По-настоящему газ был открыт впервые в саратовской земле в 1906 году на левом берегу Волги близ с. Дергачи. Там на хуторе вольского купца Мельникова рыли артезианский колодезь. Вдруг из земли «подул сильный ветер», пошел газ. Один из рабочих хотел закурить возле колодца. Газ вспыхнул. Высокий огненный столб поднялся над хутором. Газ горел без дыма и копоти, — и вообще он не имеет ни цвета, ни запаха, и лишь очень сильные

струи его принимают голубоватую окраску. С большим трудом тогда пожар был потушен, колодец закрыт. Сың купца — студент рижского политехникума — отъез в банках этот газ в Ригу, где и был произведен анализ. Так было установлено, что саратовская земля хранит в своих недрах горючий газ метан очень высокой калорийности. Предприимчивый купец тогда же построил на хуторе стекольный завод, который и работал некоторое время на этом бесплатном топливе — метане.

Газ указывал на присутствие в земле нефти. Действительно, недалеко от Дергачей, в Сломихинской впадине на реке Узе не в 1913 году впервые были обнаружены выходы жидкой нефти. Тогда же академиком А. П. Павловым были найдены в районе села Тепловки, уже на правом берегу Волги, в 50 км от Саратова каменноугольные известняки. Однако до 1917 года никаких мер к исследованию, а тем более к добыче газа и нефти не принималось, если не считать стекольного завода на хуторе Мельникова. Лишь после революции в саратовском Поволжье начинают научно обоснованные и серьезно поставленные геологические исследования. Между прочим, было обнаружено, что на хуторе Мельникова из скважины вместе с дешевым газом метаном выходит драгоценный газ гелий.

Большую роль в деле развития поисков нефти в Нижнем Поволжье сыграл академик Губкин. Он впервые указал, что здесь должны быть мощные источники нефти.

С 1932 года под руководством геолога проф. Можаровского начинаются разведывательные работы под Саратовом. В 1935 году молодая девушка геолог Котова нашла близ села Тепловки признаки нефти в известняках (битумность известняков), а через несколько времени она же обнаружила в воде источников Соляного оврага близ деревни Ириновки присутствие брома и калия. В 1940 году близ Ириновки была обнаружена и нефть. Наконец геологи указали на целый ряд мест уже под самым Саратовом, где должна быть нефть. В 1941 году на полях деревни Елшанки было начато креплиусное (разведочное) бурение на нефть. В сентябре из скважины ударил газовый фонтан, дававший около 700,000 кубометров в сутки метана.

Так был обнаружен мощный источник энергии под боком Саратова.

Война помешала немедленному использованию газа. Скважина была законсервирована, поиски геологов почти прекращены. Враг наступал внутрь нашей страны. Красная Армия с боями отходила к Волге.

В конце августа 1942 года на укреплен-

ях Сталинграда грянули первые выстрелы. Саратов стал ближайшим тылом боевого фронта. Вся его промышленность работала на нужды войны. По железным дорогам через Саратов шли к фронту бесчисленные эшелоны с войсками и снаряжением. По Волге плыли к Сталинграду пароходы и баржи с военными грузами. По ночам немецкие самолеты начали бомбить заводы и фабрики Саратова.

Если Сталинград «стоял насмерть» в борьбе с ненавистным врагом, то и Саратов работал по-боевому, чтобы дать фронту как можно больше продукции. Заводы, фабрики, хлебопекарни работали круглые сутки. Фронт требовал самолетов, танков, печеного хлеба. И вот в эти огненные часы предельного напряжения обнаружилось, что в Саратове иссякает топливо. Саратовская ГРЭС и Саратовская ТЭЦ работали сначала на донецком угле, потом на карагандинском. Ряд других предприятий работал на нефти и дровах. Бой под Сталинградом сразу превали подвоз и угля, и нефти, и дров. Железные дороги были заняты военными эшелонами, а Волга перерезана у Сталинграда. Саратовские заводы и фабрики постепенно стали сокращать работу, а вскоре некоторые остановились совсем.

И в этот очень трудный час — на зло врагам! — вспомнили о елшанском газовом фонтане.

5 сентября 1942 года Совнарком СССР вынес решение немедленно приступить к постройке газопровода Елшанка—Саратов, чтобы дать газ в топку Саратовской ГРЭС.

Строительство было поручено Наркомстрою СССР. Все делалось в экстренном, боевом порядке. Срок окончания строительства был назначен самый жесткий: 1 ноября того же года! То-есть, почти за полтора месяца должна быть выполнена труднейшая работа.

А бой под Сталинградом в эти дни разгорался всё с новой и новой силой. Через Саратов бесконечным потоком лились в Заволжье войска, чтобы оттуда ударить по врагу под Сталинградом. Саратов лихорадочно готовился к отпору, к боям... На площадях шло обучение призывников и ополчения, за городом рылись противотанковые рвы и окопы, строились отневные точки. И вот в этих боевых условиях началось строительство газопровода. «Или газ будет дан в топку Саратовской ГРЭС, или промышленность Саратова умрет, а город замерзнет!»

Казалось, работники Наркомстроя застигнуты врасплох: у них не было ни оборудования, ни материалов, ни транспорта, ни достаточного количества опытных рабочих. Главное же, что особенно затрудняло строительство, — не было труб для газопровода. Труб нуж-

но было только 17 км. В мирных условиях это немного. Но в условиях фронта... где их взять? Подвоз из тыла невозможен, — дороги заняты войсками... А строители должны были не только отыскать эти трубы на месте, но еще изготовить и все части газопровода — фланцы, дриппы, ковера, отводы, фасонные части. Положение было исключительно трудное...

Трубы решено было взять на местных заводах, разобрав нефтяные, бензиновые и керосиновые трубопроводы.

Инженеры Наркомстроя тт. Кормер, Свиридов, Лавров, Некрасов, Романов, Филимонов и другие день и ночь находились на строительстве, непосредственно руководя работами. Кадровые строители — монтажники, сварщики, слесаря, плотники, каменщики и другие рабочие строительной колонны работали так, что выполняли по 2—3 нормы за смену.

На помощь наркомстроевцам были призваны работники наркомата авиационной промышленности. Им было поручено строительство полевой части трассы от деревни Елшанки до черты города. Большая группа саратовских коммунистов и комсомольцев объявила себя мобилизованной на время строительства.

Труднее всего приходилось монтажникам. Большинство труб на заводах были зарыты глубоко в землю. Их нужно было откапывать, разрезать на части с помощью автогена, вытаскивать на поверхность. Когда-то по этим трубам шел бензин, керосин. Остатки их находились в трубах. При огневой резке в трубах мог случиться взрыв. Тогда инженеры Свиридов и Романов нашли выход: на месте разрезки трубы продавливалось небольшое отверстие, через него в трубу плотно набивали глину справа и слева от отверстия, чтобы таким способом прекратить приток паров бензина... И уже после этого разрезка трубы огнем становилась безопасной. Вообще инженеры, техники и рабочие внесли на ходу много остроумных предложений, ускоряющих и облегчающих работу. Большой частью монтажники вели работу на территории тех заводов, на которые немцы делали налеты.

Работа была очень трудоемкая. По призыву Обкома ВКП(б) и Облисполкома на рытье траншеи выходили по субботам и воскресеньям сотни и тысячи рабочих и служащих, ученики школ и студенты вузов, красноармейцы и командиры. Трассу строил весь Саратов, строил по-боевому, с необыкновенным подъемом. Приходилось преодолевать массу трудностей. Главное, не было точного проекта. Иногда прямо на ходу изменялось направление трассы. Особенно трудна была работа в черте города, где рабочие постоянно наталкивались на трубы водопровода и канализации, на кабели телеграфа и телефона, на пути трам-

вая. Большое препятствие создало строителям полотно железной дороги. Нужно было так провести трассу, чтобы ни на один час не прервать железнодорожного движения, столь важного в эти боевые сталинградские дни.

А тут еще осень, дожди, холода. Дожди и высокие грунтовые воды заливали траншею, работать иногда приходилось по пояс в воде и в грязи... Это была поистине героическая работа!

И строители победили: 28 октября в траншею были уложены последние трубы. 29-го была произведен пробный пуск газа в котельную Саратовской ГРЭС, а 30-го октября один котел СарГРЭС'а был переведен на местное топливо — на газ метала.

А через несколько дней был переведен на газ второй котел, потом третий. И точно по волшебству саратовская промышленность стала оживать. На фронт пошло удвоенное и утроенное количество самолетов, танков, боеприпасов. Однако энергии нехватало. В ноябре, после сдачи работ первой очереди, работники Наркомстроя получили новое задание: в самые сжатые сроки дать газ на Саратовскую ТЭЦ.

Эта новая работа была, пожалуй, еще более трудной.

Наступила зима с небывало лютыми морозами. Твердый, как камень, смерзшийся грунт приходилось отогревать, прежде чем брать его ломом и лопатой. Дымные костры горели на улицах по всему протяжению новой трассы длиной в 5,5 км. Особенно туго приходилось сварщикам. Они работали без тепляков, даже без жаровень. Кислород и ацетилен замерзали. Ветер и снег слепили глаза... И опять-таки главная трудность — нехватало труб. Теперь их приходилось добывать из соседних городов и сел — из Вольска, Нижней Черныавки.

Эта работа тоже была выполнена к сроку: 1-го февраля 1943 года газ был подан в топку Саратовской ТЭЦ!

Вслед за тем газ был дан на хлебозавод № 3, потом на мельницу, на хлебозаводы № 1 и № 2, в бани, в прачечные.

Стало совершенно ясно: газ может быть основным источником энергии для всего Саратова и для всей его промышленности.

Весь 1943 год в районе Елшанки и соседнего селения Курдюма шли буровые работы на новых скважинах. Опытные мастера и бурильщики были вызваны из Баку и Грозного. Один за другим открывались новые источники газа. Именно в это время, в условиях войны, была проделана работа, для которой обычно у нас требовалось несколько лет... В 1944 году работы развернулись еще шире. Всего было заложено 33 скважины, причем некоторые скважины в самом Саратове у Соколовой горы. Кроме Елшанки, Курдюма в Саратове, разведка и бурение ведется те

перь в Песчаном Умете, в Тепловке, Ириновке.

... Мы объезжаем трассу от Крекинг-завода до Курдюма. Траншея в 45 км длины уже почти готова. Ясная, сухая осень очень способствует работам. Строители спешат окончить земляные работы и укладку труб в траншею до морозов. Кое-где на трассе работают канавокопатели, а большую часть работы ведутся вручную, лопатами. Тысячи рабочих распределены небольшими группами на всем этом протяжении — в полях, огородах, на улицах города и пригородах. И уже почти по всей трассе лежат новые металлические трубы.

От Саратова мы едем по Аткарскому шоссе к Елшанке. Елшанские поля и огороды раскинулись на склонах невысоких холмов. Сама деревня расположена в долине над небольшой речкой того же названия. Речка впадает в реку Большой Курдюм — приток Волги. В двух километрах от деревни Елшанки находится разезд Трофимовский Ряз.-Уральской ж. д. Пейзаж кругом самый сельский, и несколько странно видеть буровые вышки и новые небольшие здания с высокими трубами среди этих полей и огородов. С самого своего зарождения Елшанка поставляла в Саратов овощи, ягоды, зерно. Ныне она начинает поставлять неисчислимое количество энергии. Колхозники стали рабочими на газовых источниках.

Мы подъезжаем к большому новому двухэтажному дому, выстроенному на краю деревни. Здесь помещается контора елшанского строительства, а также общежитие рабочих и столовая. Дом интересен тем, что в нем газ впервые использован и для освещения и для отопления. С потолка каждой комнаты спускаются трехрожковые «люстры», — три тоненькие трубочки соединены с трубкой потолка, протянутой по стене. В этой трубке устроен кран. Вы открываете кран, поднесите спичку к «люстре», — и три язычка пламени ярко освещают комнату. Все печи в доме отапливаются газом. К их устью проведены трубки с кранами. Зажженный газ горит в печи с сердитым гулом, — так мощно вырывается он из трубки. Пламя бьет на два метра — во всю длину топки. Ровное и сильное тепло распространяется в комнате... Рабочий-истопник, бывший елшанский колхозник, смеясь говорит:

— А мы бывало топили соломой да кивьяками. Принесешь пять больших охапок соломы, а тепла тут...

От конторы мы едем к скважине № 12, подающей газ на Саратовскую ГРЭС. В долине над речкой стоят три просторные будки самого примитивного устройства. Над ними — две высокие трубы вроде фабричных. Трубы не дымят, стоят будто мертвые. От средней будки тянется мощная труба — газопровод. В газо-

проводе недалеко от будки устроено небольшое приспособление — дришп, — ж от него в сторону тянется трубка, конец которой опущен в железный бак. Из трубки толчками вырывается жидкость молочного цвета. В баке жидкость отстаивается, становится прозрачной. Наш шофер, улыбаясь, взял ведро, подошел к баку: «Надо пополнить горючее!» Он зачерпнул жидкость из бака, заправил машину. Что такое? Бензин? Да, бензин. Из трубки в бак вытекает вода и бензин. Вода, как более тяжелая, отстаиваясь, опускается на дно бака, а бензин располагается сверху. Сквозь совершенно прозрачный слой бензина видна золотистая поверхность воды. Вода из бака вытекает прямо на землю по трубочке, сделанной возле дна, а бензин девушка вычерпывает ведром и сливает его в цистерну, стоящую тут же. И какой бензин! Самый чистый, — чище авиационного. Налитый на ладонь, он улетучивается в одну минуту. Это почти чудо: из земли вытекает бензин самого высокого качества...

Наш спутник, главный инженер геолого-разведочного треста Р. Ф. Хонякиев разъясняет это «чудо». Метан, вырывающийся из земли, несет с собой пары воды и бензина. Прежде чем пустить газ в газопровод, его сушат в особых сепараторах, освобождают от влаги. В сепараторах и в самом газопроводе пары постепенно превращаются в жидкость, которая с помощью дришпов выводится наружу. Сначала жидкость прямо выпускалась в почву, потому что строители полагали — это просто вода. Но рабочие скоро заметили, что от «воды» пахнет бензином. Они стали заправлять «водой» зажигалки. «Вода» отлично горела. Бутылки с такой «водой» были отправлены в саратовскую лабораторию геолого-разведочного треста. Там произвели анализ. И сначала не поверили: вероятно, бутылки были из-под хорошего бензина? Сотрудники лаборатории приехали на скважину № 12 и сами взяли пробу. Так был обнаружен чистейший бензин, идущий прямо из земли. В недрах земли находится чудесная лаборатория, поставляющая такой ценный продукт.

Теперь на газопроводе устроены дришпы через каждые полкилометра, — они не только освобождают газ от влаги, но и ловят бензин.

Мы входим в среднюю будку. Она построена как раз над устьем скважины. Газ вырывается из земли под давлением 54 атмосфер и поступает в массивную трубу, лежащую на земле горизонтально («лежак»). Из этой трубы он поступает в две вертикальные трубы высотой метра в три, а из них уже по одной трубе меньшего диаметра идет в газопровод. Всё это сооружение — сепаратор — служит для того, чтобы освободить газ от влаги и понизить давление газа до 12 атмосфер. Вы-

водная труба сепаратора покрыта толстым слоем льда, хотя двери кругом открыты настежь, а на дворе тепло. Оледенение трубы вызвано понижением давления газа с 54 атмосфер до 12-ти. Под этим давлением в 12 атмосфер газ идет в Саратов.

Чтобы лучше освободить газ от влаги, его подогревают в выводной трубе. В стороне от главной будки устроена примитивная печь с тремя форсунками. Газ, взятый из этой же скважины, нагревается в печи груды кирпичей до 1,300 градусов; раскаленный воздух из печи поступает в трубу большого диаметра, обтекающую газовую выводную трубу, и нагревает ее.

Подогретый газ легче освобождается от влаги. Мертвые трубы, поднимающиеся над будками, исправно выполняют свое назначение: создают сильную тягу в подогревательной печи.

Кстати о трубах, — на заводах, где будет применяться газ, трубы всегда будут иметь мертвый вид: клубы дыма исчезнут навсегда. Сейчас, например, трубы Саратовской ГРЭС не дымят. Бывало, подъезжая к Саратову, за десяток километров видишь тучи дыма над ГРЭС. Ныне ни малейшего дыма...

От скважины № 12 мы едем к скважине № 24 — одной из самых мощных в Елшанском районе. Работы на ней закончены только 9 сентября. В этот день с глубины 860 метров ударил фонтан газа исключительной силы — свыше двух с половиной миллионов кубометров в сутки. Газ шел под давлением 84 атмосфер. Едва буровые долота пробрили последний крепкий слой, газ стал вырываться с невероятным напором. Он выбросил из скважины бурильные инструменты, часть труб, целую тучу грязи и камней. Бледно-голубым фонтаном он ударил в воздух на высоту в 60 метров. Он так ревел, что его рев был слышен за шесть километров. Говорить вблизи вышки было невозможно: рев газа покрывал все звуки. Бурильщики должны были затыкать и повязками закрыть уши... Сейчас чудовищная его сила усмирена: газ заключен в надежные, очень крепкие трубы. Геологи-разведчики и бурильщики сделали свое дело: разведали и пробурили скважину, заключили газ в трубы и сдали его строительным организациям. В ближайшее время строители подведут к скважине газопровод, и газ покорно пойдет в работу на саратовские заводы и фабрики. А пока все возле скважины указывает, что здесь произведена большая работа по бурению. Кучи земли, камней, разноцветных глин и песков лежат кругом. Над самой скважиной еще стоит бурильная машина «Франкс» с помощью которой скважина пробурена в сравнительно короткий срок — пять месяцев. Машина похожа на опромный автомобиль, в кузове которого помещаются моторы,

дающие движение бурильным инструментам. Сзади машины-автомобиля прикреплена легкая буровая вышка. Машина вместе с вышкой весит 36 тонн и может самостоятельно передвигаться от одной скважины к другой.

С другой стороны скважины лежат целые штабеля бурильных труб и долот — «рыбий хвост», колонковых, сплошных. Их много — несколько сот. Вся трава и кустарник с этой стороны вышки пожелтели, увяли на протяжении 70—80 метров, будто сожженные. Туда хлестал газ, пока его закладывали в трубы, и успел растительность. Сейчас из скважины поднимается массивная труба высотой метра в полтора, закрытая конфоркой.

Рабочие быстро убирают бурильный инструмент и трубы, грузят их на автомобили, увозят на другие скважины. Завтра-послезавтра и бурильная машина «Франкс» самоходом уйдет отсюда бурить другую скважину.

На месте останется только эта массивная труба да кучи выброшенной породы, пока не придут строители...

Товарищ Хонякин полагает, что эта скважина будет давать, кроме газа, чистейший бензин, как дает скважина № 12, но только в гораздо большем количестве.

— Эта скважина нам далась сравнительно легко, — сказал между прочим он, — Мастер Костенко и бригады опытных бурильщиков Колядашева, Могомедова, Бабаева и Александра Кучерявенко относительно легко справились с газом в тот момент, когда он вырвался из недр. Первые скважины нам давались гораздо труднее. С газом одной скважины мы воевали сорок суток, прежде чем заключили его в трубы. Особенно трудно нам досталась скважина № 15...

Товарищ Хонякин и начальник елшанской нефтеразведки инженер Сатаров рассказывают, как трудно было справиться с газом на этой знаменитой скважине.

Газ там ударил с такой силой, что бурильные инструменты вместе с трубами взлетели в воздух и со страшным грохотом упали вокруг скважины. Фонтан земли и камней ударил в вышку. Газ ревел оглушительно. Камни, вырываясь из скважины, ударялись в вышку, высекали искры. Чтобы остановить напор газа, бурильщики начали накачивать в скважину глинистый раствор через боковую скважину. Возле ее устья образовалась пробка. Тогда газ пошел через землю в стороны. Кругом скважины на расстоянии 15—20 метров из земли пошла вода, затем начали бить фонтаны грязи. Образовалось множество ям, некоторые в 7 метров глубины. Точно десятый гейзеров было вокруг скважины, — такова была сила газа. Все это случилось зимой в большие морозы. Брызги воды замерзали на лету, па-

дали на землю ледяной крупой. Вокруг скважины выросла гора льда. Скважина скрылась в ледяном троте, из которого газ продолжал вырываться, как из жерла пушки... На борьбу с бушующей стихией были мобилизованы рабочие и инженеры Нижне-Волжского геолого-разведочного треста и рабочие ближайших разведок. В стороне от скважины рабочие вырыли большой котлован, в котором приготовили раствор из песка, камня и цемента. Этим раствором начали заделывать ямки в земле, из которых бил газ. Вокруг образовалась плотная крыша. После этого рабочие заделали и основную скважину. Газ был усмирен. Теперь нужно было заключить его в трубы. Работа предстояла очень трудная и очень опасная. Все инженеры треста и Елшанской разведки принимали участие в разработке плана, как справиться с газом. Нужно было спустить обсадные трубы на глубину, 290 метров до плотных известняков, затем накачать туда раствор цемента, чтобы законопатить боковые трещины основной скважины. Инженер Никольский разработал схему особого прибора — паккера, с помощью которого можно было спустить цемент в скважину на любую глубину. Прибор был изобретен на одном из саратовских заводов. Однако, когда попытались опять спустить фонтанную арматуру и паккер в скважину, газ со страшной силой отбросил их в сторону. Двое суток машинисты и механики пытались усмирить газ и привинтить арматуру. Наконец им удалось накрыть скважину. Газ опять бросился в стороны. Он сшибал людей с ног, не подпускал близко, ослеплял, перехватывал дыхание. С громадным трудом удалось в конце концов спустить трубы в скважину, накачать цемент, законопатить боковые щели, — и газ был побежден, заключен в трубы. На эту работу потребовалось около четырех месяцев.

Это — яркий пример, какие трудности приходится преодолевать геолого-разведчикам и бурильщикам на новых газовых промыслах. Каждый опыт, каждую удачу и неудачу теперь тщательно изучают и учитывают при бурении. Теперь скважины даются уже относительно легко. Последняя скважина, № 32, вскрытая 5-го октября этого года, была «усмирена» в четыре дня. Фонтан газа мощностью тоже в два с половиной кубометра в сутки бил из нее уже под давлением 85 атмосфер. Газ еще не успел выбросить полностью глинистый раствор, с помощью которого производится бурение, как бурильщики уже закрыли задвижку. Постепенно вытесняя глинистый раствор, они могли бы легко потом овладеть газом. К сожалению, в задвижке оказался зазор. Газ вынулся через зазор. Он бил с такой силой, что начал разрывать металл. Зазор расширился,

С оглушительным ревом газ вырвался наружу. Люди бросались на борьбу со стихией. Надо было снять старую задвижку и поставить новую. Газ обрасывал людей прочь. Их приходилось привязывать канатами... Два дня потребовалось, чтобы снять старую задвижку, и два дня, чтобы поставить новую. В конце концов газ был полностью введен в трубы.

...Мы переезжаем от скважины к скважине. Среди бесконечного поля под Курдюмом, возле деревни Сторожихи, из земли поднимается труба метра в два вышиной. Она закрыта задвижкой, в боку крана. Вокруг трубы кучи лиловой и серой глины и песка. Это — скважина № 1 — родоначальница всех елшанских и курдюмских скважин. Мы подходим к трубе. Возле крана в трубе — маленькая щель, через которую вырывается струя газа со свистом и шипением. Мы подставляем лицо и руку под струю. Газ бьет с такой силой, будто кожу трет колцевая материя.

Скважина № 1 пока законсервирована. Она может давать больше миллиона кубометров сухого газа в сутки с глубины 520 метров под давлением 54 атмосфер. Этот миллион пока в резерве. И вообще из девяти уже готовых скважин в эксплуатации находятся только две самые маленькие по дебиту. И эти две с избытком удовлетворяют потребности саратовских электростанций, хлебозаводов, бань и прачечных. Остальные семь скважин ждут своей очереди. Из них только две — № 24 и № 32 — дают свыше пяти миллионов кубометров метана в сутки.

Вот скважина № 7. Она дает и газ, и воду. Возле этой скважины устроен соляной завод. — примитивное здание, похожее на большой сарай. В двух стенах сарая — большие пролеты, из которых густо валит белый пар. Над сараем поднимаются две высокие металлолитические трубы. Мы входим в завод. Густой пар переполняет все помещение. Ничего не видно даже на расстоянии протянутой руки. Только слышно бульканье и шипение кипящей воды. Потому подул ветер, пар заколебался, клубами вырвался вон. Стало видно: в полу два больших водоема — скворороды в 5 метров длины и в 3 метра ширины. Вода, идущая из скважины № 7, по трубе поступает на первую скворороду. Под скворородой горит газ, идущий из той же скважины. Вода на скворороде кипит, испаряется. Образуется густой соляной раствор. Раствор через фильтр поступает на вторую скворороду, под которой горит тот же газ. Раствор перенасыщается, кристаллы соли выпадают на дно. Двое рабочих широкими деревянными лопатами выгребают соль со скворороды и ссыпают ее на чистый пол. Мокрая соль лежит высокой пирамидой. Тут же она высушивается — мельчайшая, чистейшая — и уже высушенная грузится на

машины и увозится в Саратов. Пока завод дает только три тонны такой соли в сутки. Он был построен в виде опыта. Опыт удался блестяще. Каждый кубометр воды дает 70 килограммов соли. А воды из скважины выливается целая река. Ныне завод расширяется. Он будет оборудован новейшими солеварницами. В новой половине завода уже установлены трубы очень большого диаметра, — в них будет выпариваться рассол. Ежедневно завод будет давать до 15 тонн соли. Старинный русский солеварный промысел из Балахны и Солявчегодска ныне перенесен в Саратовскую область, — только вместо дров соль выпаривается дешевым газом. На заводе работают только трое рабочих, — так экономичен весь процесс варки.

Достоин удивления, как щедро саратовская земля! Газ, соль... Но это еще далеко не всё. У Курдюма, в долине над речкой, заросшей камышом, мы подъезжаем к буровой вышке над скважиной № 2. Бурильный мастер встречает инженера Хонякина с некоторой торжественностью: — Поздравляю вас! Выход нефти увеличивается с каждым часом.

Так вот она, скважина-именинница, первая в Саратовской области дающая чистую, легкую нефть!

Трубы, долота, желонки, разбросанные вокруг скважины, — все измазаны нефтью. Запах нефти стоит над всей местностью. На глинистом растворе, с помощью которого велось бурение скважины, виднеются нефтяные пятна. Тоненькими жилами нефть стекает от скважины в заросли травы. Нефть сейчас тартают, добывают ее из скважины с помощью желонки — особых труб с доньшком, открывающимся при погружении трубы в нефть и закрывающимся, когда труба наполнилась нефтью. Нефть — самого высокого качества. В ней 50 процентов бензина и керосина. В Саратовской области несколько раньше были открыты два источника нефти — в селе Тепловке и в деревне Ириновке. Но та нефть тяжелая, с небольшим количеством бензина. А эта — качества исключительно высокого.

Скважина сейчас прорыта на глубину 840 метров. Нефть стоит в ней столбом в 48 метров.

Такую же первоклассную нефть стали добывать из скважины № 4 в самом городе Саратове у Соколовой горы. Эта скважина дает в сутки пока полтонны нефти.

Предположение геологов, что Саратовская область богата нефтью, оправдалось блестяще. Нефть найдена в четырех местах, удаленных одно от другого на значительное расстояние. Теперь задача геологов-нефтегазовиков найти такие места-коллекторы, где нефть собирается в больших количествах. Разведывательные

работы сейчас сильно расширены. Закладываются новые и новые скважины в Песчаном Умете, в Курдюме и на берегу Волги в районе Соколовой горы. У геологов полная уверенность, что богатые источники будут найдены в ближайшие месяцы.

Итак, газ, соль, нефть... Количество богатств саратовской земли увеличивается с каждым днем.

Возвращаясь из Курдюма, мы опять проезжаем елпанскими полями и останавливаемся у скважины № 6. Эта скважина дает не газ и не нефть, а воду. Из ее выводящей трубы вода бьет мочуватой струей. Больше миллиона литров в сутки. И какой воды! Старший геохимик геологоразведочного треста товарищ Фейгельсов произвел тщательный анализ этой воды. Он говорит, что вода типа эссенбургской. Большие желудочно-кишечными болезнями теперь приезжают сюда и пьют воду прямо из скважины.

Вода совершенно прозрачна, приятна на вкус.

Сейчас в районе Саратова открыто два мощных источника целебных вод. Один вот этот, а другой в самом Саратове, на берегу Волги у подножия Соколовой горы. Сумма разных солей в этих источниках достигает 15 процентов. Тут и поваренная соль и бром, и калий, иод, бор. Каждый кубометр воды дает 70 килограммов соли. Каждый литр содержит 300 миллиграммов брома и 30 миллиграммов иода. Дебит воды этих двух скважин чрезвычайно велик. Только один источник у Соколовой горы дает несколько миллионов литров в сутки. Точно река льется из земли под давлением тридцати атмосфер. Если свободно пустить эту воду, она будет бить фонтаном до 40 метров в высоту. Воды почти не используются. Только в последнее время Наркомздрав заинтересовался ими и проектирует построить лечебницы, где вода будет использована и в ваннах, и как питьевая. Пятигорск, Эссендуки и Мацеста будут в Саратове и под Саратовом. Ревматизм, сердечные заболевания, нервную систему можно будет излечивать источником Соколовой горы. И что особенно важно в наши дни, — вода Соколовой горы хорошо излечивает последствия огнестрельных ран. Уже сейчас в саратовские госпитали перевозят в бочках эту воду для ванн.

Такой еще новый дар щедрой саратовской земли.

... Мы возвращаемся в Саратов. По сторонам шоссе широко раскинулись корпуса новых промышленных предприятий, возникших в годы Великой Отечественной войны. Наш спутник инженер Саратов говорит, что эти предприятия теперь работают на полную мощь, пользуясь га-

зом как основным источником энергии. Нам навстречу идет из города множество автомашин. Саратов указывает на отдельные машины:

— Вот эта идет на газу, И эта на газу. Таких машин довольно много. Вместо дорогого бензина они работают на дешевом газе. В разных местах Саратова устроены колонки, где автомашины берут сжатый газ в свои баллоны... И характерно, что автомобилями, работающие на газе, проходят без ремонта путь в три раза больше, чем машины, работающие на бензине.

Трест «Саратовгаз» организовал самый широкий отпуск сжатого газа всем организациям и предприятиям, желающим перевести свой автотранспорт с бензина на газ.

Вообще газ властно и быстро входит в жизнь Саратова. Уже 250 различных государственных, городских, общественных и кооперативных учреждений переводят свои предприятия на газ, основной источник энергии. Подвоз топлива извне по железным дорогам и по Волге будет сокращаться с каждым месяцем.

Газ открывает перед Саратовской областью блестящее будущее. Неисчерпаемые запасы его дают возможность широко развить промышленность. Помимо топлива, газ может быть использован как материал для изделий. Из метана — газа органического происхождения — можно

изготавливать несколько тысяч различных предметов, начиная от калош и чутовicz и кончая самыми дорогими лекарствами. Проектируется постройка огромного стекольного завода — первого по величине в нашей стране. Помимо тепловой энергии завод будет иметь на месте и сырье — песок. Проектируется также постройка тузовых заводов.

В самое последнее время начал осуществляться проект снабжения саратовским газом Москвы.

Саратовский газ по калорийности в два с половиной раза выше того газа, которым сейчас пользуется Москва. Только одна елшанская скважина средней мощности может полностью обеспечить Москву газом, если даже он будет дан во все московские квартиры.

— Москва будет нашим потребителем, — сказал нам главный геолог геолого-разведочного треста В. П. Куцев.

По пути Саратов—Москва газ будет дав Тамбову, Мичуринску, Рязани.

Опыт подачи газа на большие расстояния уже имеется. В Америке газ подается из Калифорнии в район Нью-Йорка через весь континент. Там на трассе газопровода в совершенно пустынных местах возникли заводы, фабрики, поселения, небольшие города.

Саратовский газ тоже сможет дать новую жизнь целым районам.



# ОБСЕРВАТОРИЯ НУР-и-ДЕШТ

*Из цикла рассказов о необыкновенном*

**И. ЕФРЕМОВ**

★

В тормозах громко зашипел воздух, размеренный стук колес перешел в непрерывный гул. Облако снежной пыли поднялось за окном вагона.

Подполковник на секунду глянул в окно и снова повернулся лицом к военному моряку.

— Нет, старший лейтенант, — сказал он: — я не согласен с вами. Может быть, вы рассуждаете так оттого, что вы моряк. А я не могу так рассуждать... Уж если говорить о радости, то теперь я знаю одну единственную радость — радость удачной боевой операции. Я, знаете, воюю с самого начала войны и уверен, что сохранил свои взгляды, пока не кончу воевать. А до тех пор — камнем лежит на душе сознание продолжающейся войны... Так, что ли, Федосеев? — подполковник коснулся рукой колена сидевшего напротив танкиста.

— Правильно, товарищ подполковник! Я думаю так же, — откликнулся тот. — Вы давно воюете? — спросил он моряка.

— Да не в этом дело! — перебил подполковник: — Я думаю, дело в том, что они — моряки, находясь в море, имеют дело только непосредственно с неприятелем. Ужасы войны, те ужасы, которые нам, сухопутным воякам, приходится видеть на каждом шагу, в городах и селениях, по которым прошла война, не встречаются им в море. А ведь это самое страшное в войне!.. Посмотрели бы вы на разрушения нашего мирного многолетнего труда, на пожары, на растерзанных бомбами мирных людей, умирающих детей — вот тогда вы не заговорили бы о радости!

Подполковник нахмурился, отвернулся и стал смотреть в окно.

Моряк молчал, несколько смущенный суровой прямой своих собеседников. Окно купе порозовело в лучах низкого закатного солнца. Поезд набирал скорость и безостановочно мчался, неся своих пассажиров навстречу новым боевым делам.

Моряк вышел в коридор и сел на откидную скамеечку, думая о неизгладимых

следах, оставленных войной в человеческих душах.

Около него остановился сосед по купе — молодой, высокий майор-артиллерист. Еще при первой с ним встрече моряка поразила сдержанная бодрая энергия, исходившая от всей ловкой и стройной фигуры майора. Глаза, казавшиеся особенно светлыми на сильно загорелом лице, были удивительно спокойны, но в глубине их светилась какая-то сила, которую моряк с самого начала определил, как проявление упорной радости жизни, надежно прикрытой привычной выдержкой.

Майор протянул моряку руку.

— Лебедев, — отрекомендовался он. — Я слышал ваш разговор с соседями и их нападки на вас. Мне понравилось, что вы утверждаете право человека на радость. Я думаю, ваши противники правы... но справы, разумеется, и вы. Такова жизненная диалектика!.. Чувство радости сейчас реже других чувств приходит к людям... Тем более, что человеческая радость иной раз зависит от совершенно необъяснимых на первый взгляд причин...

Поколебавшись, он добавил:

— Я расскажу вам любопытное происшествие, одним из действующих лиц в котором довелось бы мне самому, и совсем недавно...

Стемнело. Они вошли в купе и заняли свои места на верхних полках. Наглухо закрытые шторы придавали купе, едва освещенному единственной лампочкой, особенно уютный вид. Моряк лежал на верхней полке против майора и слушал рассказ, до того не подходящий к окружающей обстановке, что временами сознание как бы раздваивалось, улетая в далекую, солнечную и просторную страну...

★

— Я был призван на третьем месяце войны, — рассказывал майор Лебедев. — Я прошел тяжкий путь отступления в непрерывных боях. Семь месяцев пули и

осколки снарядов врага шадили меня. Не стоит рассказывать о всем пережитом... До войны я был геологом, — поклонником непокорной нашей природы, мечтателем, порой далеким от жизни... Оглушительно трудная для тихой души военная страда, разрушения и зверства, чинимые на моей родной земле полчищами захватчиков, едва не сломили меня. Но все же я справился и скоро стал закаленным, подобно сотням моих боевых товарищей. И моя мечтательность, казалось, навсегда покинула меня. Я сделался жестким, мрачным. В душе осталась какая-то тяжкая пустота, — пустота, которая заполнялась только боевыми схватками с врагом, только удачными налетами моих баталерей...

В марте я был серьезно ранен и на несколько месяцев вышел из строя. Вынужденное бездействие еще больше увеличило мою замкнутость, я стал нелюдим.

После лечения в госпитале я получил отпуск и был направлен на отдых, на курорт в Среднюю Азию. Я протестовал, доказывал необходимость немедленной отправки меня на фронт, говорил о том, что совершенно одинок — ничто не могло.

Словом, в конце июля я оказался в поезде, мчавшем меня по проселочным казахстанским степям, навстречу жаркому солнцу.

Я часто стоял по ночам у открытого окна. Ветер, пахнувший польнуью, сухой и свежий, привлекливо обвевал меня. Легкая степная темнота подчеркивала древнее безлюдье равнины. Но я, я был весь там, — далеко на западе.

Все же, извечная безмятежность природы сделала свое дело, и к концу недели пути я как-то внутренне немного смягчился, а, главное, стал с большим вниманием смотреть на окружающий мир...

После Арысы дневная духота в раскаленном вагоне сделалась мучительной, и я с удовольствием высадился поздней ночью на небольшой станции. Автобус из санатория должен был прийти только утром. Мягкую прохладу южной ночи не хотелось менять на ночлег в станционном зале. Я уселся на чемодан у фонарного столба и, вдыхая ночную свежесть, оглядывался кругом. Поезд задерживался. Пассажиры прогуливались по хрустящему гравию в свете фонарей. Закурив папиросу, я разглядывал пассажиров.

Девушка, прошедшая несколько раз по перрону, привлекала мое внимание красивым сочетанием зеленого платья, красноватой бронзы загара и пепельных светлых волос...

В ней было что-то, выделявшее ее из толпы. Я и сейчас помню свое первое впечатление: — пожалуй, это была радостная, внезапная и легкая свежесть, переполнявшая все ее существо...

Она, несомненно, кого-то искала. Вот она остановилась, встряхнула короткими пепельными волосами, и, подняв к фонарю круглое лицо, забавно надула губы. Почувствовав мой пристальный взгляд, девушка открыто взглянула на меня, отвернулась и пошла обратно... Я безотчетно искал ее в толпе, но снова увидел ее только на миг у последнего фонаря, на грани света и темноты. Голова и плечи девушки были уже в тени и только изгиб ее талии, подчеркнутый черным пояском, бросился мне в глаза...

Поезд ушел, красный огонь хвостового вагона затерялся среди темных бугров, фонари, за исключением двух, погасли. Я еще некоторое время посидел на своем чемодане в сумраке затихшей станции. На душе, впервые после долгого времени, было как-то спокойно, — то ли от прохладной темноты вокруг, то ли от ощущения простора ночной степи...

Мне стало холодно, и я неохотно направился к станции. Крошечный зал был едва освещен. За низкой деревянной перегородкой, в отделении для раненых, никого не было. В открытое окно свободно врывался ветер. Я прилег на скамейку, но спать не хотелось. В полутемном зале прозвучали легкие шаги. Я обернулся и узнал встреченную на перроне девушку. Она посмотрела на занятые спящими узбеками скамьи, и нерешительно подошла к перегородке моего отделения. Я поднялся ей навстречу и пригласил устраиваться на свободной скамье. Девушка поблагодарила и уселась на скамью, откинув назад голову и плотно сжав колени. С ее появлением мне показалось, что эта, затерявшаяся в степи станция стала менее пустой. Девушка как будто не собиралась спать. Я решил задать ей несколько обычных дорожных вопросов, на которые она ответила коротко и с неохотой. И все же постепенно мы разговорились. Татьяна Николаевна, или просто Таня, была аспиранткой в институте восточных языков в Ташкенте и сопровождала в экспедиции знаменитого профессора-археолога. Профессор исследовал развалины древней астрономической обсерватории, построенной около тысячи лет тому назад в предгорьях хребта, в двухстах километрах от станции. В обязанности Тани входило восстанавливать и переводить арабские надписи, попадавшиеся на стенах и на отдельных камнях развалин.

— Вам не кажется смешным, после фронта, после этого, — она легонько притронулась к моей руке, висевшей на перевязи, — что люди занимаются сейчас такими делами?

Она смущенно взглянула на меня.

— Нет, Таня, — возразил я, — я бывший геолог и верю в высокое значение науки. А еще, — значит, мы с товарищами хорошо защищаем нашу страну, раз вы име-

те возможность заниматься своим делом, далеки от войны...

— Вот как вы думаете! — улыбнулась Таня и замолчала, погрузившись в задумчивость.

— Вы говорили, что обсерватория далеко в степи. Как же вы сюда попали? — возобновил я прервавшийся было разговор.

Таня довольно подробно рассказала мне об экспедиции на древнюю обсерваторию. Состав экспедиции был немногочислен — профессор, Таня и ее пятнадцатилетний брат, работавший в качестве стемщика планов. Рабочих достать было очень трудно. Несмотря на желание помочь экспедиции, ближайший поселок дал только двух стариков. Но после двух недель работы старики вернулись домой. Работа по расчистке развалин прервалась. Профессор послал письмо в свой институт с просьбой выслать одного научного работника, оставшегося в Ташкенте для подготовки диссертации, чтобы с его помощью произвести несколько несложных расчетов и завершить работу. Вот Таня и выехала встречать нового товарища. Прошли уже два поезда, но никто не приехал, Таня послала телеграмму в Ташкент с запросом и ждет утром ответа.

— Вот и все, — сказала девушка, сдерживая вздох огорчения, — как все это неудачно! Если бы вы знали, какая интересная работа и какое чудесное место Нур-и-Дешт!..

— Как вы сказали? — переспросил я.

— Нур-и-Дешт, — это название развалин обсерватории, означает оно «Свет пустыни».

— А если место чудесное, как вы говорите, так почему же ушли ваши старики?..

— Там бывают подземные толчки, довольно сильные и частые. Кругом все дрожит, где-то глубоко в земле раздается сильный пул, мелкие камушки и земля сыплются со стен развалин. Наши старики считали эти толчки предвестниками большого землетрясения, от которого все погибнут...

Я задумался над ее словами и, когда снова хотел обратиться к ней с каким-то вопросом, увидел, что Таня тихо спала, склонив голову на плечо. Я осторожно подосунул свернутую шинель под бок Тани, а сам перешел на соседнюю скамью, улегся и заснул...

★

Когда я проснулся, девушки не было. В зале прибавилось людей, заполнивших маленькое помещение своими пестрыми халатами и звуками незнакомой речи.

Я умылся и пошел разузнать насчет автобуса. Ничего утешительного я не узнал: автобус запаздывал и его можно было ждать только после обеда. Я отпра-

вился бродить по станции, надеясь встретить где-нибудь Таню. Обошел кругом здание, вышел в степь, но начавшее сильно припекать солнце прогнало меня в тень деревьев станционного садика. Еще издали увидел я зеленое платье Тани у входа на телеграф. Девушка в раздумьи сидела на каменном крыльце под акацией.

— Доброе утро. Получили телеграмму? — осведомился я.

— Получила... Семенов ушел в армию и, значит, никто к нам не придет. Что ж я скажу Матвею Андреевичу? Он так надеялся!..

— А кто это Матвей Андреевич?

— Мой начальник, профессор... О нем я вчера вам рассказывала, — с чуть заметной досадой сказала девушка.

Тут меня осенила идея, от которой мне стало сразу весело.

— Слушайте, Таня, возьмите меня в помощники! — сказал я: — едва ли я буду хуже ваших стариков...

Таня удивленно взглянула на меня.

— Вас?.. Но ведь вы должны лечиться. И потом, — девушка замылась, остановившись взглядом на моей висевшей на перевязи руке. Я поймал ее взгляд, вынул из перевязи руку и сделал несколько резких движений.

— Не беспокойтесь, Таня, рука у меня действует, а на перевязи висит, чтобы не затекла. Ее нельзя долго держать опущенной вниз, — пояснил я. — Я ведь еду не лечиться, а выздоравливать. Так не все ли равно — где? Вы же сами хвастались, что место хорошее, этот ваш Нур-и-Дешт.

Девушка колебалась. Серые глаза ее поселели.

— Все будет хорошо, — шуточно продолжал я, — если только он, ваш профессор, не будет меня держать на пише святого Антония...

— Ну что вы! Еды у нас много! Только как же все-таки с санаторием вашим? Потом дорога к нам трудная...

— Чем же трудная? — ведь вы же в четвертый раз собираетесь проделывать ее.

— А вы не смотрите, что я невысокая, — я сильная, — отвечала Таня. — Туда, знаете, как ехать? Отсюда до совхоза имени Молотова ходят автомашины на хлебной возке — это сто двадцать километров. От совхоза нам дают обычно лошадей до поселка Туз-Куль, — маленький такой колхоз, — дорога к нему прескверная: песок и камни. А от Туз-Куля приходится доставать верблюдов и пробираться километром тридцать через безводные пески. Я терпеть не могу ездить на верблюде — сидишь, словно на огромной бочке и качаешься взад и вперед, как маятник. А верблюд, вы знаете, идет ровно четыре километра в час, — не меньше и не больше...

Долго убеждать Таню мне не пришлось. И еще задолго до захода солнца пустая

трехтонка, подскакивая на выбоинах, понесла нас на юго-восток от голубоватой линии снежных гор, в противоположную от санатория сторону. Мы сидели на полу у кабины, весело переглядываясь, — разговаривать было невозможно: того и гляди откусишь язык. Рыжее облако густейшей пыли взвивалось за кузовом машины, расплзалось и скрывало холмы, за которыми осталась станция. Часа через три пути темная полоска тополей, маячившая на горизонте, раздвинулась перед нами, открыв два ряда белых домиков, разделенных широкой, как площадь, прямой улицей. Пирамидальные тополя поднимали вверх правильные ряды зеленых башен, а справа и слева к поселку сбегали пологие склоны, цветинившиеся светложелтыми пучками чая.

Машина остановилась у журчащего рыка, недалеко от конторы совхоза. Мне и сейчас приятно вспомнить простое, душевное гостеприимство в этом далеком совхозе. Мы решили ехать как можно позже: прохладная ночь — самое хорошее время для поездки. Увидев на дороге просторный тарантас, Таня тихонько засмеялась.

— Выгодный вы помощник, Иван Тимофеевич! Вот вам почет какой — в тарантасе парой везут..

Совхозный агроном взял на себя обязанности ямщика, мы с Таней усадели в корзинку и двинулись навстречу слабому ветеру. Темная степь под низкими теплыми звездами окружила нас.

Вскоре я почувствовал, что плечо Тани стало часто прикасаться к моему. А затем и кудрявая головка ее мирно склонилась к моему плечу. Время шло, бархатный ветерок выпустил холодные когти. Предрассветный холод не дал нам унуть как следует. Колхоз Туз-Куль не показался мне приятным местом. Голый бугор с редкими, недавно посаженными тополями был усеян низенькими домишками, вымазанными красной глиной. В шесть часов утра мы двинулись в пески, в сопровождении проводника с верблюдом, нагруженным продовольствием. Я решил последовать примеру Тани и пошел рядом с ней пешком. Невысокие песчаные бугры заросли какой-то колючкой голубого цвета. Ити было совсем не легко, и я дивился выносливости моей спутницы. Ноги погружались в сыпучую массу, душный жар шел от песков, — можно было легко представить, каково ити здесь в жаркие часы дня... После короткого привала при свете высокой вечерней зари мы вошли в заросли саксаула. Навероятно искривленные голые стволы с такими же голыми сучьями росли широким поясом по краю песков. Светящийся циферблат моих часов показал четверть первого, когда окончились пески и ноги с облегчением ощутили твердую почву каменистой долинной степи.

На высоте, вдалеке, виднелся красный огонек, окруженный облаком золотистой световой пыли.

— Это костер на площадке у палаток, — пояснила Таня, — что-то наши долго не спят, должно быть меня ждут...

В темноте раздался звонкий мальчишеский голос:

— Матвей Андреевич, Таня приехала!

Мое знакомство с профессором состоялось при свете костра. Это был маленький, круглый человек с квадратным лицом. Умные глаза его прикрывались большими толстыми стеклами очков. Я несколько задержался, подгоняя ближе к костру упоравшегося верблюда. Профессору, поздоровавшись с Таней, крикнул в мою сторону:

— Показывайтесь, Семенов! Где вы там прячетесь? Рассказывайте, что в Ташкенте.

Я вошел в освещенный костром круг. Профессор откинулся назад, поправил очки и посмотрел на Танию.

— Кто это?.. а Семенов где?

— Семенов не приехал, Матвей Андреевич, — виноватым голоском ответил Таня.

— Ничего не понимаю, что за шутки? — начал сердиться профессор.

Я подошел к нему и, протягивая руку, назвал себя. Затем вкратце объяснил причину моего появления здесь.

— Вот еще.. как же так, — вы майор, раненый, орденоносец... Неудобно, мой друг, неудобно, — ворчал профессор, сердито поглядывая на Танию. Та помалкивала.

— И, наконец, ваша рука, гм.. гм.. разве вы сможете работать? Вот уж не ожидал от вас, Таня, такого легкомыслия!..

Я рассмеялся, схватил здоровой рукой тяжелый тук, снятый с верблюда, и легко поднял его над головой. Брат Тани закричал «ура», Таня хлопала в ладоши. Профессор как-будто смягчился.

— Ну, ну, что мне с вами делать?..

— Попробуйте на работе, не подойду — выгоните, — смиренно произнес я.

Таня фыркнула, очки профессора блеснули, уставившись на нее.

— Ох, уж эти девы! Вечно они.. Все ничего, а появится душка военный — и готово.. Ну, ладно, пейте чай, устраивайтесь, — потом увидим...

В конце-концов, все обошлось. Когда профессор узнал, что я геолог и, следовательно, сродни археологиче, то и совсем забыл о неожиданности моего появления.

На утро обсерватория Нур-и-Дешт оказалась мне, действительно, на редкость приятным местом. На каменистом высоком холме стояла полукруглая стена с выступавшей на ее задней стороне приземистой башенкой. Концы стены перекрывались сверху двумя массивными

сводами, подпертыми толстыми кубическими основаниями. Между кубами сохранился красивый, в арабском стиле, портал, на котором еще остались следы буквенной золотой вязи по бирюзовому фону. Между башенкой и сводами в почве была выкопана глубокая воронка, облицованная туфом. Большую часть воронки заполняла вогнутая вниз правильная мраморная дуга астрономического квадранта, спадавшая и снова подымавшаяся двумя полосами, с углублением посередине. На боковых стенках дуги были высечены какие-то знаки и деления. Параллельно дуге спускались вниз мелкие, аккуратно высеченные ступеньки.

Профессор не стал задерживаться в обсерватории.

— Здесь мы уже все изучили, — сказал он мне. — Теперь место нашей работы будет вон там, — и он махнул рукой к оконечности правого крыла стены, около которой торчали остатки осыпавшихся сводов и стояла тонкая заостренная башенка. — Здание для астрономических наблюдений, как видите, хорошо сохранилось. Ну, конечно, бронзовые части дуги квадранта и другие приборы давно расхищены при монгольском нашествии. А тут, где мы будем продолжать изучение, должно быть, было хранилище инструментов, звездных карт и книг, а может быть, и жилище астрономов. Часть здания высечена в скале. Тут есть какие-то ходы, колодцы и подземелья, в назначении которых нам еще нужно разобраться. Верхняя надстройка рухнула, кучи щебня и песку запромеждают нижние ходы, и до сих пор у меня нет ясного представления об этом здании. Оно больше похоже на маленький форт, чем на обсерваторию. Ну, что же, приступим.. — И с этими словами профессор нырнул под засыпанный пылью и заросший засохшей травой свод. Мы, все трое, последовали за ним.

В полумраке квадратного помещения под сводом была приятная прохлада. Я вооружился инструментом вроде широкой лопаты — кетменем и, по указаниям профессора, принялся отгрести завал из земли и каменных обломков, образовавшийся от проседания следующего свода. Я старался во-всю, пот катился с меня градом, и груды отброшенной мной земли все увеличивались по обе стороны камеры. Профессор, очень довольный, велел мне отдохнуть, и сменил меня вместе с Таней. Мы рылись в поту и пыли еще долго, пока, наконец, не проникли в низкий просторный подвал, чуть освещенный щелями в камнях под сводами наверху. Внимание профессора и Тани сразу привлекли какие-то плитки из гладкого камня, кучкой сложенные в углу. Для меня в этом темном пустом подвале не было ничего интересного, и я принялся осматривать соединенные с ним другие помещения. Узкие, как щели, проходы без дверей соединяли

еще три подвала с высокими, в противоположность первому, потолками. Все они были совершенно пусты, только в конце второго подвала выступала толстым цилиндром какая-то постройка из очень плотно сложенных серых камней. По наружной стороне цилиндра вилась наверху обрушившаяся узкая лестница, конец которой исчезал в хаосе обломков, засыпавших квадратный верхний люк. В нижней части цилиндра чернели крохотные окна, проникнуть в которые не могла бы даже крыса. Я заглянул в одно из них и долго всматривался в черную тьму, пока мне не показалось, что я вижу какой-то слабый свет. Я посмотрел снова, и опять увидел едва заметный блеск. Я позвал профессора. Он с неохотой оторвался от разглядывания плиток и последовал за мной. Я обратил его внимание на цилиндрическую постройку, но профессор не выразил никакого интереса.

— Смотрите, Таня, — сказал он шедшей позади девушке, — это цоколь наружной башенки, той, что вроде минарета. Она одна только и уцелела, — построена из крепчайшего диабазы.

На мое замечание о чем-то блестящем внутри, профессор ответил:

— Ну, что там может быть? Какая-нибудь изразцовая плитка завалилась. На башенку поднимались по наружной лестнице, а пуста внутри только для экономии материала, — хода внутрь нет..

Он двинулся, было, назад, но вдруг остановился.

— Эге, вот это на самом деле важно!..

И профессор указал на завалившуюся стенку подвала за выступом щелеобразной двери. Из-под осыпи едва виднелась ступенька, очевидно, начало лестницы шедшей куда-то вниз.

— Видите, Таня, я говорил вам, что должен быть еще третий этаж, самый нижний. Это первый ход вниз, который нам удалось обнаружить. Тут и будем копать.. Сколько времени, Иван Тимофеевич? — спохватился профессор.

— Скоро пять.

— Ну, ну, то-то я так есть хочу. Пойдемте скорее!..

Наверху нас встретили сухой жар и ослепительный свет. После сумрака под сводами зарыбило в глазах. Я пропустил вперед Таню и профессора и остановился, чтобы получше осмотреть местность с высоты бугра обсерватории. На ровной площадке слева от бугра стояли две наших палатки. И бугор и площадка находились на плоской вершине широкого куполовидного холма. Этот холм возвышался посередине группы из восьми подобных же холмов, покрытых редкой и жесткой травой, совсем не похожей на веселую зеленую траву нашего севера. Сквозь ее щетинистый покров просвечивали угловатые выступы черных камней, присыпанных крупным песком. Камни, выступавшие из-под

тонкого почвенного покрова, на том холме, где стояла обсерватория и находился я, были другого, более светлого цвета. Поэтому бугор обсерватории довольно резко выделялся по окраске среди остальных холмов.

Девять холмов теснились на краю бесконечной, постепенно понижавшейся к югу равнины, а с запада, справа, почти у самого горизонта, виднелась иззубренная полоса далеких снеговых гор. В той же стороне равнину пересекала узенькая, отливавшая сталью, извилистая лентка: сбегавшая с гор речушка опираясь холм обсерватории и, отклоняясь на восток, терлась в песках. Вокруг обсерватории, внизу, расстилалась желтая степь, испятнанная кустиками серебристой полыни и голубых колючек. Дальше, к северу, степь ограничивалась темной лентой саксаульника по краю песков.

Покой, простор, чистый горный воздух, сияние тяжелого зноя над головой...

Как удачно сложилась судьба, приведшая меня сюда! И что еще нужно сейчас моей душе? Радостное чувство примирения с собой, с природой охватило меня...

— Иван Тимофеевич! — донесся крик Вячика, таниного брата. — обедать!..

— Куда вы девались? — встретила меня Таня вопросом, — а я чудесно искупалась, и вам предложить хотела. Сейчас будем обедать, а купанье отложимте до вечера...

После обеда и небольшого отдыха, мы отправились откапывать обнаруженную профессором лестницу. Она уходила в широкую выемку, высеченную в песчанике и доверху заваленную всяким мусором. По тому, как медленно подвигалась работа, было ясно, что понадобится несколько дней наших соединенных усилий, чтобы откопать лестницу.

Окончив работу, я напомнил Тане об ее обещании. Она повела меня по узенькой тропинке, вдоль берега речки к подножию второго холма. Я молча шел следом, прислушиваясь к ровному шуму быстрой воды, дробившей солнечный свет в мелких струйках. У поворота речки, в подмыве высокого берега, Таня остановилась.

— Вы здесь посидите, подождите меня. Мы с Вячиком сделали плотину, так что вода по пояс будет...

Таня повернулась и быстро скрылась за выступом берега. А я улегся на жесткой траве, подставив лицо прохладному слабому дуновению ветра, тянушему из ущелья. Журчанье речки наводило дремоту...

— Уснули? Идите скорее, — как чудесно!

Свежая, веселая Таня стояла передо мною — безупречная красота юности, дружной с водой и солнцем. Я вскочил и спустился под высокий берег, где нашел маленькую заправку, против крохотного песчаного пляжика. Два искривленных де-

ревца, как часовые, охраняли эту первобытную ванну со стороны низкого правого берега. Я быстро приспособился купаться лежа, борясь с напором холодной воды. Купание замечательно освежило меня. У палатки нас уже ждали профессор и Вячик с чаем.

— Как понравилась ванна? — спросил профессор. — А ну-ка, испытаем геолога: ничего в речке не заметили? Нет! Ну, дорогой мой майор, повоевали и все забыли! Древнее название этой речки, сохранившееся в летописях, — Экик, что значит сердолик. И в гальках русла иногда попадаются красивые камушки, — при случае посмотрите...

Раскопки нижнего этажа оказались сложнее, чем мы ожидали. Шедшая наклонно вниз выемка постоянно заваливалась осыпавшейся землей и щебнем. Я работал уже четыре дня — с утра до позднего вечера. Мускулы наливались новой силой. Незаметно, исподволь, со мной совершалось странное превращение. Словно из неведомых мне самому уголков души поднимались новые, свежие, как весенняя зелень, чувства, — такие же бесконечно спокойные и светлые, как окружающая природа. Уверенная радость жизни владела мной, я почти забыл про усталость и недомогательство. Тело, как это и должно быть у всякого идеально здорового человека, не существовало для меня, ничем не давая знать о себе, — кроме наслаждения избытком жизненной энергии.

Сейчас я разлагаю эти ощущения на отдельные элементы — тогда же это было иначе и выражалось, собственно, в чувстве обостренного восхищения местностью, где были расположены развалины Нур-и-Дешт. Я ломал голову, стараясь доныть секрет очарования пустынных каменистых холмов и печальных развалин в жарком кольце плоской степи и безводных песков. Я поделился своими впечатлениями с Таней и профессором. Оба они согласились со мной.

— Я, признаться, ничего не понимаю! — сказал Матвей Андреевич: — знаю только, что никогда не чувствовал себя так хорошо, как здесь.

— Мало сказать — хорошо, — подхватила Таня, — я, например, переполнена светлой радостью... Мне кажется, что эта древняя обсерватория — храм, — ну, не могу этого ясно выразить, — земли, неба, солнца и еще чего-то, неведомого и прекрасного, неумовимо растворяющегося в свободном просторе... Я видела много гораздо более красивых мест... Но ни одно из них не обладает таким могучим очарованием, как эти, казалось бы, равнодушные развалины...

...Еще один трудный день кончился затемно, но спать не хотелось.

Наступила ночь. Мы улеглись у костра. В зените черного купола над нами сияла голубая Вега, с запада, как совиный глаз,

горел золотой Арктур. Звездная пыль млечного пути светилась раскаленным серебром... Вот там низко над горизонтом горит кровавый Антарес, а правее едва выступает тусклый Стрелец. Там лежит центр чудовищного звездного колеса Галактики, центральное солнце нашей вселенной... Мы никогда не увидим его — гигантская завеса черного вещества скрывает ось Галактики. И там, в этих темных мирах, наверное, тоже существует жизнь, чужая, многообразная... И там, в гораздо большем числе, обитают подобные нам существа, владеющие могуществом мысли, там, в недоступной даже разуму, дали... и я здесь, ничего не подозревая, смотрю на эти миры, тоскуя, взволнованный смутным предчувствием грядущей великой судьбы человеческого рода. Великой, да — когда удастся справиться с темными звериными силами, еще властвующими на земле, тупо, по-скотски, разрушающими, уничтожающими драгоценные завоевания человеческого духа...

— Вы спите, Иван Тимофеевич? — раздался голос профессора.

— Нет, я смотрю на звезды. Они здесь такие-то особенно ясные и близкие.

— Да, обсерватория выстроена с толком, здесь необыкновенная прозрачность воздуха. Впрочем, почти во всех местах Средней Азии прозрачное и яркое небо. Недаром местные народы — хорошие наблюдатели звезд...

Киргизы называют Полярную звезду — Серебряным Гвоздем Неба. К этому гвоздю привязаны три коня, за конями вечно гонятся по кругу четыре волка и никак не могут дognать. А когда догонят, то будет конец света! Разве не поэтическое изображение вращения Большой Медведицы?

— Как удивительно, Матвей Андреевич! Помню я читал где-то о небе южного полушария. Высоко, где сияет Южный Крест, в млечном пути находится яркое звездное облако, а рядом с ним абсолютно черное пятно — огромное скопление темного вещества в форме группы. Первые мореплаватели называли его Угольным Мешком. Так вот древняя австралийская легенда называет это пятно зияющей ямой — провалом в небе, а другая легенда говорит, что это воплощение зла в виде австралийского страуса — эму. Эму лежит у подножья дерева из звезд Южного Креста и подстерегает опоссума, спасающегося на ветвях этого дерева. Когда опоссум будет схвачен эму — тогда наступит конец света...

— Однако, в самом деле, поразительное сходство легенд! У двух совершенно разных народов, на разных сторонах земного шара! И говорите после этого о каких-то глубоких, коренных различиях человеческих рас! Австралийцы и киргизы — чего уж более!

— Объясните мне, пожалуйста, Матвей Андреевич, кто и когда создал Нур и-Дешт — эту «с толком выстроенную» обсерваторию, — и почему она в таком пустынном месте?

— Работали здесь уйгурские астрономы, ученики арабских мудрецов. Ну, а место это стало пустынным после монгольского нашествия. Тут кругом развалины, следы поселений. Семьсот лет тому назад здесь, без сомнения, было богатое, населенное место. Чтобы построить такую обсерваторию, нужно много знать и много иметь...

Речь профессора прервалась. Что-то случилось, — я сначала не сообразил, что именно. Второй толчок дал почувствовать, как заколебалась земля под нами, словно по поверхности прошла каменная волна. Почти одновременно услышали отдаленный гул, будто исходивший из глубины под нашими ногами. Посуда в ящике дребезжала, голо вешки в костре развалились. Толчки следовали один за другим...

Все кончилось так же неожиданно, как и началось. В наступившей тишине было слышно, как катились по склонам потревоженные камни и что-то сыпалось в развалинах обсерватории...

На утро, как только мы явились в место ежедневной работы, нас встретили изменения, вызванные ночным землетрясением. Подрытый снизу в левой стороне земляной завал осел и рухнул, обнажив в правой стенке неглубокую нишу, обеденную заостренной стрельчатой аркой. В глубине ниши, из-под пыли и налипших комьев земли, виднелась каменная плита с вырезанным на ней, совершенно неразборчивым для не привычного взгляда, сплетением знаков арабского кувфического письма. Обрадованные находкой, и в то же время огорченные новым завалом лестницы, мы быстро расчистили надпись, столько веков скрывавшуюся под сухой и пыльной землей. На гладкой синеватой плите буквы были углублены и покрыты чем-то вроде глазури очень красивого оранжевого цвета с зеленым отливом. Тая и профессор принялись расшифровывать надпись, а мы с Вячиком опять взялись за расчистку лестницы. Профессор шумно вздохнул:

— Жаль, ничего важного! Правда, подтверждение сохранившихся в истории сведений... Надпись гласит, что по указу такого-то, в таком-то году, в месяце Ковус, — это Стрелец по-арабски, Тая?

— Да.

— Значит, в ноябре окончена постройкой в местности Нур-и-Дешт, у речки Экик, на холме — как это, Тая?

— Не совсем понимаю название — что, вроде Священной Чаши.

— Какая поэзия!.. На холме Священ-

ся Чаши, — на месте прежних разработок царской краски.. Ага, это по вашей части, майор — где же следы разработок и что могло здесь добываться?

— Не знаю, не заметил никаких разработок..

— Да вы были когда-нибудь геологом?! — шуточно возмутился профессор.

— Погодите, Матвей Андреевич! Вот прокопаю вам лестницу, — тогда отпустите несколько часов побродить. Может быть, и геолог пригодится. А то ведь мой ежедневный маршрут только один: речка — подвал, речка — палатка..

— Ага! — рассмеялся профессор: — побывали в шкуре археолога — нос всегда в землю.. А ведь вы правы: стоит объявить выходной день. Завтра не будем рыться, — походите, поисследуйте. Таня, конечно, стиркой займется.. Нет? А что же? Тоже побродить, геологии поучиться? Гм..

— А что там дальше в надписи, Матвей Андреевич? — перебил я профессора.

— А дальше следует: в память великого дела воздвигнута эта надпись и замурована древняя ваза с описанием постройки.

— Но, профессор, — ведь находка вазы имела бы большое значение для изучения обсерватории?

— Конечно! Но где она замурована — не сказано. Ясно, что в фундаменте — как ее найдешь? Лестницу прокопать — то не можем..

★

Утром я попросил у Вачика дешевую лобовую берданку, в надежде подстрелить какую-нибудь дичину. Сопровождаемые насмешливыми напутствиями профессора, мы с Таней отправились в обход холмов Нур-и-Дешт. Оказалось, что никто из членов маленькой экспедиции не отходил далеко от развалин — работа отнимала все время.

День был на-редкость зноен и тих, ни малейшее дуновение не сгоняло сухого жара, шедшего от каменистой почвы. Мы долго ходили по холмам, карабкаясь по склонам, пока не изнемогли от жажды. Тогда мы спустились к речке, напились вволю и принялись бродить босиком по руслу. Крупные камешки разъезжались под ногами. В прозрачной воде, среди черных и серых галек изредка резко выделялись разноцветные, сложенные водой, кусочки опала и халцедона. Охота за красивыми камнями увлекла нас обоих, и только когда ноги совсем оконечели, мы вышли на берег и стали греться на теплых камнях, занимаясь разборкой добычи.

— Красные кладите сюда, Таня. Это сердолик — очень ценившийся в древ-

ности камень, якобы обладавший целебной силой.

— Красных больше всего. А вот, смотрите, — какая прелесть! — воскликнула девушка: — это вы нашли? Прозрачный и переливается, как жемчуг..

— Гиалит — самый ценный сорт опала. Можете сделать из него брошку.

— Я не люблю брошек, колец, серег — ничего, кроме браслетов. Но если вы мне подарите его просто так.. Спасибо.. А зачем вы взяли эти три камня — мутные, нехорошие?..

— Что вы, Таня, разве можно так порочить самую лучшую мою находку? Смотрите! — и я погрузил невзрачную белую гальку в воду. Камень сделался прозрачным и заиграл голубоватыми переливами.

— Как красиво! — изумилась девушка — Ага, некрасивый камень оказался волшебным! Он в древности и считался волшебным, — это гидрофан, иначе называемый «око мира». Он сильно пористый и поэтому в сухом состоянии непрозрачен. Как только поры заполняются водой — делается прозрачным и очень красивым. Это все разновидности кварца, — их еще много сортов, различных оттенков, ценности, красоты..

— Что же вам дала наша сегодняшняя экскурсия? — спросила Таня.

— Теперь я имею представление о строении всей этой местности. Правда, оно не оказалось интересным — древние граниты и толща черных кварцитов, пронизанных жилами кварца. Холм, на котором стоит обсерватория, несколько отличается от других: он сложен какими-то очень плотными стекловидными кварцитами. Красивые камни в русле речки остались от размыва кварцитов — в жилах, в пустотах и натеках по трещинам должно быть довольно много халцедона и опала..

— А где же разработки, о которых говорится в надписи?

— Так и не знаю. Сами же видели — нигде не малейших следов. Может быть, они скрыты под развалинами обсерватории.

— Плохо, — опять Матвей Андреевич будет смеяться! — заключила Таня. — Пора обратно, смотрите, солнце садится. И так придем в темноте..

На красном фоне заката круглые плечи холмов выступали резкими силуэтами. Полное отсутствие ветра подчеркивало глухое молчание окрестных песков. Когда мы добрались до холма обсерватории с западной стороны, уже погасли последние отблески зари.

Черная бездонная пучина пространства открылась над нами с разбросанными в ней миллионами далеких огоньков. Развалины, едва различимые при свете звезд, встретили нас молчанием. Толь-



ко сплюшка где-то вдали издавала свой мелодичный крик. Ночью здесь было неприветливо, неясное ощущение опасности овладело нами, и мы пошли крадучись и шепчась, словно боясь разбудить что-то, дремавшее среди угрюмых стен.

Внезапно я почувствовал, что дневная усталость куда-то отходит, уступая место бодрости. Неподвижный воздух, несмотря на тепло, исходившее от нагретых стен, казался необычайно свежим. Приятное, едва ощутимое покалывание изредка пробегало по коже.

— Я совсем не устала, — шепнула мне Таня, придвигаясь так близко, что почти касалась меня плечом. — Здесь что-то в воздухе...

— Да, я бы сказал: воздух точно близки динамомашинны... Ну, конечно, стоит только посмотреть на вас, Таня!

Легкие волосы девушки распушились, заметно увеличив темный контур ее головы. Таня провела рукой по волосам, стараясь пригладить их, и множество мельчайших голубых искорок замелькало под пальцами.

— Будто перед грозой, — сказала Таня: — только небо ясное и духоты совершенно не чувствуется, — наоборот...

— Странно. Вообще в этом месте много необычного... — начал я, и вдруг увидел слабое зеленоватое свечение, мелькнувшее где-то в проломе стены. Мы подходили к главному зданию с дугой квадранта. Я присмотрелся и заметил, что чуть видимым отблеском светятся несколько букв надписи на внутренней стенке портика.

— Смотрите, Таня! — Я подвел свою спутницу к обрушенной части стены. В непроглядной тьме сводов явственно выступали извивы букв, очерченные зеленовато-желтым сиянием.

— Что это такое? — взволнованно прошептала девушка: — тут кругом много надписей, но ведь они не светятся...

— Все те надписи сделаны золотом, так, кажется?

— Правильно. — подтвердила Таня.

— А это... Одну минуту... — Я осторожно проскользнул в портик и зажег спичку. Загадочное свечение мгновенно исчезло. Обветшавшая стена встала передо мной безразлично и слепо. Но я все же успел заметить уцелевший кусок изразцовой плитки, покрытой гладкой глазурью, с выведенными на ней оранжево-зелеными буквами.

— Это сделано не золотом, а такой же эмалью, как у лестницы в подвале.

— Пойдемте туда скорее, посмотрим! — живо предложила девушка.

— Пойдемте, — согласился я и спросил: — Вы бывали когда-нибудь ночью на обсерватории, вы или профессор?

— Нет, ни разу.

— Тогда вот что: пойдем сначала в

лагерь, — только не говорите пока ничего профессору... Мы поужинаем и, когда все заснут, продолжим исследование, если хотите. А если устали, я один займусь...

— Что вы, причем тут усталость? Все так таинственно, интересно!

— Отлично, только уговор, Таня, — профессору ни слова. Я сам еще ничего не понимаю, но если мы с вами додумаемся до какого-нибудь объяснения — вот будет Матвею Андреевичу сюрприз на утро...

Теплая крепкая рука девушки сжала мою. Мы быстро спустились с холма в площадке, на которой по обыкновению горел небольшой костер. Поворчав на нас по поводу опоздания к ужину, профессор принялся расспрашивать меня о результатах похода. Как Таня и ожидала, добродушные насмешки профессора посыпались на мою бедную геологическую голову, едва Матвеем Андреевичем узнал, что я так и не нашел следов разработок красок.

— Ладно, лучше не буду спрашивать, что вы нашли в темноте вместе с Таней.. Ну, ну, не сердитесь! Показывайте ваши камушки... Как много сердолика. Пожалуй, если несколько дней поработали, набрали бы целый мешок. Теперь сердолик мало ценится: еще один из многих примеров забытой с веками мудрости человеческого опыта. Раньше во всей Ближней Азии этот камень шел наравне с лучшими драгоценностями. Из него делали браслеты, ожерелья, пряжки. И верили, что сердолик предохраняет человека от многих заболеваний. А самое любопытное, — оказывается, эта вера больше, нежели простое суеверие... Я недавно узнал...

Профессор замолчал, задумчиво разглядывая зрелый камень при свете костра.

— Что вы узнали, Матвеем Андреевич, расскажите, — попросила Таня.

— Да очень просто! Медики начинают пробовать лечение сердоликом. Оказывается, он почти всегда обладает радиоактивностью, слабой, можно сказать, ничтожной, равной сумме радиоактивности человеческого организма. Но именно потому, что в сердолике радия только ничтожные следы, — он действует благотворно на нервную систему, восстанавливая в ней какой-то баланс, что ли, не знаю толком...

— Радий! — пронзила меня неясная догадка, и в голове вихрем завертелись мысли об электрических разрядах, святающихся надписях, оранжево-зеленых красках... Я нетерпеливо вскочил, но сейчас же взял себя в руки и поспешно вытащил папиросы.

— Что это вы, словно вас кольнуло, Иван Тимофеевич? — удивленно спро-

сил профессор. — Пожалуй, и спать время: завтра пораньше примемся, наверное разгребем вход. Вы как хотите, а мы с Вячиком на боковую..

Я и Таня остались вдвоем. Я нервно курил, ожидая пока профессор заснет и можно будет взять свечи для ночного исследования тайны обсерватории Нур-И-Дешт.

Наконец, Таня достала две свечи, а я вытащил из кучи инструментов тяжелый лом.

— Это зачем? — удивилась девушка.

— Пригодится, — вдруг придется отвалить камень, вывернуть какую-нибудь плитку..

Внизу, в каменных подвалах, царил полнейший мрак. Хорошо знакомой дорогой мы пробирались ощупью, не зажигая света. Повернули направо в щелевидный вход, добрались до лестничной ниши. Таня вскрикнула, — большая доска очень слабо, но явственно светилась сплетением кufических букв. Такая же золотистая светящаяся полоска шла по выступу лестничной арки.

— Так, понимаю, — подумал я вслух, — здесь днем мало света..

— Ну, и что же? — нетерпеливо спросила Таня.

— Не спрашивайте меня сейчас, пока не решу всей задачи.. Пойдемте наверх, к квадранту. Наверное мы встретим еще остатки светящихся надписей. Стоп, давайте свечу!.. заглянем сюда..

Я вспомнил загадочный отблеск внутри цоколя астрономической башни, виденный в первый день, и решил попробовать проникнуть в цоколь. Я принялся выворачивать ломом крепко спаявшийся с остальными брусок камня над узкой вентиляционной щелью. Уступая моим настойчивым усилиям, камень зашатался, я надавил сильнее и, дернув камень к себе, извлек из кладки. Второй отделился легче — образовалось отверстие, достаточное для того, чтобы просунуть голову и руку со свечой.

Огонь свечи озарил тесную внутренность башни: круглую, уходившую высоко вверх, в темноту. Налево, прямо против пробитой мною дыры, находился обтесанный камень, а на нем, покрытый густой пылью, стоял широкогорлый сосуд, мутно поблескивая запыленной глазурью.

— Ваза. Таня, ваза! — воскликнул я и уступил девушке место у пролома.

— Не пролезть, как достанем? — спросила она, подавая радостный вздох.

— Сейчас! — Воодушевленный находкой, я быстро справился еще с двумя камнями. Едва я проник внутрь башни, как поспешно отпрянул назад: правее и позади камня, на котором стояла ваза, зияла темнота колодца. В колодец спустились узкие ступеньки, спирально за-

вивавшиеся вверх до какого-то выступа внутренней части башенки. Я передал вазу девушке через пролом и сказал:

— Подождите меня, Таня, я спущусь вниз.

— Нет, нет, я пойду за вами, кто знает, что там.. — и она замолчала, смутившись. Наши глаза встретились, и я.. Ну, словом, я спустился, упираясь руками в стенки колодца, и помог следовавшей за мной Тане. Колодец был неглубок. Впрочем, это оказался вовсе не колодец, а неровный, немного наклонный ход, высеченный в скале. Холод охватил нас сквозь легкую одежду. Но это не был холодный застоявшийся воздух подземелья, — чистый и свежий, он походил на богатый озоном воздух горных вершин. На глубине нескольких метров ход расширился в неправильную большую пещеру с изрытыми стенами, изборозженными узкими, просеченными в разных направлениях бороздками. Я уже знал, что искать: кое-где в трещинах кремнистых сланцев и кварцитов, в дне бороздок оставались небольшие окристые примазки лимонно-желтого и оранжевого цвета.

— Вот и рудник красок, Таня! Только краски-то не простые..

И вот мы поднялись наверх. Крепко прижав к груди тяжелую вазу, я осторожно ступал, боясь споткнуться. Около портика мы оставили дорожку находку и медленно обошли все здание. Я оказался прав: еще в нескольких местах мы обнаружили свечение каких-то знаков, светящиеся черточки были и на дуге квадранта.

Спустившись к речке, мы осторожно сняли крышку сосуда. Внутри его не было ничего, кроме пыли. Тогда мы обмыли вазу снаружи и бесшумно принесли в палатку, поставив у изголовья профессора и заранее наслаждаясь, как он будет удивлен и потрясен утром.

— Ну, а теперь рассказывайте! — шепнула мне прямо в ухо Таня. — Я все равно спать не буду, пока не узнаю..

Отойдя от палатки, мы улеглись на берегу речки, с мелодичным журчанием бежавшей в темную степь.

— Все, оказывается, очень просто, Таня: здесь имеется месторождение урановых руд и, следовательно, присутствует радий. Эти желтые пятна — урановые охры. Они применяются в керамике для получения очень прочной глазури с яркими и чистыми цветами — оранжевым, желто-зеленым, оливковым. Урановые руды встречаются в натеках, по трещинам кварцитов, и были выработаны еще в древности, но радий, — радий, помимо урана, вероятно, рассеян в ничтожном количестве в кремнистой массе светлых кварцитов. И я думаю, что весь холм обсерватории, состо-

ящий из этих кварцитов, излучает эманиацию радия. Кварциты должны быть слабо радиоактивны. Соли радия, смешанные с другими минералами, дают необычайно прочные светящиеся краски. Сейчас, особенно в войну, эти светящиеся составы имеют широкое применение. Оказывается, древние астрономы тоже знали этот секрет, и, может быть, самое название Нур-и-Дешт — «Свет пустыни», тоже связано со странными явлениями на обсерватории. Радий все еще мало изучен. Мы знаем, что он ионизирует воздух, убивает микробов, обезвреживает яды.. Теперь я понимаю, в чем секрет необычайно радостного воздействия этого места: огромная масса радиоактивных кварцитов, не прикрытых сверху другими породами, создает большое поле слабого радиоактивного излучения, очевидно, в дозировке, наиболее благоприятной для человеческого организма. Помните, что профессор говорил про сердолик. А сегодня, из-за отсутствия ветра, получилось большее, чем обычно, накопление эманиации радия. Мы с вами сразу и заметили это ночью. Кто знает, может быть, в дальнейших успехах науки влияние радиоактивных веществ на организмы будет понято еще более глубоко... Какое неожиданное и интересное открытие, правда? — и я положил свою руку на упавшие в песок пальцы девушки.

— Да, интересно.. — отчужденно произнесла Таня и быстро поднялась: — ну, надо идти спать, уже поздно...

Немного озадаченный внезапной холодностью Тани, я остался на берегу. Все мои мысли вертелись вокруг неожиданного открытия. Я продолжал находить новые и новые факты в доказательство своей догадки и долго еще лежал в темноте. Наконец, я запутался в дебрях химии и побрел к своей постели.

★

Разбудили меня шумные возгласы профессора, звавшего всех нас. Ваза была извлечена на свет. Узор блестящей эмали бархатистого зелено-черного цвета шел между яркими оранжевыми и оливковыми полосами. Такие прекрасные тона глазури могли дать только соединения урана. И мое сердце весело забилось. Новое подтверждение ночного открытия в ослепительном свете дня!

Я рассказал профессору все свои соображения. Надо было видеть радостное возбуждение ученого. Я прибавил, что радиевые излучения, может быть, способствовали еще большей прозрачности воздуха непосредственно над обсерваторией.

— Ну, это вы, пожалуй, хватили, — возразил профессор, — а что до нашего состояния, то я совершенно с вами согласен. Это место — не только место света, но и место радости. А вот почему

Таня у нас сегодня грустная? Что случилось?

— Нет, что вы, Матвей Андреевич, — со мной ничего...

После вторичного осмотра выработки, мы вернулись к работе на лестнице. К концу дня удалось расчистить небольшое отверстие, в которое все мы поочередно пролезли. Там был подвал из нескольких камер... Я не знаю, что он дал археологу, но на мой взгляд подвал был так же пуст, как и все виденные мною ранее.

★

Закатный ветер мчался по степи, розовая пыль клубилась над стальным ковром польни. Профессор с Вячком шли впереди, а Таня в раздумье замедлила шаги, отстав от них. Я догнал девушку и осторожно взял ее за руку.

— Что с вами, Таня? Вы, всегда такая веселая, оживленная — и вдруг... Мне кажется, вы изменились после вчерашнего нашего открытия...

Девушка пристально посмотрела мне в лицо.

— Не знаю, поймете вы или нет, но я скажу.. Нур-и-Дешт, действительно, место радости, — и я думала, что эта радость во мне, от меня, что я сильная, свободная, веселая... Тут появилась вы, — девушка загнулась, — суровый, ушедший в себя, опаленный огнем войны. И вы тоже делаетесь ясным, радостным... И вдруг, оказывается, что всему причиной этот радий.. и только... Значит, если бы не было радия, — голос девушки упал почти до шопота: — не было бы и дивного очарования этих дней на древней обсерватории...

Таня отвернулась, вырвала руку и побежала вниз по склону холма.

Я медленно пошел следом за ней. Остановился, оглянувшись на развалины Нур-и-Дешт...

«Свет пустыни», — да, несомненно, свет и для моей души. Таня не ошиблась. Счастье — в нашей родине, человеческой силе и свободе. Не пройдет, — навсегда останется радость дней на обсерватории Нур-и-Дешт!

★

...И опять, ночью, как много раз до этого, угасал костер у палаток, и около него сидели мы с Таней. А рядом излучала золотистое сияние древняя ваза, — светящаяся чаша давно минувших, но не умерших человеческих надежд.

— Таня, дорогая, — говорил я, — здесь моя душа открылась... навстречу вам...

Таня поднялась и порывисто подошла ко мне. В ясных глазах девушки отразился ясный звездный свет.

В высоте над нами, прорезая световые облака млечного пути, сиял распростертый Лебедь, вытянув длинную шею в ночном полете.

# МИНИАТЮРЫ

А. МАШАШВИЛИ

★

## ГОРА БАРИСАХО

Горы клёкот потоков ко мне донесли,  
В небе дрогнули первые звёзды, —  
Показалась гора Барисахо вдали,  
И, как свечи, ее осветили берёзы.

## МЕГРЕЛЬСКИЙ ДВОР

Калитка. Ров. Вода журчит спокойно.  
Деревьев тени на забор легли.  
Среди цыплят поднялась пальма стройно,  
Как будто крылья распустил павлин.

## АРАГВА В ГОРАХ ТВАЛИВИ

Вот силуэт тваливских гор встаёт,  
Любуюсь зелени цветущей ожерельем, —  
Арагва в берега крылами бьёт,  
Похожими на плавники форели.

## ФИАЛКА

Глянул в поле, — встрепенулась  
Ветра лёгкая струя, —  
Мне фиалка улыбнулась,  
Синеокая моя!

## ПОТОК В ГОРАХ

Из сердца гор с протяжным воем зверя  
Несётся ветер, рвётся на простор.  
Летит прыжками барсовыми Терек,  
Чтоб на него не шали глыбы гор.

## СВЕТ ОЧЕЙ

Я не грустил о том, что солнце гаснет,  
Меня огонь любви неистовый сжигал  
И я при свете глаз твоих прекрасных  
Стихов катены строгие читал.

Перевёл с грузинского БОРИС СЕРЕБРЯКОВ

# „НЕВЕРНАЯ ПОЛУПРАВДА“

Н. ЗАМОШКИН

★

У В. Шкловского есть своя биография мышления. Через нее, вот уже сколько лет, он стучится в художественную литературу. «Встречи», выпущенные в этом году издательством «Советский писатель», написаны несомненно Шкловским. Кто же еще из других писателей отваживается так впускать себя в повествование:

«Вязьма была вся цветная — желтая, красная. Улицы ее кривые, церкви ее, как цветы, — весь город как будто сделан пчелами. Такой я знал Вязьму. Такой прошла она сквозь историю.

Живу я в Лаврушинском переулке, угол Толмачевского, а сзади меня переулочек Кадашевский, рядом Клементовский.

Толмачевский потому, что рядом Ордынка, а при орде были толмачи» и т. д. («Встречи», стр. 42—43).

В. Шкловский постоянно ищет новой изобразительности — и думает, что находит ее: «За мостом насыпь расщеплена, как шерстяная нить»... Больше всего он боится быть голословным и бьет по сознанию фактами: «Перед бронзовым Суворовым Марсово поле, на котором веками проходили парады»... А на Смоленщине — это Шкловский точно знает — «умели еще в двенадцатом веке читать Гомера, говорили о Платоне и сумели строить крепости и разводить пчел, здесь было много воска и меду, и потому здесь делали пряники». В Ясной Поляне осенью 1943 года Шкловский все еще слышит немецкие пушки (78 стр.). Может быть это означает, что кругом все еще видны следы немецкого хозяйничанья? Нет, писатель-экскурсант очень подробно рассказывает, что к этому времени все уже восстановлено, и про немцев вспоминают тут, как «про давнюю историю». Любовь имеет свой возраст и вечность, утверждает Шкловский, и для сравнения приводит историю любви Маяковского и любовь Меджнуна, старого араба. «Имя Меджнун значит безумец». «Маяковский говорил, что ревность превращает его в медведя»... Отсюда делается вывод, что «любовь Маяковского уже иная» и «он боролся за иное качество любви!» Прелестно у Шкловского чере-

дование мыслей. После перечисления имен Петrarки, Навои, Данте и опять Маяковского высказывает фраза: «Я там родился, в доме теперь разрушенном», а все вместе взятое означает: «Вот видите, я все же начал говорить о молодости», — хотя Шкловский и не давал зарока не говорить о молодости. Не моргнув глазом, он утверждает, что когда Суворов произносил слова: «Я, как Цезарь, не делаю никогда планов частных; гляжу на предметы только в целом», — то в этом случае великий полководец «говорил о славе»...

Если бы на этой «выставке умственных товаров» побывал мудрец, подобный древнему Сократу, то и он вероятно сказал бы словами Сократа: «Как много здесь такого, что никому и ни на что не нужно, что способно принести один только вред». (Если у Шкловского читают Платона, то пусть уж он сам послушает Сократа.) К сожалению, предостерегающие голоса в критике у нас раздаются редко — иногда из опасения прослыть «отсталым», особенно перед таким «новатором», как В. Шкловский. Сочинения его тащат в себе громадную массу непереваренных камней знания, которые, как говорится, зря болтаются в желудке.

В книгах Шкловского наберется тысяча встреч, десять тысяч вопросов, имен, терминов. Известно, что механическое соединение знаний, а тем более беспорядочных ассоциаций не составляет системы знаний, представлений. В энциклопедическую копилку знаний Шкловского пролезает не только изящные гривенники, но и большие медные пятаки. В «Кащеевой цепи» М. Пришвина выведен сибирский купец, читавший подряд энциклопедический словарь — он хотел быть с веком наравне. Читать словарь не рекомендуется — получится мешанина. А вот Шкловский читает, преимущественно, однако, свою кустарную энциклопедию, свою биографию мышления, с наслаждением, упорно. Он пишет, как бы читая самого себя. Позади же — тысячи чужих знаний и крупинки личного опыта. Здесь происходит нечто подобное тому, что бывает, например, при покупке костюма: к лицу или не к лицу, в тон или не в тон — вот в чем здесь

дело. И у Шкловского всегда в тон! Любое имя, любой отрывок, любая цитата всегда себе в тон. Существуют резко выраженные индивидуальности, которые творчески обогащают жизнь, но существуют и такие индивидуальности, которые растрачивают себя, рассеивают энергию попусту, — испускаемые ими «искры гаснут на-лету». Литературным процессом в данном случае управляет особый склад мышления, именно он и определяет литературную безалаберность Шкловского. Сочинения его представляют невыдуманный образец деформированного полуобразного мышления, свидетельствуя умственного беспорядка, отращения к труду как организованному занятию и одновременно — непомерной жажды оригинальности. В Шкловского, повидимому, в школе не обучали составлять «план сочинений». А польза от этого все-таки остается. Литература не частное, рекламное предприятие, не узкий кружок друзей. Литератор выносит своё на суд читателей, обращается к обществу. Сознательно или бессознательно но он хочет быть в своих взглядах, убеждениях солидарным с другими. Шкловский составляет исключение. Но Шкловский издается, следовательно, все-таки выходит к читателю, — со своим несдержанным, напористым, назойливым «я», с претензией на открывателя новых истин, оригинальных точек зрения. Контакт с действительностью у него, в сущности, нет, хотя словарно и тематически он очень современный писатель. Шкловский из литературы воздвиг барьер, создал при ее посредстве средостение между собой и действительностью. Что это не выдумка, о том свидетельствует сам Шкловский. В книге о Маяковском (1940 г.) он пишет: «У меня была своя теория, свое окно в мир, как говорил Бодуэн де Куртене. Я считал, что искусство — это не способ мышления, а способ воспитания осязательности мира, что форма искусства меняется для того, чтобы сохранилась осязательность жизни» (70 стр.).

С тех пор мало что изменилось в литературной практике Шкловского, воз стоит и ныне там. «Встречи» лишь очередная и столь же безнадежная попытка «восстановить осязательность мира» при помощи все новых и новых книжных посредников; налицо не смена убеждений, и даже не смена форм, а жонглирование понятиями, — автор попрежнему нуждается в сильно действующих средствах для того, чтобы хоть как-нибудь осязть мир. Однако справедливо и то, что ныне для Шкловского искусство не вовсе оторвано от мышления, а раньше ведь он и в этом сомневался...

Да, у Шкловского есть свой способ мышления. Это механизм не очень хитрый, при помощи которого вещи сдвигаются со своих мест и начинают шататься точно пьяные. Во «Встречах» раскрываются поразительные картины произвольности суждений, искажения понятий, подмены тезисов доводами, и над всем, как купол, возвышается торжествующее, самодовольное «я» автора... О чем бы и о ком бы Шклов-

ский ни писал, он всегда пишет о себе. «Я» выпирает из его книг, как огромный хрящеватый кадык. То, что писалось им в книге «О Маяковском», относится и к «Встречам»: «Это не мемуары про меня, и если я здесь занимаю много места, то потому, что о себе больше помнишь». Бедный человек, какую тащит ношу! Приходится писать о себе. «Приходится писать» (стр. 70). И, в самом деле, сколько во «Встречах» подставных фигур, с которыми автор вступает в разговор, чтобы при их посредстве поведать миру о себе. При всех случаях, в любой обстановке Шкловский встречается с самим собой — он один в тысячах лиц, и все на одно лицо.

Шкловскому, при таком складе характера, приходится все время с кем-то спорить, что-то доказывать. Он профессиональный оппонент, публицист, полемист, задира, — даже тогда, когда читатель, пожимая плечами, уходит от него подалее как от греха.

Оратор-спорщик сложного типа выведен Достоевским в «Дневнике писателя»: «Если бы, например, он встретился с Либихом, хоть в вагоне железной дороги, и если бы только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то, сомнения нет, он мог бы выдерживать самый полный ученый спор, зная из химии всего одно только слово: химия. Он удивил бы, конечно, Либиха, но кто знает — в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем». Такова дерзость ученого языка спорщика!

С кем же Шкловский спорит? Он спорит со многими передовыми тенденциями современности.

Вместо слова «химия» во «Встречи» вставлены два слова: «условный рефлекс». Действие происходит не в вагоне железной дороги, а в лесу, под бомбежкой, в полевом госпитале. Обстановка вполне современная. В ней разыгрывается одна «неверная полуправда» под названием «Павлов жил под Ленинградом» или «Разговор в лесу».

Слова «неверная полуправда» обронены Шкловским где-то по пути своих размышлений. Внутренне противоречивые, они, однако, очень реальны, потому что полуправда не редкая гостья в этой книге. Пожалуй, она хуже неправды, ее не сразу распознаешь, она — мать вульгаризации, упрощенчества. Так поступил Шкловский в своем лесном разговоре с ученым академиком Павлова об условных рефлексах, а попутно и с самой личностью великого русского ученого. Правда, вместо Павлова он выводит другого человека, будто бы близкого к нему и не менее авторитетного. Эта подставная фигура не имеет имени. По характеристике Шкловского, это «человек дерзкого неожиданного размаха, ученик и, может быть, соперник (!) академика Павлова». От имени покойного своего учителя ученик поучает слушателей поведению в жизни, в бою. Ничего не может быть более ответственного, чем форма проповеди, наставления, да еще во фронтовых условиях. «Авторитетный товарищ» рассказывает: «Идем

под гору. Иван Петрович (Павлов) хромает, у него нога была сломана. Я понимаю, что он думает. Думает он, что надо купаться, надо попытаться восстановить ту бодрость, которую дает холодная вода и трение мохнатой простыней, надо не нарушать своей жизни, надо цепляться за старые привычки, потому что старые привычки рождают прежние отзвукки, мы их зовем рефлексами. Можно вцепиться в жизнь, как в ручки трамвая и она увезет тебя, как трамвай, а потом в нее, в жизнь, влезешь». Положительно замечательный имитатор Шкловского этот ученик Павлова! Узнаю тебя по слогу, Демосфен! Мохнатая простыня — цеплянье за старые привычки — ручки трамвая — повиснув, ты влезешь, наконец, в жизнь... Перед нами дробная цепочка ассоциаций вокруг понятия рефлексов, как удобный повод для пропаганды специфической философии жизни. Известно, что многие привычки, рефлексы действительно облегчают жизнь, сберегают наши силы, но разве физиологическое материалистическое учение Павлова повинно в какой бы то ни было степени в проповеди вульгарной морали о трамвайном цеплянии за жизнь? Разве воинский порядок держится на одних только привычках, — а ведь и это говорит «соперник» Павлова, т. е. сам Шкловский: «привыкайте все исполнять до конца так, чтобы это уже было вне сознания, чтобы привычка вас держала, чтобы вытеснила она страх, а то, что сверх, — бодит подвиг». Но откуда же быть подвигу, если все от слепой привычки, ведь ничто подвигу в этом «учении» не предшествует. И не похоже ли спасительное «сверх» у Шкловского на некую таинственную силу, возникающую из ничего? «Дело простое — условный рефлекс», — заканчивает свою беседу «человек неожиданным размахом». Это верно, что все очень просто в анекдоте о старом боцмане, своим привычным для матросов сигналом «все наверх» вызволившим их из ада на родную привычную палубу, но спрашивается: какое отношение имеет этот «забавный» случай к великому учению Павлова? Такое же, как всякий анекдот к сербезной научной проблеме: у них разные измерения.

Анекдот, как способ доказательства, занимает не последнее место в арсенале излюбленных приемов Шкловского. В применении к научным проблемам это неизбежно ведет к искажению и оплошлению содержания. Хуже всего, что в толковании Шкловским привычки как условного рефлекса содержится частица правды — полуправда. Она как и в примере у Достоевского, делает оратора в глазах простодушных слушателей своего рода победителем. Например, рваный на вопрос: «понятно?» отвечает: «забавно, но понятно»... Заглянув в прихожую науки, Шкловский, таким образом, все понял, все уразумел. Какое ему дело до того, что это не вяжется с его же признанием, как он ходил в лабораторию Павлова писать сценарий, — «сценарий не получился, — признается он, — работа не пропадает, кое-что я понял». Надо думать, автор понял полуправду и сотворил вред. Учение об условных рефлексах есть объектив-

ный материалистический метод исследования физиологических процессов и основной принцип механизма высшей нервной деятельности. Создатель учения остерегался не посредством вечно переносить свое учение в общественную практику, в поведение людей. Этого не делали и не делают и ученики Павлова, за исключением разве одного «соперника», личности вполне мифической, обязанной своим существованием воображению писателя-анекдотиста.

В 1935 году на XV Международном конгрессе физиологов Иван Петрович Павлов произнес обличительную речь против фашизма, он с гордостью говорил о своей родине, спрание Советов. Общеизвестный факт этот Шкловский решил преподнести в таком резжигненном виде, чтобы на крайний случай его можно было прочитать в отделе «смесь». И вот в книге, от имени все того же мифического существа, появляется рассказ, как Павлов обличал ученого немца. Немелко себя чувствуешь, слушая эту отнюдь не забавную историю. Павлов публично, всерьез, на зло немцу, доказывает, что он, великий русский ученый, «имел право родиться», что расистская звериная наука тут не права, что «человек — это не породистая собака, у которой все рефлексы подчинены одному». Не мог русский гордый человек так унизиться перед каким-то немчиком! Это бессознательная клевета на Павлова, полное непонимание того, что пишешь и кого описываешь. Но страшен сон, да милостив бог: не было, не могло быть этого в действительности. Это произошло во сне. Благодарнейший материал для павловской же теории происхождения сновидений.

Что же заставляет Шкловского так легкомысленно переинтерпретировать факты, события? Когда вдумываешься, то приходишь к выводу, что причина всему с а м о в о с х и щ е н ь е. Как в басне: «Он, не учась, учен, колы придет в вохщенье»... В таком специфическом состоянии Шкловский занимается своим главным делом: соскабливанием лака с привычных понятий (привычки, привычное он оставляет для всех прочих, — не для себя). Делает он это крайне неделикатно, например, приписывая Павлову такие слова: «Мена рожала дома. Я сам не приняи а л...» Такая степень одомашнивания образа идет, к тому же, совершенно вразрез неоднократным заклиниваниям самого же Шкловского, что «надо писать про главное» в человеке, что никому не интересно знать, что у Ильи Муромца был плохой характер, главное в нем — умение сражаться и т. д. А вот довелось Шкловскому взяться за дело, и получилось ничем не заторможенное и интимничанье. К кому бы в гости Шкловский ни заглянул, с кем бы ни повстречался, он везде держится с редкой непринужденностью, рассчитанной на простаков, читающих книги с разинутым ртом.

Анекдоты во «Встречах» бегут один за другим без всякого торможения. Ученые в лаборатории Павлова так преданы своему делу, что спят по полугоду рядом с подопытной собакой, подложив себе под голову... полено! На

мягкой подушке, видите ли, легко проспать, не уследить за движением капель слюны... Что скажет тогда учитель?... Так на наших глазах анекдотизируется и упрощается большая тема. Легкость мысли у автора чрезвычайная. «Глаза блестят, а сосредоточиться не может, торможения нет», — это слова о знаменитом бессловесном питомце лаборатории Павлова, Рафаэле. Их можно отнести и к другому существу, — пишущему и размышляющему.

Попытка Шкловского на материале жизни Павлова «построить душу человека по чертежу подвига» явно не удалась. Получилось нечто совершенно обратное.

В сущности, вся судорожная, цитатная книга Шкловского полна разного рода серьезных попыток. Почему бы, в самом деле, не поговорить о любви, семье, подвиге, искусстве, мудрости и мужестве, о чувстве будущего или, например, о том, что «тема этой книги — с врагом сражается вся советская культура». И Шкловскому кажется, что и его книгой воюет советская культура. «Говорите, говорите!» — булькает по камушкам ручей. Порой Шкловскому удается большие понятия нашей жизни как-то слить в едином потоке витиеватого повествования. Таковы первые его четыре очерка, посвященные Суворову и одному знаменитому (почему-то незадуманному) акыну, существующим на страницах книги в сонме множества других имен. Материал его книги, как думает Шкловский, сражается во имя нашей культуры. Может быть, это и так, но сражение по вине автора, происходит без всякого плана, взвешивая, кто в лес, кто по дрова.

Все сражающиеся у Шкловского — от Суворова и Морица Саксонского до академика Капицы и забынской старухи — живут, якобы, только одним будущим, настоящего они не чувствуют и философски отвергают его. Впрочем, они в том не повинны. Это сам Шкловский персонализирует себя в их лицах. Он зовет литературу решительным образом измениться после войны — «писать о главном». Выходит, что сейчас она занята чем-то не главным. «Надо с новой высоты увидеть всю мировую литературу». «Надо глядеть вперед». Но тщетно искать в этих формулах и призывах Шкловского хоть одно конкретное понятие, пример, образ. Шкловский пишет шифром, иероглифами, загадками. Он все что-то обещает и не выполняет обещанного. Например, будущее в его понимании чистая фикция, оно существует независимо от настоящего, оно абсолютно, оно равно себе и если и связано с движением времени, то только с прошедшим, минуя настоящее. По Шкловскому, Суворов, например, велик только тем, что был весь в будущем. «Поэтически он был не сзади, а впереди своего времени», «больше всего помнил Суворов будущее», «по способу боя — он человек будущего» и т. д. Суворов читал книгу Морица Саксонского «Мечтания» и стал мечтателем, человеком будущего. На долю Суворова, как гениального полководца своего времени, любимца и вождя солдат, ничего

не остается. Шкловский изрекает: «Суворов был передовым поэтом. И хоть бы одно доказательство! Но оракула не переспрашивают. При всем внешне предметном, конкретном-цитатном оформлении мысли Шкловского абстрактны, сухи, бескровны. Время у Шкловского не движется, несмотря на то, что сам он, субъективно, весь устремляется вперед, в будущее, в перспективу. Витая в эмпиреях, он не ощущает земли. Беспочвенный писатель, в буквальном смысле: слова его скользят поверху реальных явлений, не зацепляясь ни за что. А между тем именно ему все ведомо — сам же он приводит хорошие слова Мирзы-Алишера: «Если хотите цвести весной, не резными драгоценными камнями будьте. Будьте землею». Но цитаты живут у Шкловского автономной жизнью. А иногда выступают и против автора. Суворов был потому шутилив с солдатами, что жил в селе Кончанском, — утверждает Шкловский. А Кончанское было скоморошье село, село сказителей. До восьмидесятых годов, когда Суворов впервые поселился в этом селе, он, следовательно, не был шутилив с войском. Но ведь это же абсолютно неверно. Суворов и молодым любил шутку, народные веселые поговорки, — он был мсквич.

«Философский ум Шкловского занят, главным образом, историей. Чувствуя, ощущая около себя и повсюду следы прошлого, он пытается как-нибудь ориентироваться, чтобы умственно не потеряться в обступивших его фактах истории. Он выставляет правильный тезис — о бессмертии народа, о том, что «мы — живые», «нет тьмы времен», мы сажаем деревья, строим дома, разводим пчел (философом, поэтом, практиком пчеловодства выведен в книге разведчик Петров), у нас есть сыновья, «мы помним свою историю». Следы истории — главным образом, в именах, названиях — Шкловский видит на каждом шагу. Они как тень следуют за ним. Такая особенность ощущения имен, названий, обычно свойственна номиналистам. И Шкловский принадлежит к ним. В какой-то растерянности от обступивших его со всех сторон терминов он вдруг замечает, что «история каждый день поворачивает меня»... Она играет им, и человеку не дано освободиться от этого наваядения. Медный всадник гонится за бедным Евгением. Шкловский мечется, читает книги, тысячи исторических имен проносятся в его потрясенном сознании, и все напрасно: человек в истории, как щелка в бурном потоке. В этом Шкловский глубоко убежден. Таков факт его биографии. И его не обязательно было обобщать, но так хочется щепке быть причастной к вселенской жизни. И Шкловский слышит голос: «Вы говорите: время идет; безумцы, это вы проходите», и остаются после вас одни лишь развалины. «И вот нет города. Есть кости города, разбитые кости».

Философским пессимизмом отдает от рассуждений Шкловского на тему о времени и истории. Советская культура другими средствами



борется с фашизмом, посмевающим посягнуть на нашу живую историю. Она мобилизует на борьбу свое оптимистическое мировоззрение, свою теорию и практику исторического делания и перестройки мира. Живого ощущения народа, действительности нехватает философским взглядам Шкловского. На первых порах взгляды эти способны ввести читателя в заблуждение, ибо, в самом деле, можно не возражать против такого изречения Шкловского: «Бессмертие в истории — единственное человеку доступное». Но будучи прочитанным систематически, не изолированно, оно говорит лишь об археологическом бессмертии человека, о курганах и рвах, о землетрясениях и войнах, о костях. Такое пассивное, безличное, общедоступное бессмертие советскому человеку не нужно. Мысль Шкловского витает где-то между утопизмом и археологией, безучастная, в сущности, к совершающимся в мире изменениям. Привычка существования, вытесняющая в человеке страх, освобождая его от работы сознания, — не она ли заставляет человека быть только прохожим по истории? «Безумцы, это вы проходите!», а не время, оно неподвижно. Из разных высказываний Шкловского на тему о времени складывается, таким образом, определенное умонастроение, не имеющее ничего общего с тем, чем живет советская культура.

Уместно тут привести речь «министра» из «Сна Павлова» А. К. Толстого, призывавшего к созданию некоей вневременной бессмыслицы:

Соединив прошедшее с грядущим,  
Создать, коль смею выразиться, вид,  
Который называется присущим  
Всем временам...

Однако дело, конечно, не в министре, а в сокровенных убеждениях нашего современника, писателя. Постепенно они проясняются. Время — по Шкловскому — это фикция, субъективное представление, обладающее одной лишь видимостью.

В этом свете становится понятным самый способ мышления Шкловского. Он орудует иллюзиями, чтобы как-нибудь упорядочить хаос представлений, в котором живет. Мышление его есть ряд искусственных приемов, посредством применения которых достигается некий результат. Например, понятие условного рефлекса для Шкловского есть икс, который больше самого себя, т. е. икс равняется иксу плюс что-то еще. Неважно, что предположение это ложно, но зато с ним можно проделать ряд манипуляций. «Что-то еще» бесспорно является нулем, но ведь с ним только что был проделаны операции, следовательно, оно не ничто, а нечто. Шкловский принимает и это противоречие, потому что в результате получилось, что бессмертие человеку достается даром. Величайший соблазн здесь заключается в том, что формалистические трюки к чему-то все-таки приводят: ошибка, домысел, произвольное

допущение, в некотором роде, себя оправдывают. Что изобретателю-манипулянту до того, что вывод, заключение получились ошибочные? К вопросу об истине можно ведь относиться и на манер Понтия Пилата. Зато нельзя отказать операциям Шкловского в известной последовательности. Едва ли не большинство оригинальных и неоригинальных суждений Шкловского строятся на фиктивных предложениях. Механизм их такой: допустим, что именитый акын может предсказать длительность войны, что писатель Тынянов, друг Шкловского, обладал умением возвращать души мертвых к сознанию, а простые русские люди склонны аргументировать Маккавееми и т. д. и т. д. (про всё это можно прочитать во «Встречах»). При таких допущениях, отправляясь от них, как от доказанного и безусловно достоверного, можно вести нескончаемые рассуждения до глубокой ночи, что Шкловский и делает. Тогда все на потребу: любое сопоставление, сравнение, любое имя, и авторитетное и «простонародное». В итоге обязательно что-то и как будто получится. Тут большой престор для софизмов и разных — психологических и формально логических — уловок. Мышление по принципу «как будто бы» напоминает игру, претендующую на какое-то принципиальное значение. А между тем оно ничего не выражает, кроме домыслов мышлящего субъекта. Впрочем, оно отражает полную оторванность субъекта мышления от бытия. О формализме в нашей критике как-то забыли, а он существует. Только теперь он выходит на прогулку без манифестов и деклараций. Он стал очень невинным с виду.

Мы видели, какие операции проделывает Шкловский с авторитетным именем академика Павлова. В случае с академиком Капицей Шкловский поступает несколько по-другому. Ему надо доказать, что литература наша движется по неправильному пути, стремясь описывать «всю правду», «как было» и т. п. Надо жизнь изображать «по чертежу подвига», настаивает Шкловский, не замечая при этом, что между этими углами зрения нет принципиального противоречия, что можно и должно описывать «всю правду» по «чертежу подвига».

Новому взгляду на задачи и метод литературы научили Шкловского, оказывается, не наш литературный процесс и не вся советская культура, с ее идеологией правды и подвига, а впервые научил его этому разговор русского физика Капицы с лордом Резерфордом. Из этого разговора автор «Встреч» сделал вывод, что не стоит давать «живой образ» человека, а надо дать «работу, усилия мысли, восторг, и трудности открытия», тогда-то и получится образ человека-героя. Интересное это суждение Шкловский провозглашает как целое открытие, о котором он впервые только что услышал. Шкловский хитрит. Делая вид, что известное как будто все еще неизвестно, Шкловский не удерживается, чтобы в связи с этим не выдвинуть свой лозунг об «инженерах богатых»

ских душ» — вместо человеческих душ. Здесь особенно наглядно можно видеть неумение или нежелание Шкловского мыслить правильно, диалектически. Разве не ясно, что высокие понятия богатырских душ и подвига входят оба вместе в более широкое и неизмеримо более глубокое социалистическое понятие человеческих душ? Поспешно обобщив частный, не типический случай из творческой биографии крупного советского ученого, Шкловский строит на нем здание уже воздвигнутое. Люди, которые с таким жаром хватаются за любые авторитеты: чтобы ссылкой на них подпереть свое неустойчивое сознание, в сущности, рады, что могут пустить в ход чужой рассудок и чужую пронидательность. Привычку Шкловского с жаром прибегать к специально подобранным софизмам трудно не заметить. Трудно не заметить и того, как он заставил всех своих собеседников говорить его языком, в его манере. Все говорят по Шкловскому! А он говорит за всех! «Капица любит те места, где теория шагается и через нее просвечивается новая мысль, сперва выглядывающая как упрек, сквозняк или насмешка». Фразе нельзя отказать в оригинальности, но в применении к любимому конюшку Шкловского — его разговорам о литературе. — она лишь частично верна: до упрека его «новым мыслям» ой как еще далеко, насмешка не получается, а вот сквозняк, действительно, дует очень заметно.

Можно по-разному доказывать: сосредоточенно и бесформенно. Шкловский склонен ко второму. Бесформенно он доказывает тогда, когда сама мысль ему неясна. Поговорим, значит, «еще раз о любви и славе», предвещает Шкловский. За этим следует ряд афористических затейливых силлогизмов. Во-первых, мы узнаем, что любовь шеголей — «короткое замыкание», а во-вторых: «любовь Дантеса была пантомимой». Единственно возможный вывод отсюда, что короткое замыкание подобно пантомиме, ибо Дантес, по самому смыслу текста, принадлежит к разряду шеголей. От короткого замыкания случается пожар, но вот вопрос: возможен ли пожар любви в душе шеголя, следовательно, и в пантомиме? Иное дело — любовь Маяковского: он «от ревности зверем чувствовал себя» (повторяется Шкловский!), а когда любовь у него исчерпалась и путь к любви через ад и чистилище не привел его «ни к кому», то «поэт остался в опустошенной вселенной». Заметьте: не человек опустошился, а вселенная. Без сопоставления с Дантесом почему-то образ Маяковского для Шкловского не полон, нереален. Как будто Дантес был сам поэт, а не враг поэта. Но, повидимому, мысль идет так: пантомиме противопоставляется трагедия. А возможно, что мысль забирает куда-то и в сторону... Читатель, таким образом, все время вынужден заполнять пропуски в том необычном вещании, которое известно под именем стиля Шкловского. Продолжим, однако. Что такое Дантес без Николая? Чистая случайность, ничтожество. Поэтом к трагедии любви Мая-

ковского Шкловский добавляет справку, что «анонимка, полученная Пушкиным, связывала Натали не с Дантесом, а с Николаем». Следовательно, дело не в Дантесе, а в Николае. Но по какому тогда резону вслед за этим высказывает фразу, что «Дантес враг любви поэта»? Непонятно. Чем ближе у Шкловского к концу, тем все темней. Все же Николай, конечно, упомянут не без причины. Повидимому, у Маяковского был свой Николай!? Без этого допущения всё о Маяковском в очерке «Встречи с Суворовым в книгах» летит в тартарары. Загадал Шкловский ребус, а читатель изволь разгадывать. Не напрасный ли труд? Признаться такая мысль подкрадывается к нам. Может быть, Шкловский просто приготовил свежий материал ошибочных суждений для нового учебника логики? Ибо старый пример нераскрытой, а может быть и отсутствующей логической связи: «у нас скоро прибавится верующих людей, потому что в Бразилии вчера было наводнение», — теперь явно устарел. Но что-то подобное надо все-таки сочинить. Вот Шкловский и сочинил целую пачку примеров.

Если читатель — человек доверчивый, но мыслящий не наперегонки, а обстоятельно, то фокусники мысли обязательно постараются ошарашить его. Говорят они очень быстро, выражают мысли в необычайной форме, мгновенно перескакивая с одного предмета на другой. Затем, не дав опомниться, победоносно делают вывод, который им желателен, и ставят точку. Вопрос решен. Этот способ рассуждения широко представлен в книгах Шкловского. Раз установлено, что покойный писатель Гайдар погиб смертью храбрых и написал за свою жизнь несколько любимых читателями книг, одна лучше другой, а также установлено и то, что в приднепровских лесах стоит дуб, который «держит в охапке ветер», то, следовательно, «Гайдар до сих пор был стать великим русским писателем»... И опять какую-то неловкость чувствуешь, читая эти строки. Речь ведь идет о талантливом писателе. Не умеет Шкловский писать и о живых и об отошедших (Павлов, Кунин, Гайдар).

Умер Юрий Тынянов, автор «Кюкля», «Поручика Кижке», и Шкловский написал о нем некролог. Странное впечатление остается от этого маленького произведения, не то автор старался создать новую форму некролога, ничем не отличающуюся от обычной, — чтобы тут решить очередную свою формалистскую литературную задачу, не то это психологический документ горя с прорывом в мистику. Скорей всего, и то и другое. Содержание очерка вполне «шкловское», т. е. преимущественно терминологическое. Начинает автор с ленинградского архитектурного пейзажа, переходящего потом в пейзаж пушкинского времени. Монотонно перечисляются один за другим цветные признаки пейзажа («желтизна», «краснота», «серота», «голубизна»), все эти цвета «одновременно разбединены и соединены» неярким воздухом. Красок много, но все они не светят на тусклой палитре писателя. Скульптурно-архитек-

турные детали городского пейзажа отмечены у Шкловского особым ракурсом восприятия, например, на Сенатской площади «без топота стоит тяжелый конь», на Александровской колонне «темный ангел благословляет город или клянется»... Таких нерешительных, с неопределенными жестами ангелов в мифологии не существует, но помиримся с таким восприятием писателя, находящегося под воздействием чар белой ночи. По ночному городу идут три друга и разговаривают о декабристах, Пушкине, государственности и дружбе народов. Все это лишь интродукция к ритмической инверсионной фразе: «На Ваганьковском кладбище над черным раздвоенным наклонившимся деревом песок лежал на снегу. Хоронили Тынянова»... Весь очерк составлен по принципу контрастов, скачков. Другого связующего звена в нем не найти. Строгому величественному пейзажу Ленинграда противопоставлен скромный московский кладбищенский пейзаж. Пушкину, который «мечтал написать книгу об овладении Камчаткой», противопоставлена больница в Сокольниках, где лежал умирающий Тынянов, писавший книгу о Пушкине. Повторяю: пропуски, недомолвки, пустоты, ямы и колдобины тут заполняются не автором, а читателем. Тынянов умер не в родном городе. Но война сблизила писателя, исторического романиста, с Москвой, потому что «монолог Чацкого сказан на пожарище войны», а известно, что еще «Байрон сравнивал пожар Москвы с пожаром революции». Вот так и тянется «расщепленная» нить смысла, обрывается, потом опять восстанавливается, вновь обрывается... Деятелям советской культуры известно, что смерть помешала Тынянову закончить свое главное произведение — книгу о Пушкине. Подвиг остался незавершенным. Не хуже других знает об этом Шкловский, друг, соратник, единомышленник покойного писателя, но рука его машинально чертит иное: «Он донес свою ношу», «романтист, ученый редактор — он донес тройную ношу». И далее новая смысловая загадка в некрологе: «Болезнь долго шла за ним, потом рядом с ним. Потом впереди него», — после чего человек умер. Болезнь, выходит, прошла мимо, ушла вперед и все же победила. Как же это так, что за таинственная такая болезнь? С каждой новой строкой некролог делается все более таинственным, пока не наступает кульминация. На последнем свидании больной писатель «выплывал из тумана полузабытья», и Шкловский тогда услышал, как «золотом ритма сохраненные цитаты потекли в старой манере старинного тыняновского чтения». Вспомнивая любимые образы Платова, Дорохова, Пушкина, Кутузова, — Тынянов, надо полагать, говорил со Шкловским привычным для него, историка, языком документов и цитат. «Старую манеру» и следовало бы понимать в этом смысле. Но значит ли это, что Тынянов обладал особой способностью старинного чтения? Из слов Шкловского вытекает, что его друг будто бы жил и творил в какую-то древ-

нюю эпоху, что явно противоречит фактам. «Старинное тыняновское чтение» — что это такое? Так выражаются обычно о бардах, Гомере, Бояне. Как-то походя, вдруг, производится Шкловским замена одного понятия другим. В результате писательский облик Тынянова уплывает в какую-то туманную даль, получает несвойственные ему черты легенды, старины. И другое впечатление возникает: друг знает о своем товарище что-то такое особенное, но выговорить не хочет. Поэтому не неожиданностью является заключающая всю эту таинственность тирада Шкловского: «Друг возвращался. Так Одиссей у порога гадеса возвращал души мертвых к сознанию, дав отведать душам священной жертвенной крови»... Это называется возвращением из тумана полузабытья! А не кажется ли, что здесь сам Шкловский уходит в туман полузабытья? Однако поверим ему, а не своему впечатлению. Но в таком случае, хочется услышать от автора, какими средствами покойный писатель воскрешал образы тех, о ком он говорил? Только посвященные в фразеологическую мистику Шкловского в состоянии быстро уловить sacramентальный смысл его «священной жертвенной крови». Простые смертные могут только после больших усилий догадаться, что жертвенная кровь эта — кровь народа, проливаемая в борьбе с врагами; это Тынянов и возвращал души умерших героев 1812 года к познанию нашего времени... Этим странным способом устанавливает Шкловский связь времен и поколений.

Зато он пишет только «о главном!» Пусть читатель не посуетет за разыскания наши в области сверхчувственного, потому что за видимой бессмыслицей Шкловского всегда скрывается не очень видимый смысл. Мы его, как могли, и вывели наружу. С формальной же стороны подобное некрологическое «новаторство» Шкловского рассчитано на создание особого впечатления от траурной торжественности. В очерке дважды подчеркивается, что Тынянова похоронили под черным деревом и что лежит он «на снежной палубе», где ствол дерева «наклонен, как рея». Сравнения и эпитеты эти должны, повидимому, означать, что одиссеева душа писателя отныне находится в загробном плавании. Свою торжественную мессу Шкловский заканчивает ничем не подтвержденной им в некрологе уверенностью, что читатель оценит «подвиг» Тынянова и после войны придет на его могилу: «Он тебе все доскажет, донес свою ношу».

В чем заключался этот подвиг, в некрологе об этом ни слова. По некоторым намекам можно все же догадаться, что Тынянов положил один из краеугольных камней в основание нашей литературы. Слова в очерке висят на тончайшей паутинке смысла, а возможно, что и не висят, упали. У Шекспира есть такое место: «Его рассуждения точно два зерна пшеницы, спрятанные в двух мерах соломы, чтобы найти их, нужно долго искать, и, наконец, оказывается, что они не стоили поисков» («Венецианский купец», д. 1-е). На самый главный вопрос: в чем своеобразие тыняновского творчества — некролог

не отвечает. Черновая запись, сделанная под свежим впечатлением смерти, пущена для всеобщего ознакомления...

★

Есть в книге и другие встречи и разлуки. Чем проще собеседник, тем членораздельнее слог Шкловского. Это, разумеется, хорошо. Но печать книжности, номинализма лежит на всех без исключения рассказах книги. Степень убежденности автора в своих словах не всегда пропорциональна количеству затраченной им на них умственной энергии. Мгновенные, рассеянные мысли немедленно заносятся на бумагу. Книга готова. Сто тысяч книг таких проносятся в голове человека за многие годы жизни. Мы имеем в виду тут не содержание, а методологию составления их. Надо дать только волю себе и найти издателя-доброхота. Бывает, что обилие терминов, цитат, скачущие фразы могут действовать гипнотизирующе и на того, кто их выписывает. Так порой литератор, загипнотизированный магией словопроизношения, теряет способность рассуждать. Он начинает жить в атмосфере им самим созданных мнимостей, совершая вечный бег на месте.

Поэтому так трудно «спорить» со Шкловским. Он публицист, а аргументирует фикциями. Мышление и бытие стоят у него в разных рядах. Композиция «Встреч» и других книг Шкловского рубленая, нестройная, хаотическая. Хронологические сдвиги составляют истинную ее природу. Мысль не развивается последовательно, во времени. Поэтому с такой легкостью Шкловский «вспоминает» небывшее и «заглядывает» вперед. Жизни, которая непосредственно окружает его, он почти не ощущает. Современность, как только он к ней прикасается, сразу как-то высыхает. А знания выступают обмелевшими. В рассказах, очерках, эссеистских опытах Шкловского нет движения, действия. — одни наименования: «разлуки и

потери, и короткие встречи, и дальние дороги»... Он все время как бы гадает над современностью, — этот странный прохожий, как будто бездомный. Вокруг огромный дом — вся страна, а он околдован одним: переходная де эпоха... К своим именам сущевительным, признается Шкловский, «я не подобрал еще глагола». Очень важное признание.

В заранее написанном Шкловским посвящении к своей книге приложен ключ для уразумения его творческой манеры, его метода мышления. Он пишет: «История произносит большую фразу. Я записываю эту фразу, как машинистка под диктовку»... И в самом деле черки Шкловского напоминают по внешнему виду записи под диктовку. Но если бы это было так! Сколько мы тогда узнали бы ценного из первоисточника! Шкловский совсем не похож на послушного ученика или беспристрастного летописца. Он пунктиром записывает самого себя. В призмe его воображения история преломляется так, как ему желательно. По книгам Шкловского действительности не познаешь. «И только сейчас, — продолжает тот, кто будто бы записывает, — я узнаю, как построена фраза, и понимаю все собственные имена, и начинаю догадываться, как завершится мысль». Скромность эта обманчива. Все фразы Шкловского в высшей степени категоричны, видно, что он обо всем уже «догадался» и чувствует себя вполне созревшим для провозглашения истин. Он себя чувствует равным истории. Неверно и другое его признание, что «я еще ничего не могу договорить». Он все договаривает, включительно до всякого рода «неверных полуправд» и отрицания объективной реальности. Ему изменяет логический такт, необходимый для образования реальных понятий и образов, а изменяет он потому, что логика применяется неправильно, по принципу крайнего, граничащего с выформатыванием импрессионизма, по пресловутому принципу «экономии мышления», который ведет к расточительству. Энергия рассеивается попусту.

# КИНОДРАМАТУРГИЯ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

И. АСТАХОВ

★

С тех пор, как немой кинематограф уступил место звуковому, кинодраматургия обрела новые свойства, возводящие ее на степень подлинного искусства слова. Начиная с 1933 — 1934 гг., т. е. с момента появления первых звуковых фильмов в нашей стране, мы наблюдали процесс, в результате которого произошел знаменательный переход от сценария, считавшегося только поводом к постановке фильма, к сценарию, ставшему идейно-художественной основой фильма.

Образ немого кино не имел живого словесного комментария. Он был безъязыким. Сценарий немого фильма, лишенный диалога, намечал лишь общую сюжетную линию движения персонажа. Немой фильм развертывал перед нами действие, целиком поглощавшее внимание зрителя своей подчеркнутой динамикой. Даже лучшие немые фильмы вроде «Броненосца Потемкина», «Закройщика из Торжка», и «Красных дьяволят» ставились по сценариям, литературные достоинства которых были весьма скромными.

Сценарий звукового фильма помимо сюжетных и драматических сторон должен обладать диалогом, соответствующим высоким художественно-эстетическим требованиям.

Такой сценарий заключает в себе диалогический характер пьесы и повествовательные приемы рассказа или романа, взятые в специфически кинематографическом выражении.

Представление о сценарии как о простой, легкой доступной форме литературы за последние годы основательно пошатнулось. Это представление родилось в эпоху немого кинематографа, когда многие сценарии писались в несколько приемов по очень простым рецептам. До нас дошел в качестве анекдота рассказ, согласно которому сценарии немых фильмов иногда записывались самими режиссерами на манжете и в течение нескольких дней осуществлялись производством. Это благословенное

время сценарного «легкописания» навсегда кануло в вечность.

С момента возникновения звуковых фильмов прошло десять с лишним лет. За это время советское киноискусство и кинодраматургия прошли большой путь. На этом пути имеется ряд блестящих достижений. К ним относятся: «Чапаев», «Депутат Балтики», трилогия о Максиме, «Великий гражданин», «Щорс», «Ленин в 18 году», «Большая жизнь» и др.

Занимая особое место между драматическими и повествовательными формами литературы, сценарий звукового художественного фильма образует новый род словесного искусства, имеющий все основания на полноправное, самостоятельное существование.

В чем заключается специфика сценарной формы?

В предельной сжатости и лаконизме диалога и сюжетного выражения.

Кинодраматург должен обладать высоким профессиональным умением, чтобы уложить в прокрустово ложе полуторачасового кино-сеанса всю совокупность драматургических элементов. Обычное драматическое действие, развивающееся на театральной сцене в более или менее спокойном темпе, в кинофильме должно получить более стремительное движение. Это достигается отысканием в драматургии пьесы новых сюжетных поворотов и удалением из нее ряда таких элементов, которые не заключают в себе кинематографических возможностей.

Подробный и, как правило, «затянутый» диалог театральной пьесы претерпевает существенную метаморфозу в кинодраматургическом произведении в результате которой он обретает предельный лаконизм.

Произведения киноискусства получили исключительно широкое распространение в народных массах. Если учесть высокую степень развития киноискусства, станет ясно, что драматургия

звукового кино за истекшее десятилетие должна обрести высокие профессиональные традиции.

Наряду с популярнейшими произведениями кино, за последние три-четыре года создано немало сценариев, которые обладают качествами, не возвышающимися над средним уровнем кинематографических и художественных требований. Однако подавляющее большинство таких сценариев не дошло до экрана. Кинопроизводство, стремясь удовлетворить возросшие требования зрителя, все более настойчиво и властно требует высокого художественного и профессионального мастерства.

Некоторые кинодраматурги и режиссеры в начале войны думали, что военная обстановка дает им право при создании так называемых актуальных произведений исходить из пониженных художественных и профессиональных критериев.

Однако наши зрители, представляющие многомиллионную массу трудового народа, сумевшего в нелегчайших условиях военного времени работать лучше и производительнее, нежели в мирное время, предъявили всем видам искусства такие же высокие требования.

Для большинства произведений кинодраматургии, созданных и осуществленных производством в 1944 году, характерна одна особенность: преодоление схематизма в изображении героя военного времени. Это в равной мере относится к сценариям, посвященным собственно военным темам, и к сценариям о военном тыле.

Наши кинодраматурги отдали известную дань той самой абстрактной трактовке героя военного времени, которая с давних пор получила название схематической. Чтобы получить об этом конкретное представление, достаточно вспомнить боевые киноальбомы, выпущенные в большом количестве на экран в 1941 и 1942 годах. Эти сборники, как правило, составлялись из двух, трех или четырех новелл, каждая из которых воспроизводила какой-нибудь эпизод военной, тыловой, партизанской или международной борьбы. Эти сборники не имели отдельных названий. Входящие в них киноновеллы нередко соединялись друг с другом без всякой органической связи. Большинство наших зрителей и среди них даже самые горячие поклонники кино окажутся в большом затруднении, если их попросить назвать хотя бы несколько героев этих сборников. Их трудно вспомнить, потому что они не имеют своего лица, своего характера. Многие, конечно, легко назовут храброго солдата Швейка, ловко одурачивающего современных немцев, но назовут не потому, что это подлинный герой современной войны, а потому, что этот образ напоминает героя известного романа Хашека.

В этих сборниках советские герои наделены чертами абстрактности и схематизма. Наши драматурги и режиссеры в то время имели слишком общее представление о людях и событиях войны.

Самый факт прекращения дальнейшей работы над этими сборниками, сыгравшими безусловно положительную роль, как средство на-

глядной военно-политической агитации, явился красноречивым свидетельством того, что данная форма полностью себя исчерпала, что абстрактным, схематическим трактовкам событий и героев военного времени вынесен решительный приговор.

Новым шагом в разработке военной темы явились сценарии и фильмы типа «Секретарь Райкома», «Она защищает родину», «Во имя родины». Эти произведения при своем появлении на свет получили известное признание. В них наши драматурги, режиссеры и актеры пытались создать живые образы людей военного времени.

В «Секретаре Райкома» впервые намечен образ партийного работника (Степан Кочет), волею войны ставшего во главе партизанского отряда. Степан Кочет — человек волевой и энергичный, однако в его облике очень мало индивидуальных черт. В сценарии «Во имя родины» в некоторых персонажах (Глоба, Валя, Марфа) намечены живые черты характеров советских людей. Это попытка художника заглянуть в душу наших героев. В «Партизанах в степях Украины» авторы, намереваясь сделать тот же шаг, разочаровали отсутствием живых характеров. Дед, побеждающий немцев одной только песней и двумя гранатами, в гораздо большей мере — порождение фантазии, чем реальной жизни.

При несомненных достоинствах названные произведения сильно проигрывают из-за односторонности и неполноты изображения основных характеров.

Недостатками подобного рода грешит сценарий «Фронт» Корнейчука. Это произведение, смело и резко обличающее недостатки и пороки консервативных военачальников типа Горлова старшего, отличается публицистической трактовкой темы. Автор попытался наделить более или менее определенными чертами характера только командующего фронтом Горлова. Многие другие фигуры олицетворяют какую-нибудь одну отрицательную черту: Хрипун — подхалимство, Крикун — болтливость и т. д.

Однако в этом произведении, наряду с галереей негативных персонажей, автором сделана первая смелая попытка представить образ полководца нового типа. В Огневе при всей однолинейности его обрисовки видна линия творчески поисков подлинного героя военного времени. Сходный образ можно увидеть в самом крупном сценарии 1944 г. «Генерал Армии». Между Огневым Корнейчука и Муравьевым Чиркова существует заметная связь. Однако это не подражание. Чирсков показал в образе Муравьева полководца несравненно шире, ярче, глубже Огнева. Ему присуща спокойная рассудительность и твердая решимость. Муравьев — человек высокой культуры и профессиональной выучки. Это человек властный, пожалуй, в такой же мере, как и Горлов. Однако его власть подчинена не личной амбиции, а совершенно деловым целям, к достижению которых Муравьев готовит всех подчиненных ему военачальников спокойно и

уверенно. Муравьев — крупный полководец, понимающий силу военного мастерства.

Огнев доказал свое превосходство перед Горловым на решении одной операции в масштабах боевой дивизии. Муравьев выходит победителем на огромном и ответственнейшем фронте, подобном сталинградскому.

Точный расчет, разумный риск, инициатива, творческое решение военно-тактических вопросов — таковы основные черты Муравьева, этого талантливого полководца сталинской школы.

Чирскову удалось найти много верных характерных черт в обрисовке современного героя, каким является полководец Великой Отечественной войны.

Разумеется, образ командующего фронтом Муравьева далек от всеобъемлющей полноты и законченности, однако в нем легко увидеть ряд верно схваченных портретных черт наших выдающихся современников, умножающих блеск и славу русского оружия.

Касаюсь в этой статье только одного вопроса, а именно вопроса создания образа героя военного времени, мы считаем необходимым подчеркнуть, что в этом произведении ярко отразилось преодоление однолинейности, характерной для многих сценариев, созданных за последние годы.

К их числу относятся сценарий К. Симонова «Дни и ночи», посвященный сталинградской битве. Автор «Дней и ночей» избрал главным героем своего произведения рядового человека. Известно, что Симонов предпочитает так называемых простых и рядовых людей героям избранным и исключительным. Это его творческая манера. Он и на исключительные события сталинградской битвы старается смотреть как на явления военной обыденности. Автор много уделяет внимания судьбе капитана Сабурова, проходящего через все перипетии сталинградской битвы в течение семидесяти дней. Однако мы не выносим впечатления законченного характера. Это происходит не потому, что у автора недостаточно было материала, и не потому, что структура произведения не позволяла автору показать со всей полнотой и законченностью характер героя, а потому, что автор, как нам кажется, не мастер рисовать характеры. Даже подробно рассказанный роман Сабурова с фронтовой девушкой не спасает положения. Мы видим много подробностей, но не улавливаем живого характера.

Та же тема, на том же сталинградском материале в сценарии Вирта «Есть на Волге утес» решена совершенно по-другому. Вирта удалось создать яркий, запоминающийся образ русского солдата Астапова, наделенного живыми индивидуальными чертами. В Астапове мы узнаем многих и многих советских бойцов, грудью отстоявших волжскую твердыню. Вирта создал довольно яркие фигуры Ветюшкина и Пети, входящих в гарнизон «Ролика», и некоторые другие запоминающиеся образы советских солдат и офицеров (Рудников, Фролов).

Из четырех сценариев посвященных героям военно-морских событий — «Малахов Курган», «Бастион на Балтике», «Я — черноморец» и «Русский матрос Никулин», наиболее слабая разработка характеров в сценарии Войтехова, Зархи и Хейфцига «Малахов Курган». Здесь преобладает принцип хроникального, а не художественного раскрытия людей и событий. Здесь нет человеческих судеб и биографий, в качестве героя здесь выступают сами события бессмертной эпопеи обороны героического города.

Хроникальное сцепление событий и крайне скупая обрисовка характеров присущи и сценарию Штейна «Бастион на Балтике». Автор наделил каждого из своих персонажей, моряков с крейсера «Кронштадт», обороняющих Ленинград в тяжелые дни осени 1941 и весны 1942 года, какой-нибудь одной чертой. Внутренний мир людей раскрыт слабо. Недостаток в обрисовке характеров автор старается окупить драматизмом развивающихся событий.

На примере сценариев «Дни и ночи», «Малахов Курган», «Бастион на Балтике» легко заметить одну особенность, присущую различным авторам: беря животрепещущие, волнующие события Великой Отечественной войны, они не стремятся к глубокой и всесторонней разработке характеров своих персонажей, руководясь уверенностью, что для зрителя вполне достаточно волнующих событий. Мы должны, однако, сказать, что попытка увлечь нас волнующими событиями современности отнюдь не равноценна глубокому изображению человеческих характеров. События, как известно, может фиксировать любая хроника, создавать же человеческие характеры способен только искусство.

Л. Соловьев, находившийся, как и Симонов, долгое время на фронтах Отечественной войны, написал о героических подвигах моряков черноморского флота две повести, а на их основе два сценария: «Я — черноморец» и «Русский матрос Никулин». В основу этих сценариев положены факты, непосредственные наблюдения и рассказы приморских жителей, слышанные автором. В своих произведениях автор стремился запечатлеть не только и не столько волнующие события и приключения, через которые прошли его герои: сколько самих героев, внутренний мир смелых и храбрых людей, о которых народ уже начал слагать увлекательные легенды.

В сценарии «Я — черноморец» показан сильный и гордый человек, потомственный моряк, бесстрашный севабтопонец — Степан Полосухин. По приказу командования Степан попадает в оккупированную немцами Феодосию с поручением к командиру партизанского отряда. Немцы лютят Полосухина, жестокими пытками хотят добиться от него признаний, и после тщетных попыток решают Степана повесить. В ночь казни наши десантники, высадившиеся в городе, спасают героя от гибели и отправляются вместе с ним на боевую операцию.

Разрабатывая этот несложный сюжет, Л. Соловьев стремился прежде всего к раскрытию

внутреннего мира сильного, непреклонного в достижении своей цели человека. Не события сами по себе, а герой этих событий интересовал автора. Соловьеву удалось создать колоритный образ русского матроса, удалого, сильного, смелого, непреклонного, чистого и честного душой, беззаветно преданного родине, свято чтящего боевые традиции славных русских моряков.

Не вина Соловьева, что в фильме, поставленном режиссером Мачеретом по этому сценарию, образ Полосухина сделан плоским, грубо, не интересно. Режиссер и актер оказались бессильными воплотить этот колоритный образ. На экране зрители увидели фигуру, которая вызывает не чувство восхищения, не желание подражать рыцарю моря, а какого-то увальня, угловатого и неловкого. Героиню сценария, замечательную советскую девушку Веру, ярко написанную автором сценария, в фильме постигла та же участь. Ее не узнать. Чтобы получить подлинное представление о сценарии и его героях, нужно смотреть не фильм Мачерета, а прочитать сценарий Л. Соловьева.

Сценарий «Русский матрос Никулин» раскрывает перед нами серию героических подвигов черноморских моряков во главе с легендарным минером Иваном Никулиным.

Герои этого произведения. — это люди гордые, смелые, храбрые, самоотверженные. Гордятся они своей «морской душой», впитавшей в себя вековые традиции героев русского флота. Это люди, соединившие удачу и смелость со «службой». Любуясь своими героями, автор восклицает: «До чего же это хорошо, когда люди знают смелость в себе имеют и службу знают».

Немцы боятся русских моряков, называя их «черными дьяволами». Сценарий начинается типическим эпизодом Отечественной войны: внезапным налетом фашистского десанта на эшелон с больными, ранеными и мирным населением — налетом, отбитым горсточкой безоружных раненых краснофлотцев. Выйдя победителями из неравного боя, моряки, соединившись с красноармейцами и добровольцами из гражданского населения, образовали крепкий отряд, совершивший ряд блестящих операций в тылу у немцев.

Самым ярким выразителем «морской души», наиболее описанной автором, является Иван Никулин. В его характере мы находим не только черты гордого, смелого, храброго человека. Одна из самых выразительных черт его характера — веселость, не покидающая его в самые тяжелые минуты. В этой русской веселости мы легко угадываем ту самую стойкость души, которая оказывается крепче камня и железа в огне испытаний, мягче воска — в проявлениях любви и дружбы.

Никулин — характер яркий и оригинальный. Трудно сказать, что его может роднить с лейтенантом Стрельцовым из «Неба Москвы», отважно сбивающим большое количество самолетов. Кроме абстрактной отваги мы ничего, к сожалению, не узнаем о характере Стрельцова.

Слишком мало в нем запоминающихся, индивидуальных особенностей. В капитане Жаворонкове из сценария «Март-апрель» резко выделяется черта нежной заботливости, завуалированной нарочито грубоватым отношением к девушке. Образ капитана Жаворонкова только немного ярче обрисован, нежели герой сценария «Небо Москвы». Обаятельный образ стойкого советского офицера, выведенный В. Кожвинковым в его интересной повести, Рожков огрубил в своем сценарии, как ремесленник.

В дополнение к характеристике этой группы сценариев нам остается еще сказать о «Двух бойцах» в том же виде, как они выразились в сценарии Габриловича и фильме Лукова.

«Два бойца» — киноповесть о фронтовой дружбе двух бойцов — Саша с Уралмаша и одессита Аркадия. В литературной повести Л. Славина, на основе которой написан сценарий, отношения бойцов показаны значительно правдоподобнее и мягче. В сценарии и фильме эти отношения огрублены. Саша с Уралмаша, надменный задушевностью, чувством товарищества, своеобразной застенчивостью и робостью, вместе с тем — крайне угловатый и недалекий парень, о котором каждый может сказать: какой увальня! Перед знакомой девушкой он теряется до такой степени, что не может высказать свои чувства. Во всех таких трудных случаях его выручает бойкий одессит. В компании боевых товарищей он первый, язык у него острый, как бритва, присказки и прибаутки легко слетают с его уст. Одесит находчив, подвижен, верток и уж конечно, ни перед кем не растеряется — перед девушкой тем более. Он может объясниться с кем угодно и как угодно, при чем объясниться не только за себя, но и за Сашу.

Саша с Уралмаша в сопоставлении с одесситом во всем проигрывает. Все это может быть в жизни. Есть такие одесситы, которые могут заткнуть за пояс не одного увальня, вроде Саша. Но почему этот Саша свое происхождение ведет с Уралмаша — остается непонятным. Ни одной типичной черты уральского рабочего в нем нет.

Аркадий изъясняется на своем одесском жаргоне, поет полублатные песенки — все это, действительно, создает так называемый одесский колорит. Однако в Саше с Уралмаша мы не найдем ни одной типичной уральской запоминаемой черты. Саша с Уралмаша — фигура надуманная, и назначение этой фигуры состоит в том, чтобы на ее неловкости и неповоротливости дать возможность Аркадию наилучшим образом обыграть свое неповторимое одесское превосходство.

Говоря об изображении характеров героев Великой Отечественной войны, мы коснулись более десяти произведений. Все они явствуют о том, что наши кинодраматурги, несмотря на известные успехи, достигли сравнительно скромных результатов, что в произведениях, написанных и поставленных, односторонность и надуманность все еще частые гости, что



реальные герои войны неизмеримо ярче, глубже и богаче, нежели в наших кинематографических интерпретациях, что многие авторы все еще находят в власти литературного шаблона и обнаруживают недостаточное внимание к бесконечно яркой и многообразной жизни. Этот недостаток станет особенно значительным, если помнишь, что мы переживаем неповторимое время, отмеченное массовым героизмом.

Разъяренные гитлеровцы повесили семнадцатилетнюю русскую девушку, ничего от нее не добившись, не узнав даже ее имени. Ей прижигали грудь и лицо, полураздетую гоняли босиком по снегу, били прикладом и палкой. Перед повешением Зоя сказала: «Наши придут. Сталин на посту».

Ариштам и Чирсков в сценарии «Зоя» с документальной точностью стремились воссоздать то, что сделало русскую девушку твердой, как сталь, как гранит. В образе Зои, запечатленной на экране, мир увидел не человека-гиганта, не колоссальную по внешности фигуру, а простую, обыкновенную русскую девушку, творящую то, что современный мир называет чудом. Зоя — чудо, Матросов — чудо, Гастелло — чудо, панфиловцы — чудо. Но это — рядовые советские люди, о которых до войны никто ничего не знал. Это — сыны и дочери советского народа, занимавшиеся мирным трудом. Они никому и ничем не угрожали. Враг, напярнувший на нашу страну, заставил этих людей взять в свои руки оружие, чтобы защитить свою родину, свой народ от истребления и рабства. Дух человечности и свободы столкнулся с миром кровавых злодеев, убийц и палачей. Человечество увидело в массовом героизме советских людей прообраз великого прекрасного будущего и непобедимого настоящего.

Зоя Ариштам и Чирского прежде всего типична как явление советской формации.

В сценарии и фильме мы видим вполне обыкновенную девочку в разные периоды ее жизни. Вот Зоя ребенок. Ей два года. Она растет, как и всякий другой советский ребенок, привыкая к самостоятельности с ранних лет. Зое 4 года, 6 лет, десять, пятнадцать. Зоя пионерка. Зоя комсомолка. Зоя в школе. В годы, когда подрастала Зоя, советская страна строила гигантские заводы, электростанции, совершались бесперсодочные перелеты через северный полюс и полеты в стратосферу. Зою формировала советская семья, школа, пионерия, комсомол. Учителя зажгли в ее сердце неугасимый огонь любви к героям прошлого и настоящего.

Зоя хотела узнать от матери, что такое героин, и мать ответила: «Герой — тот, кто всегда смел. Кто не боится даже умереть, чтобы сделать других счастливыми».

Зоя любит свою родину. Уходя на фронт, она записывает в своем дневнике: «Мы всю жизнь думали о том, что же такое счастье. Теперь я знаю: счастье — это быть бесстрашным бойцом за нашу страну, за мою Родину, за Сталина».

Зоя стала бойцом, героем, потрясшим мир своим подвигом.

О фашистах Зоя услышала впервые из уст учителя. Война столкнула Зою с живыми фашистами. Она встретила с ними, вооруженная смертной ненавистью, и погибла от их рук, как мученица.

Простой, почти наивный тон повествования придает сценарию и фильму особую убедительность.

И тем не менее образ Зои, сильный и волнующий, еще далек от художественной полноты и совершенства. Ни в годы детства, ни в годы юности не видим мы в облике Зои того, что делает ее непохожей на других. Авторы не нашли тех точных и неповторимых особенностей, которые создают живой характер, человеческую индивидуальность.

Героичность — общая черта положительных персонажей наших сценариев. Но не всегда авторы умеют воспроизвести глубину и величие этого героя.

Недорисованность положительных персонажей характерна для сценария «Нашествие», созданного Б. Чирсковым по одноименной пьесе Л. Леонова. И доктор Таланов и его жена Анна и подпольщик Колесников — выписаны авторами слабо, бедно. Они отличаются друг от друга только разной степенью смелости. Особенно это сказалось в образе коммуниста Колесникова. Колесников, подпольщик с помощью Таланова, являет собою тип подпольщика, тайно орудуящего под самым носом у немцев. Это человек большой отваги и смелости. Он хорошо знает, что такое немцы, поэтому лучше других умеет их ненавидеть и бороться с ними. Сказать же, однако, какими неповторимыми чертами наделили авторы своего героя, мы не можем. Авторы не нашли этих красок. Образ Колесникова запоминается слабо. Что мы о нем узнаем? Только то, что он был председателем горсовета, что он стоит во главе подпольной организации, что он ловко прячется от немцев, что, несмотря на ранение, он продолжает играть прежную роль.

Фигура Федора Таланова, сына врача, человека, запутавшегося в противоречиях собственной жизни, выписана автором ярче. Федор — отщепенец, постигающий науку ненависти к врагам родины медленно, но верно. Это человек, социальная неполноценность которого искупается его честной и самоотверженной смертью. Наказанный советским правосудием за убийство своей жены, Федор считал себя в соре с советским обществом и советской властью. Вернувшись при немцах, как бывший изгнанник, Федор воочию убеждается, что представляют собою немцы, пришедшие, чтобы расправиться с советской властью и советским народом. Но ярче всех выписана фигура Фаюнина, бывшего человека, яростного врага народа, предвещающего возможность реванша за свои, якобы, незаслуженные страдания.

Фаюнин накануне нашествия немцев играет роль нищего странника. При немцах он разво-

рачивается во всю ширь. Это — человек, жаждущий власти, наживы, восстановления утраченных прав. Это ничтожество, старающееся подняться из навозной кучи на вершину власти. Отряхнув прах «странничества», сбросив ветхие одежды, Фаюнин торжественно облачается в «старорежимный» фрак городского голы. Фаюнин в трепетном восторге. Он готовит торжественный ужин, чтобы отпраздновать реставрацию своей власти. Но все его градоначальнические мечты терпят неизбежное и полное крушение в связи с возвращением в город советской власти.

Лебюву и Чирскову удалось создать яркий, внутренне цельный и убедительный образ предателя, раскрыть его подлую натуру до конца.

В повести, сценарии и фильме «Радуга» самой яркой фигурой является Федосья, внешне спокойная, суровая и молчаливая. В каждом движении и взгляде этой женщины чувствуется глубокая ненависть к немцам. Федосья ненавидит Пусю еще более жгучей ненавистью, нежели немца Вернера, ибо в глазах Федосьи сожительство с врагом является самым страшным из всех смертных грехов. Поставленная немцами в положение рабыни, Федосья внутренне исполнена чувства человеческого достоинства и высочайшего нравственного превосходства над немцем. Фактически безвластная, она исполнена величайшей нравственной власти, моральной самостоятельности. Это тип непокорного человека, готового встретить любую грозу, любое испытание, не уступив врагу ни пяди своих духовных владений. Вера в победу над подлым и низким врагом глубоко запрятана в душе Федосьи, и эта вера вспыхивает ярким пламенем в момент возвращения Красной Армии.

Олена Костюк не сказала ни одного слова о местонахождении партизанского отряда, из которого она пришла в свою деревню, чтобы рожать ребенка. Схватив Олену, немцы подвергают ее лютым пыткам и истязаниям. Олена гибнет в страшных муках на глазах Федосьи, не проронив ни одного слова признания. Олена и Федосья — неподкупные, чистые душой советские люди. Таких, как Олена и Федосья, ничем не запугаешь, ничем не согнешь.

Авторы «Радуги» несмотря на известные натуралистические приемы, дали одно из самых глубоких противопоставлений советского человека и немца. Между ними пролегла непреодолимая пропасть, бездна. Противоположность и бесконечная враждебность духовного облика советского человека и немца представлены в этом произведении с неподражаемой силой. В этом и состоит основное достоинство «Радуги».

В «Непокоренных» Бориса Горбатова и М. Донского, как и в ряде других произведений, та же тема разработана в форме художественно-публицистической. Непосредственные, идущие от лица самого автора высказывания, естественно, помешали художественной полноте воспроизведения характеров. Поэтому говорить о них труднее. Следует, однако, сказать,

что образ старого донбасского рабочего Тараса намечен в «Непокоренных» весьма интересно.

Отступление нашей армии из Донбасса поставило перед людьми, не успевшими эвакуироваться, вопрос: как быть при немцах? Люди слабые и неустоячивые, доведенные нуждой, притеснениями и пытками до стчаяния, изменяли своей совести и убеждениям. Люди же, подобные Тарасу, продолжали стойко и неколебимо верить в неизбежную победу. Немцы, чинившие расправу над советскими людьми, не являлись подлинными хозяевами положения, хотя вся власть на оккупированной территории была в их руках. Им не удалось покорить души советских людей, продолжавших вести скрытую, глубоко заколдованную борьбу с оккупантами. Один из сыновей Тараса, Степан, скрываясь в глубоком подполье, незримо для врага путями осуществляет дело истинного патриота, собирающего и сплачивающего воедино души непокорных советских людей. Бывший секретарь Обкома партии Степан и при немцах оказывается в большей мере «хозяином» области, нежели оккупанты.

«Иные думают, как бы свою жизнь спасти, а надо бы думать, как спасти душу», — так говорит Тарас о себе и обо всех, кто остался под немцем. Тарас говорит о спасении души, разумеется, не в религиозном смысле. Речь идет о том, чтобы сохранить чистой и незапятнанной душу человека социалистического общества.

Горбатову удалось показать, что многообразные способы духовного растения, применявшиеся фашизмом, оказались безуспешными и почти бесплодными в столкновении с духовной силой подлинно советских людей.

«Русское чудо» есть продукт социалистического общества, и в его происхождении не играли роли никакие тайные причины. Непобедимый дух русских есть выражение идейной и нравственной силы социалистического общества, силы, о которую разбилась грандиозная, великолепно организованная машина фашистской Германии.

«Непокоренность» Тараса и Степана выражает непобедимость нашего народа. И самый процесс невидимого для врага собирания «непокоренных душ» Степаном представляется как процесс подпольного сплочения разрозненной, но непобедимой армии.

«Нашествие», «Непокоренные», «Зоя», «Радуга», «Русские люди» при всех недостатках художественно-эстетического порядка останутся, как документы эпохи, равной которой не знает вся история человечества.

Разгром военной машины гитлеровской Германии еще не означает уничтожения фашизма. Пока существует фашизм и созданная им идеология разбоя, безусловно существует опасность новой войны. Следовательно, как в военное, так и в послевоенное время передовые народы и передовое искусство должны стремиться к полному морально-политическому разгрому фашизма. Искусство, как государственный обвинитель, должно равоблачить перед всем миром

идейное, нравственное и политическое убеждение фашистской реакции. Обнажая внутреннюю, т. е. нравственную и идейную грязь фашизма, искусство поможет полному искоренению фашистской заразы, где бы и под какой бы личиной она не скрывалась. Человечество должно навсегда очистить земной шар от этой чудовищной нечисти.

В «Человеке № 217» М. Ромм и Е. Габрилович показывают нам внутренний уклад фашистского логова: быт и нравы современных немцев. Вместе с русскими людьми, насильственно угнанными в фашистскую Германию, мы переносимся в семью, созданную по последнему слову гитлеризма. Владелец бакалейной лавки и глава семьи Иоган Краусс, так же как и его дочь и его супруга, внешне напоминают тех самых добропорядочных немцев, которые, как известно, отличаются особенной аккуратностью и педантизмом. Герр Краусс и фрау Краусс заботятся о своей дочери и старательно подыскивают ей хорошего жениха. Они питают трогательные чувства к сыну Максусу, находящемуся на фронте. Жених Лотты — Гешке аккуратно посещает дом Крауссов, не забывая каждый раз выказать должное почтение к родителям невесты.

Квартира Крауссов пестрит многочисленными табличками с нравоучительными надписями, мудрыми изречениями.

Присмотритесь, однако к скрытым мотивам поведения каждого из членов этой семьи, и вы увидите, что вся эта тихая семейная идиллия представляет собою традиционный маскарад, прикрывающий низменные вождления тупых и алчных колбасников.

Оказывается, тайна материального преуспевания семьи Иогана Краусса заключается в присвоении собственности неарийцев. Иначе говоря, Краусс исподтишка участвует в ограблении евреев, ставших жертвами гитлеровского террора. Господин Гешке почтительно посещает дом Крауссов в расчете получить солидное приданое за Лоттой. Краусс долгое время мучит свою дочь и ее жениха, срывает их женитьбу, лживо уверяет ту и другого в том, что у него нет денег для приданого. Лотта и Гешке ненавидят Иогана Краусса, болящегося расстаться с награбленными капиталами.

Вернувшийся в отпуск эсэсовец Макс с pistolетом в руке требует у своего отца денег. Макс и его мрачный друг эсэсовец, Курт наста-

ивают, чтобы все сидящие за столом немедленно вставали и слушали стоя то, что говорят они, фронтовики.

Не добившись у отца денег, Макс Краусс и Курт срывают свое зло на ни в чем неповинных жертвах — русской девушке Тэне и ученом Сергее Ивановиче, которого принудили выполнять работу дворника и ассенизатора. Придумывая наиболее изощренные истязания беззащитных людей, Макс и Курт инсценируют расстрел. Чтобы отучить Сергея Ивановича от математических занятий, они забирают у него бумагу и карандаш, бьют по голове палками в расчете на то, что он лишится способности понимать формулы.

Шелудивые эсэсовцы Макс и Курт изощряются в истязании беззащитных людей, как профессиональные палачи. Этому их научили в гитлеровских кружках молодежи и специальных школах по убийству людей. Трудно говорить о моральном облике этих головорезов. Гитлер приучил их к мысли, что мораль, этика, совесть — химеры, от которых современный немец должен быть освобожден. И действительно, Макс и Курт, освободившись от этих химер, действуют, как люди без стыда, совести и чести.

Алчный Гешке и сухопарая Лотта думают только о том, как бы завладеть тем, что награбили их родители, а сами родители думают о том, как бы сбить с рук надоевшую им дочь без приданого.

Семья Крауссов — логово хищников. Это — современные немцы. Говорить о человечности немца — то же самое, что говорить о человечности гангстера или палача.

Советское киноискусство делает великое дело, показывая миру истинное лицо нынешнего вконец одичавшего и озверевшего немца.

«Человек № 217» повествует о том, как немцы превращают людей в бирки, как они издеваются над русскими женщинами и мужчинами.

Основное достоинство этого произведения состоит в том, что оно воспитывает жгучую ненависть к гитлеровцам.

Советское киноискусство, всегда игравшее видную роль в борьбе с фашизмом, является активной силой, участвующей в морально-политическом разгроме этого подлейшего врага прогрессивного человечества.

# БИБЛИОГРАФИЯ

## ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ В ЛИТЕРАТУРЕ\*



Воспоминания Н. Д. Телешова, старейшего писателя, свидетеля и участника литературной жизни России многих десятилетий, естественно, вызывают большой интерес. До сих пор были известны лишь фрагментарные мемуары Телешова, опубликованные в журнале «Красная новь» (1926 г.), в «Известиях» (1928 г.) и в книге «Все проходит», изданной в 1931 году. К этим воспоминаниям очень сочувственно относился М. Горький, отдававший должное литературной «Среде», история которой неразрывно связана с именем Телешова. Прочтя первые печатные наброски воспоминаний, Горький писал из Сорренто автору: «Славно вы написали, но мало... Ваши «Среды» имели очень большое значение для всех нас, литераторов той эпохи».

В «Записках писателя» автор затрагивает более широкий круг литературных и общественных явлений эпохи, нежели в своих прежних воспоминаниях. Свообразие мемуаров Телешова заключается в том, что он воспринимает литературную жизнь глазами писателя, находившегося в самой гуще демократической литературы предоктябрьской эпохи. В его воспоминаниях сообщается много интересных сведений о писателях, группировавшихся вокруг «Среды» и горьковского «Знания» о выдающихся деятелях русского искусства. Это особенно важно потому, что демократическое литературное движение предоктябрьской эпохи мало изучено. Творческая деятельность ряда писателей-реалистов и при их жизни освещалась гораздо меньше, чем, например, деятельность представителей символизма, считавшегося в то время «модным» течением. Критика тех лет уделяла много внимания различным течениям и оттенкам внутри символизма, даже таким ничтожным, как «мистический анархизм», зато проходила мимо творчества ряда писателей-демократов. Между тем, сейчас, оценивая литературу той эпохи, мы видим, что именно писатели-реалисты, связанные со «Средой» и «Знанием», поддерживали общественные традиции русской литературы, противодействовали отравлению читателей реакционными, индивидуалистическими и мистиче-

скими идеями. В сплочении этих писателей был заложен большой исторический смысл литературно-организаторской деятельности Горького. На глазах Н. Д. Телешова, прожившего всю свою семидесятилетнюю жизнь в Москве, протекала деятельность московских литературных кружков, театров, художников. Сам Н. Д. Телешов начал литературную деятельность в 1884 году как автор рассказов и очерков, положительно оцененных Чеховым, а в последствии Горьким. В начале 90-х годов он участвует в Тихомировском кружке писателей, объединившемся при редакции журнала «Детское чтение». Впоследствии на базе этого кружка возникла «Среда», собиравшаяся на квартире у Н. Д. Телешова. «Среда» просуществовала несколько десятилетий, в ней принимали участие такие писатели, как Мамин-Сибиряк, Горький, Вересаев, Найденев, Куприн, Бунин, Тимковский, Чириков, Серафимович, Скиталец, Леонид Андреев, Златовратский, Алпатовский и др. Хотя и редкими гостями, но все же бывали на «Среде» А. Чехов и В. Короленко. Незадолго до смерти Чехов говорил Н. Д. Телешову: «Поклонитесь от меня товарищам вашим по «Среде»... Хороший народ у вас подобрался. Скажите им, что я их помню и некоторых очень люблю».

Многочисленными живыми фактами автор свидетельствует, что «Среда» в годы подъема накануне 1905 года имела ярко выраженную демократическую направленность. По инициативе Горького на дому велись беседы на политические темы, волновавшие в то время общество, составлялись петиции и протесты против самодержавия. На «Среде» обсуждались все новинки, причем существовала традиция говорить автору правду в глаза, какой бы она ни была неприятной. Прав автор, когда он заявляет, что «в течение четверти века не было или почти не было в Москве ни одного общественного дела, ни одного культурного начинания, где бы так или иначе не принимала горячего и ближайшего участия «Среда». Именно на «Среде», как свидетельствует Н. Д. Телешов, зародилась идея знаменитых сборников «Знания», сыгравших столь важную роль в истории русской литературы предоктябрьской эпохи. «Эти сборники, — пишет Н. Д. Телешов, — были организованы Горьким у нас же, на одной из «Сред», когда

\* Н. Д. Телешов. «Записки писателя». Воспоминания. ОГИЗ, Гослитиздат, М. 1944.

Алексей Максимович, приехав на день в Москву, отбирал у нас рукописи для первого выпуска. И первый сборник был составлен исключительно из произведений членов «Среды». Главным образом на почве «Среды» происходили многочисленные встречи и беседы Н. Д. Телешова с писателями-современниками. Этим обуславливалась тема бесед — преимущественно о литературе, искусстве, о жизни писателей, издании книг, сборников и т. д.

Сведения, сообщаемые Телешовым, далеки от сенсаций в области личной жизни того или иного писателя (подобные сенсации нередко являлись соблазном для мемуаристов). Они раскрывают нам общественно-литературный облик писателей, их взгляды на литературу, их участие в общественных мероприятиях.

Н. Д. Телешов посвящает специальные очерки-главы трем писателям — Чехову, Горькому и Леониду Андрееву. Страницы, посвященные описанию встреч с А. П. Чеховым, рисуют демократический облик великого писателя, главным образом с бытовой стороны. Например, небольшой эпизод, рассказанный Телешовым, свидетельствует о скромности Чехова. На этот раз речь идет о Чехове — враче. Крестьянин — случайный собеседник автора — отоказался о Чехове:

«Чудак человек! — И добавил уже вовсе строго и неодобрительно: — Бестолковый!

— Кто бестолковый?

— Да Антон Павлыч! Ну скажи, хорошо ли: жену мою, старуху, ездил-ездил лечить — вылечил. Потом я захворал — и меня лечил. Даю ему денег, а он не берет. Говорю: «Антон Павлович, милый: что ж ты это делаешь? Чем же ты жить будешь? Человек ты не глупый, дело свое понимаешь, а денег не берешь — чем тебе жить-то?» Говорю: «Подумай о себе; куда ты пойдешь, если, неровен час, от службы тебе откажут? Со всяким может случиться. Торговать ты не можешь; ну скажи, куда денешься, с пустыми-то руками?» Смеется и — больше ничего. «Если — говорит — меня с места прогонят, я тогда возьму — и женюсь на купчихе». — «Да кто — говорю — за тебя пойдет-то, если ты без места окажешься?» Опять смеется, точно не про него разговор». Автор подробно рассказывает эпизод с вмешательством участников «Среды» в историю с грабительским договором, заключенным А. Ф. Марксом на издание произведений Чехова. И эта история показывает чрезмерную скромность Антона Павловича, который просил писателей не беспокоиться. «Если я продешевил, то, значит, я и виноват во всем». Автор рассказывает о похоронах Чехова и впервые в литературе воспроизводит сцену второго погребения Чехова, имевшую место 16 ноября 1933 года при участии артистов МХТ.

В главе, посвященной Горькому, автор рассказывает главным образом о литературно-организаторской и общественной деятельности писателя. В своей книге Н. Д. Телешов воспроизводит несколько писем к нему Алексея Максимовича с просьбой оказать помощь в организации в Нижнем-Новгороде рождественской елки для ребят

шек из трущоб, с просьбой защитить киевских студентов, сочинить петицию об отмене репрессивных «временных правил», с описанием арза массовой жизни во время домашнего ареста. Эти письма ясно свидетельствуют о дружеском расположении Горького к Телешову. Автор вносит новые штрихи в описание известной истории с постановкой пьесы «На дне» и деятельности Горького в «Знании». Известно, что Горький оказывал дружескую поддержку и литературную помощь многим писателям-современникам не только в задании произведений, но и в самом процессе их создания. Телешов рассказывает, как Горький одобрил его идею написать рассказ про черную сотню и вывести священника, «который громит эту черную сотню и уходит в «кромолу». В результате второй беседы Н. Д. Телешовым была написана повесть «Кромолу», которая была опубликована в сборнике «Знание» за 1906 год.

В «Записках писателя» разбросано много интересных сведений о писателе: Леониде Андрееве, Куприне, Бунине, Скитальце, Вересаеве, Белоусове. Интересна глава «Самоучка», в которой Телешов воспроизводит трагическую историю творческой жизни писателя из народа, Слюзова. Н. Д. Телешов близко стоял к кругу писателей из народа и прекрасно чувствовал их трагедию в условиях царизма, когда общественный строй душил и топтал таланты, рождающиеся в среде трудового народа.

Интересны страницы, посвященные русскому книгоиздательству — «другу книги» — И. Д. Сытину, бывшему крестьянину, создателю крупнейшего в России книгоиздательского предприятия сыгравшего большую роль в просвещении народных масс.

Из страниц, посвященных Малому и Художественному театрам, особый интерес представляют те, где автор сообщает о личных встречах и беседах с деятелями театрального мира. Интересен эпизод — ночное посещение Станиславского музея МХТ и беседа с ним о прошлом этого театра. О музее МХТ автор, являющийся его бессменным директором, пишет с особой любовью. Именно в музее представлена живая история этого замечательного театра — от первых репетиций в сарае в подмосковной дачной местности Пушкино до выдающихся постановок, завоевавших видную роль в мировом театральном искусстве. Вся эта история прошла на глазах Н. Д. Телешова.

Воспоминания Н. Д. Телешова о прошлом постоянно переключаются на настоящим, когда автор говорит о последующей судьбе тех или иных деятелей искусства.

Автор заканчивает книгу словами горячей веры в молодых советских писателей, сменявших старое поколение. «Беру в них и желаю им такой же уверенности в том, что быть русским писателем — есть великое счастье в жизни». Вся книга служит поучительным напоминанием о славных традициях русских писателей.

А. Волков.

КНИГА О Державине\*

\*

Выход в свет книжки, посвященной творчеству Державина — одного из лучших наших поэтов, — написанной проф. Д. Благом, нельзя не приветствовать. Обращение к памяти поэта, названного Белинским «первым живым глаголом юной поэзии русской», представляется весьма нужным и назревшим делом. И не только потому, что многообразное творчество поэта до сих пор остается во многом неисследованным, что оно не раз подвергалось необоснованным и превратным толкованиям, но также и потому, что многими сторонами своего творчества, своей личности Державин остается для нас близким и даже созвучным нашему времени.

Книжка проф. Д. Благого не претендует на то, чтобы дать исчерпывающую характеристику творческой эволюции писателя, раскрыть все его поэтические особенности и приемы. Задача книги — дать широкому читателю живое, ясное и в то же время научно обоснованное представление о личности Державина, поэта и деятеля, раскрыть основные темы его творчества, показать роль его творчества в истории русской поэзии.

Книжка состоит из трех разделов: «Личность Державина», «Творчество Державина» и «Державин — певец русской славы».

Человек, поэт, патриот — вот три основные стороны целостного державинского облика. Их взаимосвязь явственно ощущается в книжке.

Первая глава, в которой автор рисует личность поэта, его жизненный путь — отнюдь не играет роль традиционной биографической справки. Уже здесь автор устанавливает те отличительные стороны державинского характера, которые с еще большей силой и выпуклостью проявились в творчестве поэта — «здоровый демократический дух, цельность и простоту натуры, резкую открытость, правдолюбие, смелую прямоту в обращении с сильными мира, гордое сознание своего личного достоинства».

Пожалуй, впервые для характеристики державинского облика так широко привлечен биографический материал и, в частности, сведения о служебной деятельности. Объективное изложение того, как проходила эта деятельность, разбивает змеиные место представления о «взорности» и «неуживчивости» державинского характера. Его «неуживчивость» была зачастую проявлением правдолюбия, нетерпимости к несправедливостям и злоупотреблениям любого рода; вздорность и непокладистость поэта на самом деле были особой формой неотступной и ожесточенной борьбы с насилием и чванством знатных псевдов.

Державин рос и воспитывался не в гимназиях, не в лицеех. Жизнь заменила ему школу. «В сей-то академии нужд и терпения научился я и образовал себя» — писал о себе поэт. Д. Благой отмечает, какую большую роль сы-

грала в этом «образовании» десятилетняя жизнь поэта в солдатской казарме с рядовыми из крестьян, где он усвоил тот народный, разговорный язык, который впервые был введен им в «высокие» жанры поэзии — оду и сатиру.

Современного читателя не может не удивлять та широта и сила, с которой Державин, говоря известными словами Ленина, «отразил в своем творчестве целую полосу в исторической жизни России». Читатель знакомится с жизненным путем поэта, с его многочисленными скитаниями и заключениями, «частыми, скорыми и неожиданными переменами фортуны», давшими поэту возможность соприкоснуться со всей жизнью русского общества, с самыми различными условиями и классами. Становится понятным, откуда бралась широта державинского отображения действительности и на каком богатом, жизненном опыте она основана.

Характеристика личности и жизненного пути Державина органически подводит читателя к важным особенностям его творчества. Преодоление Державиным ломоносовской и сумароковской традиции в русской поэзии, особенности его художественного метода, разрушавшего каноны классицизма и подготавлившего приход пушкинского реализма, двойственность историко-литературной роли Державина, современника Тредьяковского и Пушкина, наконец, характеристика державинского стиха, сочетающего в себе музыкальность и картинность, обладающего неисчерпаемым богатством звука и красок, — вот круг основных вопросов, составляющих содержание второго, центрального раздела книги. Особое место занимает характеристика Державина, автора «Вельможи» и оды «Властителям и судьям», о котором как о представителе и начинателе нашей гражданской поэзии с уважением отзываются такие авторитеты, как Радцев, Рылеев и Пушкин.

Ясно, что в сжатом изложении многие вопросы державинского творчества оказались незагнутыми. Но один вопрос, на наш взгляд, заслуживал бы большего внимания. Речь идет о связи державинской поэзии с народным творчеством, естественно вытекающей из общего демократического характера поэта, из того «здорового демократического духа», о котором говорилось выше. Если стиховую реформу Тредьяковского трудно понять без учета воздействия на него устной поэзии, то в еще большей степени это относится к новаторству Державина. В отличие от многих поэтов своего времени Державин никогда не был искусственным экспериментатором. Его новаторство носило в основном органический характер. И поэтому интереснейшие ритмические опыты поэта явились результатом не столько нарочитого смешения различных метрических схем, сколько смелым преодолением старой «книжной» традиции и следованием за народной песней. Могучее влияние русского народного творчества с еще большей ясностью видно на примере державин-

\* Д. Д. Благой. «Державин». Гослитиздат, 1944.

ской рифмы. Державин сплось и рядом отказывается от обязательного для его времени строгого соответствия звуков в окончаниях рифмующихся слов, заменяя его общим приблизительным созвучием. Такую же связь с народной традицией нетрудно проследить и в звуковой инструментовке стиха Державина.

Характеристика этой связи поэта с народным творчеством тем более пригодилась бы автору, что позволила бы еще раз показать те демократические черты, ту замечательную самобытность Державина, которые он принес в поэзию своего времени.

Третья глава посвящена теме патриотизма Державина, свидетеля блестящих побед русских войск над прусской, турецкой и французской армиями, современника Суворова, Репнина и Румянцева, — теме державинского прославления росса — «великодушного, великого, сильного, славой звучного» народа. «Через огромное пространство двух столетий Державин перекликается с нами, протягивает руку тем героическим нашим воинам, которые победно бьются сейчас «за общее благо, против сил гитлеровского варварства и тирании», — пишет автор, и это звучит вполне убедительно, потому что прекрасно подобранные примеры из державинских

од — при всей арханжности их языка — читаются и сейчас с большим волнением.

Однако содержание главы «Державин — певец русской славы» (главным образом, славы военной) не исчерпывает широкой темы: родина в творчестве Державина. Достаточно вспомнить одни только произведения, цитированные в двух предыдущих главах — «Осень во время осады Очакова», «Русские девушки», «Ласточка», «Лебедь». Хотелось бы, чтобы последняя глава была расширена, чтобы, наряду с Державиным — певцом русского оружия, читатель тут же получал представление о Державине — певце русской природы, русской широты, даровитости, жизнерадостности и жизнелюбия. Это позволило бы еще больше связать третью главу с предыдущими.

Достоинством книги являются ясность и простота языка, сочетающиеся с глубокой серьезностью и научностью в освещении поставленных вопросов.

Что касается оформления книги, то нельзя не пожалеть, что нет портрета Державина.

Книга проф. Д. Д. Благого о Державине несомненно привлечет внимание широкого читателя и будет прочитана с живым интересом.

З. Паперный.

# СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“ ЗА 1944 ГОД

★

## РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ, СКАЗЫ

- А. Авдеевко. Большая семья, роман. XI-XII—14.  
Николай Асанов. Сердце-камень, рассказ. X—101.  
П. Бажов. Новые сказы. VIII-IX—63.  
Александр Бек. У взорванных печей (рассказ старого Коробова). X—107.  
Константина Гамсахурдиа. Давид-Строитель, исторический роман. Перевод с грузинского Элишара Ананишвили. X—73; XI-XII—79.  
Ю. Герман. Студеное море, повесть. I-II—84.  
Н. Емельянова. «Сухие гвозди», рассказ. VI-VII—128.  
И. Ефремов. Семь румбов, научно-фантастические рассказы. IV-V—97.  
И. Ефремов. Обсерватория Нур-и-Дешт, рассказ XI-XII—120.  
П. К. Игнатов. Записки партизана. Литературная редакция и обработка П. Лопатина. IV-V—146; VI-VII—135.  
Анатолий Калинин. На юге, роман. VIII-IX—3, X—5.  
Валентин Катаев. Отчий дом, пьеса в 4-х действиях. X—44.  
Эрсин Колдуэлл. Мальчик из Джорджин, новеллы. Перевод с английского Н. Воляной. VIII-IX—95.  
Леонид Леонов. Взятие Великошумска, повесть. VI-VII—2.  
Игорь Луковский. Битва при Грюнвальде, пьеса в 4-х действиях. III—35.  
С. Маршак. Двенадцать месяцев, драматическая сказка. IV-V—10.  
А. Новиков-Прибой. Капитан 1-го ранга, роман. Часть вторая. VI-VII—76; VIII-IX—72.  
Джон Б. Присгли. Дневной свет в субботу, роман. Перевод с английского М. Е. Абкиной. I-II—109, III—79.  
Михаил Пришвин. Рассказы. I-II—101.  
С. Сергеев-Пенский. Пушки выдвигают, исторический роман. I-II—8; IV-V—54; VI-VII—102.  
Леонид Соловьев. Севастопольский камень, черноморская легенда. III—76.  
Леонид Соловьев. Возвращение, черноморская легенда. IV-V—137.  
Алексей Толстой. Петр I. Книга третья. III—7, VI-VII—61; VIII-IX—50.  
Лолахан Туманова. Анфиса Никитишна, рассказ. VI-VII—88.  
Ковст. Федив. Свидание с Ленинградом, записки 1944 года. IV-V—41.  
Илья Эренбург. Рассказы. III—63.  
Александр Яковлев. Саратовский газ, очерк. XI-XII—112.

## ПОЭМЫ И СТИХИ

- Антон Белевич. Мой голубь, поэма. Перевод с белорусского Дмитрия Осина. IV-V—2.  
Гурген Борян. Камни безмолвные, стихотворение. Перевод с армянского Бориса Серебрякова. IV-V—96.  
Петр Бровка. Беларусь, поэма. Перевод с белорусского Бориса Турганова. I-II—2.  
Сергей Васильев. На Урале, поэма. III—2.  
В. Глозов. Песня, стихотворение. I-II—107.  
В. Глозов. Из фронтового блокнота, стихотворения. VI-VII—87.  
Семен Гудзенко. Письмо, стихотворение. III—78.  
Василий Захарченко. Сыну, стихотворение. X—106.  
Анатолий Кудрейко. Ключи, стихотворение. VI-VII—127.  
Арвадий Кулешов. Письмо из плена, стихотворение. Перевод с белорусского Ник. Асеева. VIII-IX—70.  
Абулькасим Лахути. Сказание о Мардистане, поэма. Перевод с фарси Ц. Валу. I-II—100.  
Вас. Лебедев-Кумач. Стихотворения. IV-V—144.  
Вас. Лебедев-Кумач. По дорогам войны, стихи. VIII-IX—48.  
А. Леоптьев. Здесь будет вечером подолгу..., стихотворение. X—43.  
Леонид Мартынов. Русский север, стихотворения. XI-XII—75.  
А. Машавили. Миниатюры, стихотворения. Перевод с грузинского Бориса Серебрякова. XI-XII—131.  
К. Муразиди. Горная невеста, поэма. VI-VII—132.  
Алишер Навои. Лейли и Меджнун, глава из поэмы. Перевод Семена Липкина. IV-V—38.  
Лев Опанин. Мой друг Борис, роман в стихах. XI-XII—2.  
Пимен Папченко. Стихи. Перевод с белорусского Ник. Асеева. VIII-IX—71.  
Вера Потапова. Присяньсь ему, стихотворение. IV-V—53.  
В. Рудим. Стихотворение. I-II—98.  
Н. Рыленков. Новая весна, поэма. X—2.  
Н. Салазов. Завел, стихотворение. VIII-IX—94.



Анастасий Софронов. Казаки, стихотворения. III—32.  
Алексей Сурков. Из дневника 1943 года, стихи. I—II—61.  
Алексей Сурков. Горы Карпатские, стихотворение. VIII—IX—2.  
Иосиф Тбилиди. Дидмоуравиани, поэма. Перевод с грузинского Георгия Цагарели. X—68.  
Вероника Тушнова. Хирург, стихотворение. III—31.  
Вероника Тушнова. Яблоки, стихотворение. VI—VII—127.

Ф. Фоломин. В державе хвойной, стихотворение. X—43.  
Константин Чичинадзе. Сбор винограда в Мукузани, стихотворение. Перевод с грузинского Бориса Серебрякова. I—II—108.  
Константин Чичинадзе. Путешествие в Среднюю Азию, стихотворения. Перевод с грузинского Бориса Серебрякова. VI—VII—56.  
Илья Эренбург. Стихотворения. VIII—IX—47.

### КРИТИКА, ПУБЛИЦИСТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

И. Астахов. Кинодраматургия военного времени. XI—XII—140.  
Н. Венгров. Лирика С. Щипачева. I—II—219.  
Н. Венгров. «Сын», III—130.  
А. Волков. Шестьдесят лет в литературе. XI—XII—147.  
Н. Габинский. Герои мексиканского народа. I—II—223.  
Е. Гальперина. Сегодня и завтра Англии. VIII—IX—135.  
А. Гурвич. Отвлечение от личности. III—135.  
А. Дерман. История одного изобретения. X—157.  
М. Добрынин. О современной белорусской литературе. III—143.  
Б. Евгеньев. Певец народной песни. VIII—IX—143.  
В. Ермилов. А. П. Чехов, творческий портрет IV—V—195.  
Н. Замошкин. «Неверная полуправда». XI—XII—132.  
В. Капневской. Памяти А. С. Новикова-Прибоя. VI—VII—191.  
Е. Кишнович. О людях великой цели. VIII—IX—141.  
Коротко о книгах. III—159.  
А. Костицын. «Сталинские мастера». VI—VII—201.  
Григорий Левин. Верность знамени. III—154.  
И. Лежнев. Хроника Малевичских. VIII—IX—130.  
А. Макаров. Книжки о великих флотоводцах. I—II—221.  
А. Макаров. «Емельян Пугачев». IV—V—218.  
А. Макаров. Записки подводника. VI—VII—200.  
А. Макаров. Роман о Сталинграде. X—138.  
С. Маршак. О детской литературе наших дней III—149.

Н. Машковцев. Илья Ефимович Репин. VIII—IX—123.  
Акад. И. Мещанинов, А. Чернов. Владимир Леонтьевич Комаров. X—121.  
М. Надеждина. Рассказы К. Тренева. IV—V—241.  
Сенд Нафици и Фатима Сойих. Иранская литература наших дней. I—II—215.  
Неопубликованное письмо А. П. Чехова. IV—V—217.  
Н. Озаровский. «Студеное море». VI—VII—202.  
Н. Павлов. «Солдат-полководец». III—157.  
З. Паперный. «Далеко на севере». III—156.  
З. Паперный. Книга о Чехове. VI—VII—198.  
З. Паперный. Книга о Державине. XI—XII—149.  
М. Розенталь. Критика Гегеля в эстетике Чернышевского. X—145.  
Л. Скорино. Сказы П. Бажова. VI—VII—179.  
П. Слетов. Сценарий о М. И. Глинке. X—156.  
Фатима Сойих и Сенд Нафици. Иранская литература наших дней. I—II—215.  
Н. Тихонов. Отечественная война и советская литература. I—II—180.  
А. Чернов, акад. И. Мещанинов. Владимир Леонтьевич Комаров. X—121.  
С. Штрайх. Библиотека имени В. И. Ленина — хранилище культуры. IV—V—243.  
С. Штрайх. Книга о героизме и мастерстве. X—15.  
В. Щербина. Ленин и традиции русской литературы. I—II—190.  
В. Щербина. «Морская душа», заметки о творчестве Л. Соболева. IV—V—224.  
Илья Эренбург. Слово-оружие. I—II—210.

Редколлегия: М. М. Розенталь, А. А. Сурков, А. Н. Толстой, К. А. Федин, М. А. Шолохов, В. Р. Щербина (ответственный секретарь).

Редакция: Москва, 8, Пушкинская площадь, 5.  
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».

Подписано к печати 20/XII-44 г.  
А 13021. 9 1/2 печ. листов. Тираж 30.000. Зак. 3019.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР». Москва. Пушкинская пл. 5.